

**Станислав Мишнев**

# **ПОСЛЕДНИЙ МУЖИК**

Рассказы

## РУССКАЯ ИЗБА

В деревне верили и не верили слухам, что Васька Вихарев после службы в армии останется в родном колхозе. Мужики в разговорах качали головами, держались противоречивых мнений. Все знали Ваську как баламута, помнили про сводный топ-ансамбль, что устроил он перед армией. Шлялась тогда капелла, увешанная гитарами, по деревням, наводя страх на бедных старушек. Но и такую черту, как истинное трудолюбие Васьки, тоже не забывали. В пору массовой заготовки сена, при остром недостатке рабочих рук, Васька на своем Т-25 работал сутками, вышел чуть не на первое место среди механизаторов района. Впрочем, кто знает современную молодежь, выросшую на дрожжах благополучия, в какую сторону ее бросит в своих идеях. Теперь, конечно, Васька не тот. Идет по улице в отутюженной матросской форме, приветливо здоровается со всеми, смотрит открыто, шутит с молодыми мужчинами. Даже зловредной сплетнице Анне успел помочь выкопать погребную яму.

Старое помнить - лучше не жить.

Как раньше невесту выбирали? Сначала критически оценивали мать невесты, ибо дочь лет через двадцать будет точно ее копией. Станом баба крепка, лицом свежа, хозяйство правит, добро бережет, значит, ее дочь к нашему дому подходит. Так же и женихов оценивали - посмотри на отца. Вот и судили-рядили: коль Васька по отцу пойдет, то хват-мужик будет, а то, что отец крикун и под веселую голову мог лучшему дружку рожу своротить, в расчет не бралось. Со всякими людьми причуды случаются, годы возьмут свое.

Дней через десять все стало на круги своя, казенная одежда была бережно уложена в шкаф, а за широкое застолье были приглашены родные и близкие Вихревых.

- Дом, конечно, свой не худо иметь, что и говорить - начал дед Митрич.  
- А как вы, мужики, смотрите, если предложу поближе посмотреть на Ярасенков дом?

Сидевшие за столом гости посмотрели в сторону побрякивающего старика и замолкли. Хоть и родня кругом, а за инициативу, бывает, и бьют крепко. Хорошо, когда все хорошо, а вдруг виновных искать придется? На кого перст падет?

- Да ну, - возразил зять, - в казенной квартире то ли дело, живи не тужи, тем более, председатель обещает...

- Помолчи, - наклонясь к уху мужа, зашептала жена так, что все ее слышали. - С твоим характером все хозяйство - одна кошка.

Зять налился спелым помидором до корней своих рыжих волос, метнул на жену непрощающий взгляд и уже больше до конца вечера молчал, опустив нос в пол.

- Нынче, понял, Нечерноземье силу занимало, заговорил двоюродный брат отца, крутя из стороны в сторону круглой головой. Целина, понял, выдохлась, а наши суглинки с голоду помереть не дадут. Ну, если я правильно понял, ты, Василий, решил остаться дома. Я, понял, приветствую! Нас, Вихарят голыми руками не бери. Я к чему говорю, да если ты, Васюха, со всем умом собрался, да если решил тут жить, да разве мы откажем? Ты сам-то как нам ответишь?

- Вы вроде суда присяжных... Как решите, так и быть, что ли? - смеясь, ответил Василий.

- Опять?! - одернул его отец. - Опять хошь гитару на шею вывесить? Ты эти финтифлюшки брось, мы не для того собрались, чтобы чепуху твою слушать. Присяжные... грамотен стал больно, а еще флот изучил. Ты что, всех нас в бычью печенку не ставишь?

- Не гони коня кнутом, кхе-хее, гони овсом. Не кричи, Иван Петрович, соседей побудишь. Парень с умом собрался, можно и не нахрапом...

- А если он вишь чего вытворяет...

Думали, спорили, приводили и отводили свои мнения и выкладки, но когда в разговор вмешалась мать Васьки, сразу на горизонте сплошной облачности засинела отдушина.

- Не моего бабьего ума дело, только ведь я из Ярасенкова дому. Бывает, подойду, обопрусь на стену, а слезы... как ... по поко-ойнику бежат!.. Ревлю, мочи нет, может, мужики, не все еще иструхло-оо...

Общим мнением решили: Ярасенков дом капитально обследовать и вынести приговор обязательный для всех присутствующих.

Через день семейная комиссия приступила к делу. Подошли к старому дому, по привычке подивились на тонные закладные камни фундамента, посоизмеряли кое-какие пропорции архитектуры и уселись на поваленный столб парадных ворот.

- Пилу в зубы да на дрова, - махнул рукой Васька в сторону дома. - Ткни топорщиком - весь зауголок выпехнешь.

Отец неодобрительно посмотрел на сына, плюнул и порывисто встал.

- Ткни! Я посмотрю, как ткнешь! Что сидишь?! Вали-вали, перехвати острием хоть одно бревно, начиная со второго. А потом уж хватай пилу в зубы.

- Полно, Петрович, эко... кхо-хее... дело. Конечно, на топор попробовать не мешает. Ты, Васюха, кхо-хее, потюкай, может, и впрямь одна гниль.

Васька встал, посмотрел на доброго Митрича, плюнул в горсть и пошел пробовать крепость стен. Насмотрел бревно в третьем ряду, попримерился и с выдохом опустил топор. Гнилой бок бревна провалился чуть не до обуха, но со второго удара топор в глубь не пошел. Дом содрогнулся, отозвался гулом в пустых горницах, словно ребятишки пробежали босиком по половицам, и

замер под скособенившейся крышей. Мужики не вытерпели, подошли к Ваське.

- Проткнул? - торжествующе спросил отец. - Пилу в зубы... Да этот лес тебя перестоит. Ты думаешь, сколько лет этим бревнам? Не знаешь? Я не знаю, а откуда тебе, шалапуту, знать. Так помни, что лет двести назад на этом месте кондовый сосняк был рублен, а ты сровнил ныннешнюю ропчагу со старинным гаревым лесом... Пилу в зубы... А ты видал, как зарубу чистят? Тот, сынок. Вы, молодые, хлесткие, нет у сушилки дров - ломай любую хоромину, а ведь кто ломает - тот не строил, не подержал в руках бревна...

- Это, Васюха, кхе-хее, точно, крепость дешева, что кость, ты посмотри, какие зарубы вымаханы?

Верных полтора часа обстукивали и обслушивали мужики дом, наконец, пришли к выводу: перекатить на новый подруб.

- Эка домина, Васюха, кхе-хее, баской дом будет. Говорят, прадед твой вон на том балконе чаи гонял. В троицу вынарядится в белую рубаху, поставит четверть на стол и знай командует: молодуха!.. Песни горланит, попивает да побрякивает... Перекатать, опустить, Николе глухому узоры заказать сробить, да с петухами узоры... Только, кхе-хее, не модно на середку так нынче ставить. Надо вон туда, на край...

Митрич был в наилучшем настроении, он видел в возрождении дома свою навсегда ушедшую молодость. Ведь под этими окнами высвистывал он красавицу Машку, царство ей небесное, под этими самыми стенами признавалась она, что свет не мил без него, Митьки Митькина.

- А может, сначала жениться? - предложил дядя Григорий, когда добрались до крыши. - Как ни говори, а невестина родня, глядишь, поможет, если с умом к делу...

- Пустое, Гришка, трезвонишь, - оборвал отец, - нам ли веньганье слушать да из-за рубля торги вести?

- Не скажи, - возразил Григорий, - придет какая-то паца да как в готовый лапоть ступит. Нет, пускай-ка хлебнет соленого, любее жить потом будет.

- Намокло, кхе-хее, черепа менять придется. Где такой лес подобрать? В аршин запас. Разве что на Побойишном логу...

- Да найдем, черт поberi! Заросли лесом, а ты - о черепках.

Вечером, когда сумерки смешали четкие линии деревни, отец и мать Васьки сидели перед телевизором и смотрели кинофильм "Горячий снег". В это время в коридоре затопалось и в избу ввалился председатель колхоза.

- Здорово дневали! - отдуваясь, сказал он.

- Мать, собери на стол, - вместо ответного приветствия распорядился Иван Петрович. Жена кинула вязанье и пошла в кухню.

- Не надо, друг сердешной, - тяжело молвил председатель, - я, годок, на пару минут заскочил.

- Да садись, садись, Фролович, - хозяин бойко подал стул. Не мог он без

боли переносить одышку ровесника и всегда жалел, когда тот через силу выполнял какую-либо физическую работу.

- Нет бы отдохнуть, навроде нас, так надо везде успеть, - По делу, друг сердешной... Уф!.. Так, говоришь, Ярасенков дом перекатать собрались?

- Да какого ты черта стоишь, будто истукан в картинной выставке! - рывкнул на стоящую среди комнаты жену Иван Петрович.

- В лесу тебе жить, с медведями! - в тон парировала жена, однако заспешила в кухню.

- Ладно, не кричи, друг сердешной, говори о деле, чего да как... - устало махнул рукой председатель.

- Ну, коли так, давай, о деле. Людей надобно человек шесть, Митрича на уставы поставим, да зять поможет... Потом трактор нужен на три-четыре дня, потом...

- Потом суп с котом, это не разговор, друг сердешной. Где Васька-то? Эй, Василий! Вылезай из своей берлоги да к нам садись. Васька вышел из горницы с книжкой в руках, и сел на диван.

- Трактор Генахин берешь? - без всяких вводных в упор спросил председатель.

Васька оглянулся на отца и кивнул, соглашаясь.

- Вот, друг сердешной, с этого начинать надо, а потом хоть месяц его используй, слова не скажу. - Председатель вытащил из кармана платок и начал усердно вытирать потное лицо. - По решению правления тридцать кубов лесу бери, только сам знаешь, короед подпортил. Если своим обойдешься - расходы оплатим. Так... Шифер бери, сколько надо, но весной через райсоюз возместить. Кирпич о пожалуйста, тысячи две дадим... Ты, друг сердешной, сам понимаешь, из-за чего я на уступки иду: не пустить нам домик хоть и обещал я жилье, так что, давай, чем можем, поможем. Только рабсилу не бери без бригадира, а то коровы голодные останутся. Ведь если свистнуть всю родню... Денег, говоришь, не надо?

Пока обсуждали калькуляцию работ и обеспеченность материалом, на кухне забулькал и засвистел чайник.

- Мать! - опять рывкнул отец. - Оглохла?!

- Ух, некрещеной! Знать бы наперед, дак век бы за дьявола не пошла!

- Ха-хаа-а! - заржал Васька. - Вот у нас мичман, бывало, рывкал, это да. Как саданет с мостика, так кто слаб натурой, бегом в кубрик...

- Хватит скалить зубы, - оборвал отец. - Посмотрю, как дней через десяток завеселишь, когда соленым дождем до хребта прохvatит.

- Ничего, вытянем, - беспечно ответил сын.

- Правильно, чего раньше срока умирать? - поддержал Ваську председатель. - Глаза пугаются, руки делают. И ты, Васька, не трусь. Имей голову на плечах, за остальным дело не станет.

Лиха беда начало. Главное - решиться, а там - начатое дело уже не остановится. Хватит стоять кровному дому пугалом посреди деревни, а то даже в лунные ночи, когда березы, черемухи, амбары и бани сливаются в сплошную тень, когда все живое погружается в дремотный сон, - стоит он одиноким громадиной-сторожем нелепо и неказисто, своей мрачной дремотою наводя страх на редкого прохожего. А в свинцовую осеннюю пору свистит разбойник-ветер в пустых глазницах окон, шелестит в вышине последними листьями выросшая на остатках желоба березка, да что-то скрипит внизу дома, у самой грешной земли...

## С ЛЕГКИМ СЕРДЦЕМ

(письмо другу)

В моих руках тяжелый, окуренный дымом пчелиный сот. Мое сердце сродни этому соту, оно до краев наполнено чувствами уважения, благоговения, даже поклонения крылатому многотысячному братству. Мед.....янтарный сгусток сектора и поднебесной неги. Сколько легенд, предсказаний, рецептов в божественном даре! Сорок веков назад пчела украсила греческие монеты. Великий полководец Александр Македонский умер в Вавилоне и похоронен неизвестно где, но по легенде он умер в Индии, и тело его везли на родину погруженным в мед. Опыты с глубоководными спусками, лечение пчелиным ядом, вскармливание новорожденных пчелиным молочком... Мед, это миллионы разных цветков и соцветий, немеряные воздушные спирали вокруг Земли, ветры, холода, мириады солнечных лучиков в каждой капельке. Это и духмяный запах полей, лугов, свадебное убранство природы на переломе весны на лето, ликующий танец над пасекой в час рождения новой семьи, терпкий венец медового Спаса, отточенная физиология и неопознанный мир. Можно перечислять химические формулы кислот и белков, декстрина и сахара, а если сказать емко - лекарство от семидесяти хворей. Скор времени бег и мал век труженицы пчелы, да и в малости слава благодати! Если бы мы, неблагодарные люди, присвоившее себе право называться царями природы, поганить землю и воду, пороками засеять умы молодые, истреблять себе подобных взяли пример с пчел, земля давно бы стала садом Эдема. Гармония в делах и помыслах помноженная на любовь к ближнему, вот она, обретенная Вечность!

Всякий мед хорош и полезен. Луговой и липовый, горный, равнинный, вересковый, лишь бы не пьяный. Люблю сотовый, особенно секционный. Сколько надо, столько отдели от сота, положи в кружку и пей чаек. Такой мед не соприкоснулся с металлом, из него не улетучились ароматические вещества, которые частично улетучиваются при выкачке. Одно плохо: уж очень

трудоемкое это занятие, и много сотов идет в брос. Нравится печной мед. Ведь если задуматься, далекий прашур не вдавался в подробности сколько в перге и пыльце аминокислот, сколько микроэлементов, витаминов группы В и группы Р. Он грабил пчел и поедал все, что сумел урвать. Прашур не знал, что пыльцу и пергу его потомок применить при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, воспалений мозговой оболочки, предупреждений импотенции, психических и нервных перепадах и многих, многих болезнях. Я следую примеру древности, лишь чуточку изменяя процесс. Выбираю старые, запечатанные сверху до низу соты из гнезда-знаю, в них есть под медом перга и пыльца, вырезаю из рамок и ставлю в кастрюле в вольную печь. В вольной печи происходит медленное смешивание продукта. Воск остается наверху - убираю, и деревянным пестиком давлю неразошедшиеся комочки перги. Помню, что пыльца через шесть месяцев теряет свои лечебные свойства на 30%, потому приготавливаю столько, сколько могут усвоить.

Безмятежны и жарки последние дни уходящего лета. Изумрудно-яркая трава. Голубой потолок небесного свода выжат досуха. Сиж у распахнутого окна, в избе аромат разомлевших трав. Через дорогу, прислонившись к стене избы, сидит старуха Ульяна. Живет она в соседней деревне у дочери, время от времени навещает родную сторону. По дому ходит, говорит сама с собой, из-под руки даль оглядывает, вздыхает часто, вся в слезах усядется на скамеечку и сидит, уставя в землю глаза. Спрашивал, о чем тужит она. «Всего жаль. Что глаза видели да помнят, что руки делали, где ноги носили. С одной руки - жило, с другой прожито. Доживешь, меня из ума выжившую, вспомнишь. Часом дорожить будешь, слово доброе ни на какое золото не променяешь. А слезы - что? Тоска моя. Старик мой задурил, когда чуть не силком малые деревни сгоняли в большие, от злобы на власть в доски ушел, - жаль. Иванушко, младший сын, поехал на шахты по комсомольской путевке и завалило его, - его всех пуще жаль. Дом пустой стоит, ровно я виноватая перед ним. Вот пойду, окна мне в спину немой взгляд с укором выставляют. Кабы нам жить не мешали... Уж кому и дела-то нет, кто с боку припека, и тот норовит палку в колесо сунуть. Жить бы да жить вольненько, как Бог на душу положит, не бежать сломя голову не зная куда... Подчас думаю - самой страшно: лишние мы на своей земле, вот лишние да и все тут! Помыкает народом власть как ей прикахнет, то батоном похлещет, то пряник сунет, а на уме у власти одно: сжить нас со свету». О чем думы твои сегодня, Ульяна? О хлебе ли, о простом человеческом счастье, о жизни сказочной?

Тучи обложили полнеба. Невидимый великан ворочает в поле камни. Гроза - это пир небесных сил! Как в старые княжеские времена гостей рассаживали по знатности, по заслугам деда, так в раскатах слышится вопрос к пришедшему на пир: «Или место тебе не по отчине твоей?». Один гость - туча сытая, отползает от греха подальше, с большого места на среднее, а иной

гость - туча дальняя, родня «шапошная», с дроги да в красный угол к ангелам. Гаа-аахх! Сравниваю грозу со становлением союза русских земель.

Это не правда, что падая и поднимаясь, всякий раз кровью умывшись, под звон мечей сливались народы и народности в единое государство. Что Господин Великий Новгород, битый-перебитый Москвой, и тот душой согласился тянуть службу вольною волею. Русский публицист Константин Аксаков сделал вывод: русская земля изначально наименее патриархальна и наиболее семейна, наиболее общинна. Я бы с легким сердцем сравнил Русь с пчелиной семьей. Матка занята своим делом - продолжение рода, детки своим - добыча корма, защита улья, обогащение природы. Общинное, вечевое, вот начало нашего пути. Сущность земли - народ, так как рабочие пчелы, с его преданиями, традициями, победами, прожитым и настоящим горем. Не могла Русь сшиться под новгородскую жидовствующую и стригольничью ересь, русскому человеку воля - путеводная звезда. Русь - пчелиный рой, идущий на зов матки в час опасности. Горе захватчику, снувшемуся за легкой добычей. «Окружили меня, как пчелы сот» - слепок русского ратника, рассерженного в бою. Мед не терпим к высоким температурам, от большого нагрева он теряет лечебные свойства, и русский человек не терпит, когда его выставляют на посмешище. Наш мужик, что медведь, если заснул, пускай спит. Вся наша история напичкана примерами раздвоения власти и государства: медведь похрапывает в берлоге, а охотникам хлопоты, плетут лихоимцы сети, ставят капканы на тропах, губят кормину. Но всякий раз, очнувшись от дремы, русский мужик рвал и ломал чужеродцев.

Велика Русь, непонятна Русь... Порой мы сами не понимаем, что творим. Разве можно познать жизнь пчел: моя мать, полвека отдавшая этим великим труженицам, не раз приводила мне в пример высказывания Николая Михайловича Витвицкого: «Тот не может себе сказать, что изучил пчеловодство, кто о чем прочитал уйму книг да не приметил на практике».

Вроде засыпаю, или проваливаюсь в какой-то смутный сон. Лежа со смежными глазами, ищу причину, которая заставила меня зажмуриться. Смирятся душа... как дуновенье ветерка слышу издалека родной голос матери. Она где-то за рекой, вместе с другими женщинами вяжет за жнейкой снопы. Я бегу к маме, босой, легкий, ситцевая рубашонка пузырем. И стегаю на бегу вицей лопухи, и стегаю... Ночной бродяга ветер накидал на тропинку охапки ржи.

От росы рожь запотела спиной, свежа лицом - колосом. Солнце поденщику тянет играючи, подсовывает под стебли невидимые золотистые копыя и распрямляется наша кормилица. И васильки недовольны, рожь толкают. Ишь, разлеглась, тетка, дай нам продых. И гул! Над полем завораживающая песня. Я знаю, это работают пчелы, а не верю. Кажется, каждая травинка, каждая былинка шлет в пространство нетерпеливое приглашение пчелам

отведать угощение именно с ее богатого стола. Бабы посрывались, бегут за мной, кричат, размахивают платками, а мама бежит впереди всех. Сколько радости на ее лице! Как мне хочется обнять шар земной! Жарко моему сердцу под ситцевой рубашонкой. Чувствую, что состояние ясного разума, принадлежащее детству, и состояние сомнения, относящееся к настоящему, вертают меня к яви. Гром давно утих, за окном благоговееет ночь. Тем, кто видит сны наяву, открыто много; от тех, кто грезит во сне, ускальзывает многое, ускользает последовательность. В туманных проблесках одно действие гасит другое; пробудясь, человек спешит собрать воедино видения, ищет возможность прикоснуться к тайне. Мгновения - это мудрость.

В избе пахнет медом, бубнит в окне залетевший на огонек черно-бархатный шмель...

## ФИКУС

Целый день сеется дождь. Мелкий, настырный. Воздух стал сырым, холодным, осень кинула на ступеньки крыльца пестрые поздравительные телеграммы. В такой день лихо выходить на улицу.

Со старым другом Германом Ежовым сидим под огромным фикусом. Фикус не какой-то карлик, это богатырь из богатырей, гордость столовой № 1. В столовке № 2 - она находится напротив выпрезвителя, и в народе прозывается «парилка», так в ней зимой и летом нечем дышать, пахнет карболкой, помоями и еще чем-то очень едким. И главная повариха там некрасивая, злая, обрюзгшая женщина, в вечно рваном и застиранном фартуке, уборщица - кошей бессмертный, страдает запоями, потому лиловый цвет под глазами для нее как цвет отечества. Гордость столовки № 2-пушистый белый кот. Говорят, уборщица редкий день не прикинет на весах, на сколько «похудел» ихний Васька, не дай бог действительно похудеет, обнимет кота и давай голосить. В столовой № 1 женщины что ангелы, веселы, легки, приветливы. Воздух чистый, потолок белый и высокий, играет тихая музыка. В столовую № 1 - народ прозвал ее «калинкой» за фирменные пироги с калиной, ходят не брюхо набивать пищей, здесь заряжаются радостью жизни, доверчиво обращаются к своей душе по предмету соблазнов и желаний.

Фикус растет в пивной бочке. Его листья огромны, сочны, сверкают чистотой рисунка. Под фикусом обычно сидят элитные клиенты, только красноносый посетитель к вящему своему довольствию навострился устроиться под его тенью, уже предвкушает, как незаметно вытащит из-за пазухи бутылочку водки, нальет в стакан, выпьет как белый человек с достоинством и честью, и с невинным видом будет млеть под кайфом, чем не Крым! - как из-за прилавка выбегает буфетчица и вежливо предлагает занять

другой столик, ибо этот...сейчас в столовую пожелует сам первый секретарь. Обижаться не надо, надо войти в положение буфетчицы: первый он всегда первый и притом один на весь район, а нас, простых смертных - легион. Потом, первый не пойдет в столовку № 2, потом спиртное пить запрещено и зачем женщине наживать головную боль? Пейте в «парилке», в ней все условия для шумных кампаний. Буфетчица никогда не прогонит из-под фикуса парня с девушкой. Молодые люди садятся под него не водку глушить. Они пугливы и настрожены, стесняются своей близости, стесняются других, им надо обязательно посидеть рядышком, посмотреть друг другу в глаза, сказать очень и очень важное...

Сегодня мы князя под фикусом. Потому, что мы одни во всей столовой. Чего мы сидим, не пьем, не едим? Может быть, пытаемся воскресить в памяти нечто давно забытое, мы готовы вот-вот вспомнить, но ничего не вспоминаем? Все проще: мы свято помним, как втроем спали на полутораместной кровати в холодной, с шуршащими тараканами комнатухе, как воровали зелень на огородах, собирали посуду в парке-кормежка в техникуме была «из-под копыта», собственные хлопоты и заботы не позволили нам встретиться три года; сегодня безработному Герману крупно подфартило, его взяли «мальчиком» в избирательной гонке. Сразу признался мне, приглашая угостить на «халяву», с каким тяжелым сердцем пообещался болезненной дамочке с глубоко посаженными чистыми глазами честно отработать аванс: расклеить все плакаты и лозунги на самых видных и многолюдных местах. Он был очень рад встрече, мой старый и верный друг.

- Вот облепила меня тоска со всех сторон, липкая, тягучая, - говорил Герман, весь светясь. - С женой ссорюсь, сны бредовые. Хоть бы, загадал, тебя увидеть. У внуки день рождения, жена пилит, мол, все-то у нас ни как у людей, надо бы подарочек какой сделать, а расколотой копейки нет. Разве, спрашиваю, богаче нас в поселке живут? Весь-то народ так, а власти вылепают, бьют языком, как мы хорошо зажили от этих реформ, провалитесь они сквозь землю. С того часа, как сытые, довольные кандидаты в депутаты с красочных афиш проникли в его дух и нашли там пристанище - мера вынужденная, прием отвратительный, многие сущности мира начали будить в нем крамольные мысли. Напряженность на лице Германа была следствием колоссальной силы воли, которая за годы, что мы знакомы, не выдавала себя другими признаками.

- Я их...в нужник, по самый хлебальник.

Я хорошо понял, что Герман мрачно намекнул про плакаты и фотографии кандидатов. Я знал про склонность друга к меланхолии, знал о его фантастической причуде влюбленности в ночь, в ее особое очарование.

- Когда человек голоден, он думает о еде. Когда он сыт, его мысли бороздят Вселенную, - сказал я, намекая на зримое расстояние между нашей учебой в техникуме и сегодняшним днем.

- Моя власть ничтожно мала, не дано таким, как мы с тобой обуздать дерзновенного врага рода человеческого - алчность, но и этой властью наложим свое вето на воров и жуликов. Только в сортир! Помнишь, испанцы кричали фашизму: «Но пассаран!» Мною владеет чувство, имени которого я не знаю. Что-то такое, чему меня не учили, - говорит Герман, явно задумываясь над смыслом своих слов.

- Нас учили «Моральному Кодексу строителя Коммунизма» - согласился я.

- Нас учили жить честно, - жестко поправил Герман. - В последний год я сделал много наблюдений по части изменения человеческой этики. В моем уме то и дело проносятся до чертиков надоевшие лица и фразы - куклы, похожие на наших руководителей. Не следует считать последние политические явления игрой случая. Это не превратности судьбы, на которую сваливают наше славянское происхождение, это планомерное изничтожение славян. Дикий, казалось бы, нелепый пример, но сколько в нем погибели нашей! Слушай. Держу я барана, Чубайсом прозвал. И отчеством почетным наградил Борисович. Соседка у меня глава сельсовета, тьфу, сельской администрации. У нее тоже есть овцы. Не могу я сердцем принять теперешнюю власть, я ее называю «дерьмократической» - все дерьмо за столы. Вечером идут овцы с пастбища, я наперед намеренно выхожу и рву глотку на всю улицу: «Чубайс! Борысы-ыч! Домо-ой, домо-ой, Чубайс Борисыч. Иди пока светло, отменяешь - шары потеряешь». Видимо надоел нашей главе мой сарказм слышать, внушение мне сделала, в отсталости мышления упрекнула. Ну-ко, я со средним техническим образованием и власть публично хаю. Власть хвалить надо, она нас от коммунистов избавила. «А кто же под твою жирную задницу сейф денежный подставил? Папа римский? Не ты ли была ярый агитатор и пропагандист и звала меня в светлое завтра? Я и тогда был безликий, серый, чего же ты теперь от меня хочешь? Вот приду в твою контору, и потребую паспорт на моего барана выписать. И ты, перевертыш, выпишешь». Баран у меня здоровущий, рога огромные, придумает загородку вышибить, никакие запоры не удержат. Вот как-то в августе под вечер нет его, я, конечно, не хватился сразу-то. Гуляка, бывает, заночует в чужом хлеву. А тут жена заметила, что к соседям утянул. Ну уж нет, Чубайс Борисович, не все электростанции твои, здоровья не хватит. Овечки у соседки мягкие, завитушки на лбах зовущие, но тебе, ненасытный, не отколется. Вережку беру и за бараном. Соседка туда-сюда, мол, чего тебе жалко!.. Нет, говорю, мой беспартийный, часто битый, оплеванный как весь русский народ баран, не будет топтать твоих левых или правых, коминтерновских овечек. У него же есть мужское достоинство! Что тут поднялось... В суд обещалась подать. Согласен, говорю, подавай. Я барана, как потерпевшего выставлю, в суд притащу, униженного и оскорбленного властью. Я придам политическую окраску этому факту. И за случку твоих

овечек запрошу в долларах. Рассердилась наша власть, можно сказать пинками со своей улицы моего барана вытурила. И что ты думаешь? На другой день мой баран будто обиду затаил, нарочно подошел к сельсовету и блеет и блеет, как бы на спор о счастливой овечьей жизни приглашает. Власть в окошко выглядывала да выглядывала, смекнула, какие разговоры по ее «державе» поползут, кол схватила и лупит моего барана. Тот как обернулся, да как врезал ей лбищем под задницу, она ши пролила. И лежащую к земле прижимает. Она ползет, накануне дождь был, грязюка, не своим голосом кричит, он знай долбит. Я бегу, во всю глотку причитаю жалобно: «Что же ты наделал, Чубайс Борисович, ведь тюрьма твоему хозяину - изгой, а тебе нож острый. Как ты смел на рога чиновничью рать поднять, семя злодейское?». Тебе смешно, и я, признаться, до сих пор наслаждаюсь мстью. А теперь, - Герман откашлялся, раскрутил на столе выданные лозунги и афиши, - вот эту рожу, возмнившую себя спасительницей русского народа, я должен хвалить на каждом углу? Никогда!

Мне даже показалось, что на глазах Германа мелькнули слезы. Без приберегу выдернул большое фото женщины с волевым, немного гневным лицом, в котором проглядывался светский тон - к чему бы распухшую шею пеленать в тончайший материал? - изорвал на мелкие кусочки.

- Не верю. - В голосе Германа была одна усталость и боль.

- А деньги? - неуверенно спросил я. Герман отмахнулся от меня рукой. Его зубы были стиснуты, он весь подался ко мне.

- Моральные издержки. За Ваську, ратника моего.

К нашему столику под фикусом подошла миловидная женщина, осторожн намеком спросила:

- Может, чего принести, господа хорошие?

- Господа на босу ногу, я улыбнулся женщине беспомощно и мягко.

У Германа вздрогнули брови, казалось, никогда в жизни он не испытывал более горького отчаяния. Достал из-за пазухи деньги, полученные за расклейку наглядной агитации, смотрит на них, а мне кажется, никакая человеческая сила не заставит его протянуть их буфетчице. Так и есть, усмехнулся мне и сунул обратно за пазуху.

- Пошли отсюда. Пошли, я снесу их обратно, чтоб им в аду гореть, чуть не закричал мой старый друг. - И обязательно выпьем, у сестры займу.

Прости, фикус, ты не увидел сегодня счастливых, чуть пьяненьких лиц, не услышал веселый смех. Мы уходим в дождь, в хаос непроглядных реформ. Есть какая-то трепетная надежда, что генералы новых бастионов мироздания не призовут нас вымостить дорогу новой жизни своими жизнями.

## ВТОРОЙ УДАР

### 1

В сонном безмолвии, в ленивом оцепенении дремлют на угорах засыпанные по пояс снегом деревни. На одном большая Микешиха, на другом, в половину меньше, Огоедово. Будто два былинных богатыря встали без сил, оперлись на липы да березы, шагу навстречу сделать не могут. Между деревнями петляет речка-ниточка, пограничная Серебрянка, от одного омутка до другого, точит водица родниковая камушки не одну сотню лет. Неделю бутора раненой волчицей от деревни к деревне сновала, ставила строчки-сугробы, жалобно плакалась около теплых стен, поутру изнемогла, осерчала, в чашу уползла. Не скоро теперь торный путь ляжет до Микешихи. Микешиха - нищая, Богом забытая, не чарующий красотами Кавказ. Случись на Кавказе оползень, гудит ООН, дрожит Страсбург, а на Микешиху оборвались провода, кто да когда натянет их?

Вчера у Васильевича «заседал актив» - пособирались мужики из обоих деревень, думу думали. Васильевич тридцать один год при всяких должностях оттрубил, чиновник всеядный, ему ли не знать старые законы и новые уложения?

«Говорит бывший колхозный бригадир Щукин. Он сказал, что надо беречь флору и фауну. Ставит задачу: препятствовать ходу районного охотоведа, ибо районный охотовед есть главный и самый злой браконьер. Он истребил всю живность в лесах, нынче возит негров из Америки к нам на охоту», - будь это партийное собрание, в протоколе записали бы так. Щукин разложил на коленях записную книжку, весь в напоре, глаза как впиваются в мужиков.

- Мы в Огоедове заставой стоим, не пустим рыжего. Предлагаю и вам обойти станки, где прежде лоси зимами стояли, особенно выгнать их с Чолпана, - на ладони. Прошлые годы сколько рыжий с вертолета с губернатором Колькой ухлопали!.. Которые мужики порезвее, те пускай от Статей идут, в большой лес гонят. В лесу рыжему не взять, они привыкли с "Буранов" хлопать...

Щукин листает записную книжку, весь как дышит свежестью. Соскучился народ по настоящей охоте, а глядя на бригадира, будто откинулись годами лет на тридцать.

- Так! - с силой хлопает себя по коленке крепыш Коля Ванин - Николай Иванович по паспорту. Прокаленный ветром и стужей, где Коля Ванин, там смех и шутки. - Правильно! Правильно Щукин мыслишь! То дожили, в петли полезли. Все Надя Спицына на памяти: будто кто подтолкнул меня, привороты к купальне, ягоды черемуховые страсть вкусные. Снимаю ее с черемухи,

захолодела чуток, защемило сердце и не отпускает. «Надя ты, Надя... Я же тебе маленькой сопли утирал». Нельзя, мужики, без дела, нельзя. Васильевич, по твоим соображением трутень - полезная тварь для природы или нет?

- Все, опять тормоза отказали, - каким-то жалобным голосом говорит Щукин. - Доклад окончен.

Смеются мужики, повинуюсь безотчетному воспоминанию только что пережитого момента, восклицают:

- Помнишь, на второй этаж как мешки носили, тормоза какие-то!..

- По деревне бывало...

- Васильевич, раскинь мозгой, - не унимается Коля Ванин, - на который хрен мы ты два раза в сельсовет протянули, а? Гля, молчит... У ты, Васильевич, от природы все данные в начальстве прозябать. Рожа вроде непропеченного пирога, по литературному - загадочная, вроде как нынешние уровни и структуры гнут нас не в ту сторону, ты молча противишься, цитатку из Ленина отыщешь и хоп! Или походка: журавель на болоте. Рост - под магицу, вот голос малость фальшивит... Я к тому, что два раза ты в сельсовет избирали, наказ давали: дорогу! Дорогу, казенная твоя душу! А ты что делал в этом дупле? Штаны протирал, с Анфияновной, секретаршей своей, чаи наперегонки швыркал. Помнишь, я пришел талончик на водку кланчить, ты к стене отвернулся... Ирод! А кто с меня задачки по арифметике списывал?

- Как тебе не надоест, - устало говорит Васильевич. - Сто один раз пустомеля. Выбирали, сидел, протирал. - Васильевич покашливает в рукав старомодного «командирского» пиджака. - Да какая раньше власть у сельсовета была? Это теперь - да! А раньше не власть, прихехе какое-то, мизер. Кладбище за сельсоветом - раз, венчание - на гармошке потыринькаю - два, сводки по сдаче молока колхозниками соберу - три, на сессии чего-нибудь для галочки поперетираем - четыре...

- А флаг красный? - встревает Коля Ванин. - Перед выборами на угол - пять. Эх, Васильевич, ты же советская власть был, воротило и петило, да построй ты дорогу на Микешиху и Огоедово, тебе при жизни мавзолей мы из сосен срубим. Вот что я внукам своим скажу, а?

- Ты им не говори, ты им деньги давай. Старший уж попивает, знатно, ему копеечка не лишняя, - дребезжащим смешком рассыпается Васильевич.

Хохочут мужики, потешаются над Колей Ваниным. У него законных внуков нет, и детей нет, смастакал на стороне девуку, когда надо было помочь - «Не моя! Вот те крест, мужики», а теперь, когда дочь шестого родила, козырять начал: «У меня внуков на целое стрелковое отделение!»

В окно глядит синева зимнего рассвета. Васильевич сидит на корточках перед устьем, курит. До этого занятия по привычке пошелкал выключателем - эх, придется самовар ставить.

- Столб какой должно быть... У Замориной ляги годов пять как сменить

столбы надо, - как шепчась с собой, говорит Васильевич. С минуту сосредоточенно, близоруко вглядывается в черный экран телевизора - тупое удивление обманутого человека, как бы заслоняясь рукой от солнца, подносит ладонь ко лбу. - Живут же люди...

Гасит сигарету о кирпич, шаркая валенками, идет к окну, отпечатывает на стекле сплюснутый нос и разляпанные губы.

Жена его Нюра, толстая, с одутловатым лицом - сердце пошаливает, сидит на кровати в одной сорочке, расчесывает волосы. Ватное одеяло откинута на спинку, кошка ластится к босым ступням.

- Мороз. Затянуло, - бубнит Васильевич. - Черта лысого увидишь.

Нюра свешивается с кровати, берет кошку на колени, говорит:

- Хорошие-то люди с утра Бога вспоминают. Васильевич перевел взгляд с окна на жену. Глядел так равнодушно, будто бы разглядывал что-то сквозь нее.

- Ну чего потерялся-то? Затопляй печь. Седни долго уснуть не могла. Как себя помню, забирают власть не те, которым бы надо ее забирать. Вот Михаилу Щукин - голова-ан! Придет, бывало, к нам на скотный двор: «Надо, бабы, надо. Если не мы, то кто?». Уговорит, пошли тот же силос корзинами носить. Вот бы Щукина районом править вовремя поставили, разве довел бы колхоз до такого сраму? Нет! Конечно, один в поле не воин, помощники нужны. А чего он один, упирался, упирался, да разве устоишь против нашего равнодушия!.. Собирайся, иди с мужиками облавой. Откроют ферму лосиную, который парень из городу с семьей и приедет.

## 2

Пока был колхоз в силе, действительно сельсовет за силу не признавали. Теперь, когда сельсовет стал «администрацией», когда в администрации появилась своя мафия - двадцать свояков жмутся к бюджетному пирогу, когда бывший колхозник сосну не свали, когда земля по самые огородцы объявлена «государственным фондом», теперь... нет колхоза, есть бумажный кооператив «Второй удар». На последнем общем собрании Коля Ванин придумал такое воинственное название. «Нашим дедам о тридцатом скулы поыворачивали в одну сторону, теперь поправят обратно. Одно не пойму: кем это внешний управляющий управлять будет? Тракторы отобрали, машины отобрали, склады разворовали, животных на колбасу свозили, говорят, три миллиона за свет должны. Надо мою старуху управляющей назначить, пробежится, пересчитает, кто жив, кто копыта откинул за ночь». Махнули рукой: хрен с ним, «второй» так «второй», авось устоим.

Без ввоза и вывоза, в неизвестности, существует третий год кооператив «Второй удар». Счастье, у кого хватило денег да мозгов тракторишком при

колхозе обзавестись. Одна надежда на клюкву. Летом Микешиха утопает в грязи, зимой в снегу. Для ума и для сердца одна забава: телевизор. Напоеет и напьяшет. Слушают новости микешинцы, страх пробирает: идет война по всей России. В одном месте самолет упал - чечены сбили, в другом месте дом взорвали - след с Кавказа, в третьем денежного туза грохнули - это свои. Не слышно на деревне ребячьего гаму, лишь гремят цепями злые лохматые кобели. Жмутся-жмутся мужики по своим углам, соберутся, разговоры ведут проникновенные, прозорливые, депутат Госдумы позавидует. И себя клянут, и Ельцина, и американцев с жидами вкупе.

Чем народ занимается - уму непостижимо. Летом все заняты на своих огородах; гадают, много ли будет грибов-ягод, а зимой? Спят, встают, когда рассветает, обедают и опять спят. Или телевизор смотрят до потемнения в глазах. И храпят ночи или бессонницей маются. Можно бы корзины плести, а сплетьешь, кому она нужна твоя корзина? От тоски ставят бражку, чуток повыходилась, шастают по гостям, пробы снимают. И взрыдает на вечеру деревня:

- Ку-уда веде-ешьш, трр-ропинка милая-я?!,

Мало показалось бражки, начинаются поиски «ДП» - догнести! В Огоедово - там такие же жаждающие глотки, тогда в райцентр или на центральную усадьбу. До райцентра сорок километров. Натолкается в кабину трактора парней-перестарков как мух в тепло, еще и гармонь умудрятся сунуть. И... замерзают пьяные. Берет мать ледяную руку непутевого сына, у самой ноги не держат и даже во рту ледяная корка, всю коробит от горя, обманется, отвернется - да нет, чужой умер, ее сын вернется. И нечеловеческий крик прорежет деревню. Нет, не вернется сын, нет отступления перед прямым вопросом: «Кто виноват?». «Эх, обженить бы вовремя», - повздыхают пришедшие проводить в последний путь.

Красивыми, работающими девками славилась Микешиха. Вся волость знала частушку хвастливую:

*У Микеши девки печи,  
Трудодень их разорви!  
Коли жиденький подгузок:  
На своем крыльце сиди!*

Кончились девки в Микешихе. Осенью последнюю в город увез ученый очкарик. У Спицыных квартировался. Лазил по берегам Серебрянки, землю копал, лосиные какашки изучал. Принесет из лесу рюкзак - все у него по кулечкам разложено, под микроскопом какашку рассматривает. Софья Спицына по нынешним нравам обломок старины, совмещает в себе простые, но трогательные черты русской женщины, которые в наше время стали

исчезать. Натура цельная, бесхитростная, порой наивная, добродушно-веселая, поразительной физической и нравственной выносливости. Последний год несчастье за несчастьем настойчиво сыпались на нее. Весной умер младшенький Саша - по бездорожью не могли свезти в больницу, потом баня сгорела, корова сдохла, еще дочь Надя в петлю сунулась. Если бы не Коля Ванин...

Софья как-то и говорит Наде:

- Мужик-то, видать, не промах. Щуплый, а душа большая.

Надя сочувственно посмотрела на мать.

- И что? - спросила, еще вызываяще плечики приподняла, вроде как мать на словесную перебранку вызывает.

Софью охватил приступ отчаянной злобы. В ее истерзанной душе много накопилось горечи, отращения к новой жизни.

- Дура! Дура! - с кулаками накинулась на дочь. - Иди с ним, отдайся ему, дура! И уезжай.

Попятилась, тяжело опустилась на лавку и заголосила.

Надя села рядышком, обняла мать, прижалась. Без малейшей утайки, но волнуясь, сказала:

- Уеду, мама, уеду. Хочет он с тобой поговорить, да боится тебя. Разведеный. Жена у него артистка была, рядом с ней, говорит, я ничтожество.

Ласковая и убедительная речь, звучащая в голосе дочери, осушила слезы. Озлобленное настроение улеглось, мать жалела, что сорвалась.

- Наденька, хорошая ты моя... Сама видишь, нет тебе выбору...

Правятся из лесу Коля Ванин с Васильевичем, тащат пестери с клюквой. Васильевич пожадничал, с верхом нагрузился, поотстал от Коли валко, у обоих пестери на спинах.

- Опять орехов на компот тащите? - скалит зубы Коля Ванин.

- На брагу, дядя Коля! Как выходится, первая кружка твоя.

Сели отдохнуть на поваленную лесину, пристал Коля Ванин к ученому: скажи да скажи, какую в какашках взезную цивилизацию ищешь?

Надя смеется. Наклонилась к Коле Ванину, и тут Коля Ванин, кажется, впервые в жизни увидел, какими могут быть прекрасными и девичьи глаза, особо у той, которую с того свету воротил.

- С ним уедешь? - тихо и грустно спросил девушку. Надя поиграла плечиками, не ответила.

- Если серьезно... - ученый достал трубку, начал набивать в нее табак, - весной приеду, детально проработаем организационный вопрос. Если серьезно, наш институт многих обеспечит работой.

- Сказанул! На всю орду разве хватит какашек? - удивляется Коля Ванин.

- Будет заказник и лосиная ферма.

Коля Ванин покачнулся, словно его в грудь ударили, глаза выпучил:

- Врепшшшь!

- Прекрасная биологическая база. Пашни зарастают лесом - какой корм! Отличная вода, отдаленность от больших городов...

- Васильевич! - закричал Коля Ванин. - Переставляй ходули!.. - для веселого словца ученому. - Тридцать лет при должностях, отвык мой товарищ. Нет худа без добра! Васильевич, ферму лосиную у нас откроют. Хорошо, что Щукин не дал скотный двор раскурочить, будто знал!

### 3

Стучит с улицы лыжной палкой в переплет рамы Коля Ванин.

- Ружье не забудь, - говорит Нюра, придирчиво осматривая готового в путь Васильевича.

- Хрен ли в ружье-то, как ни одного патрона нет.

- Уши опусти, не молодец молодой.

Васильевич, несмотря на годы, проведенные при должностях, обладал хорошей памятью местности. Раньше любил охоту с подкраду, на косачей ходил, на уток, а эта охота требует внимания и терпения.

Подножие угоры упиралось в болото. Лыжники шли к нему - если лоси пережидали здесь метель, то рыжий охотовед их мигом вычислит.

- Мало в лесу зверя стало, - говорит Васильевич. Шапку снял, шапкой лицо оттирает от поту. - Раз по лосю стрелял и то скался. Старик одинец брел, во-он от косо́й березы, рога лопатой, сам себе господин. Где заденет кустик, там иней валится, серебром искрится. Сердечко у меня трепещет: стрелять, не стрелять? Пальнул. Он упал грудью на ельничек - вот уж какой ельник с той поры вымахал! Подхожу к нему, стою, и горд тем, что такого зверя добыл, и совестно: а зачем? Так и пропало мясо. Весной сходил, рога унес, это те рога у меня на стене висят.

- Как думаешь, ко́ль ферма лосиная будет, за́граница дивова́ть к нам поедет? - спрашивает Коля Ванин. Стоит, оперся на палки, смотрит в сторону болота.

- Еще бы! Они там с жиру бесятся, как ни приедут.

- Выходит, дорогу делать будут на Микешиху?

- Хватил! Тут мигом какой Чубайс присосется. Заказник, это как сала кусок, все подержались, весу вроде не убыло, а руки у всех в сала.

- Да-а... Спасибо татарам, спасли русский народ, то бы мы и теперь друг дружку колотили. Тычут, тычут нас мордами в дерьмо, в свое же дерьмо! Нет, ни уха ни рыла мы не понимаем.

Коля Ванин снял со спины ружье, выбрал в патронташе патрон с беличьим зарядом.

- Живи, Микешиха!

## СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Четвертого марта контора колхоза «Вперед» пылала кумачом. Столы счетных работников сдвинуты в один ряд и зашторены красным ситцем. С председательского кабинета снята дверь, место хозяина заняла красная урна. Через всю бухгалтерию до самой урны красная дорожка. Государство не поскупилось на денежки в честь выборов, а председатель участковой избирательной комиссии Игорь Иванович Ковтышкин на дармовщину падок. Он не сразу поверил, что на избирательный участок выделено почти две тысячи рублей. Но купил в магазине все, что можно списать на выборы, даже статуэтку в форме дерущихся боксеров. Позвонил в район, мол, денег не хватает на магнитофон, ему ответили: бери в долг. Вместо магнитофона купил пять всяких замков, банку краски, ящик спиртного и кавалерийское седло.

- Седло-то зачем? - удивились члены комиссии.

- Эх, вы, головы садовые, пока купец пляшет, слуга копейку тащит, ответил Ковтышкин народной присказкой.

Вера Максимовна, секретарь избирательной комиссии, ветфельдшер с двадцатилетним трудовым стажем, выглянула в окно и ухмыльнулась.

- У людей выходной, у нас все проходной. Сидишь целый день дура-дурой, будто самая отбездельная. Еще в газете пропишут: во, какую честь оказали, - сказала, вернее вылила склянку йоду на всеобщую рану Вера Максимовна.

От таких желчных слов дремавшие и читавшие литературу члены комиссии заерзали на новых стульях.

- По стакану бы дербалызнуть, - зевая, пробубнил член комиссии Ягущкин.

- Не жми, тащи ящик, - решительно поддержал другой член слесарь Вася по прозвищу Бубень.

- Вера Максимовна, если устали, так идите домой, - понимающе посоветовал представитель района, товарищ Бакунин.

- Домой... у меня изба-то за шесть верст, на вашей «Волге» не повезут. Уйди, а потом языками пошли чесать. Припомнят к случаю, не первый год замужем, раз-другой умылись.

- Чего завелась? - спросил Ковтышкин, бригадир цеха растениеводства, двадцать два года назад с отличием окончивший заочно техникум.

Ковтышкин одной рукой взъерошил начинающую сесть гриву, другой загремел в кармане новенькими ключами от приобретенных замков. С выражением добродушной суровости на румянном лице, специально для товарища Бакунина сказал:

- Ох уж эти бабы!

- Ты свою укоряй! - взвинтилась Вера Максимовна, - Твоя дальше шестка не валялась. Меня из одной дыры да в другую этими общественными нагрузками затокают, твоя везде гожа. Ровно ее и нет!

- Хватит орать! - вскипел Ковтышкин.

- Уж последний раз, уж последний раз, хватит, произдевались. Кому нужна эта власть, рожей бы ей в сласть, тот и выбирай. Хоть людоеда африканского.

- Ну, зачем так. Вера Максимовна? Вы же специалист, пользуетесь заслуженным авторитетом, и так говорить... неужели вам не все равно, кто завтра придет к власти? - пристыдил товарищ Бакунин.

Вера Максимовна одернула синюю юбку безупречного покроя, презрительное негодование попранной женственности, ожесточило продолговатое лицо с пробивающимися волосами на краешках верхней губы. Она хотела врезать правду-матку этому районному долдону, этому прилизанному чистюле, уже и фыркнула, готовая обрушить фонтан накопившейся злобы, а тут член комиссии Ягушкин переломил в руках карандаш. Вера Максимовна сглотнула слюну и отошла снова к окну.

Несколько минут все молчали. Бакунин рисовал в блокноте чертиков, звонил в район о количестве проголосовавших, Ковтышкин наслаждался музыкой перебираемых ключей. Ягушкин основательно задремал. Вошла Евлампиевна, старуха доживающая чужой век, тихо поздоровалась. Удивилась, что никто не отреагировал на ее появление, кашлянула, поставила верный батог в угол, развязала цветастую шаль.

- Долго, Евлампиевна, пироги замешиваешь, - шутливо сказал Ковтышкин.

- Ходок больно, доживи до моих годов - так ли запоешь. - ответила бойко старуха.

Вера Максимовна быстро отложила нужные бюллетени.

Старуха взяла бумажки, поднесла к самым глазам, с сожалением молвила:

- Ворона старая, очки на комодке остались.

Член комиссии Вася Бубень перегнулся через стол, подал Евлампиевне кем-то забытые очки со шнурками вместо дужек. Евлампиевна примерилась на свет окна, удовлетворенно крикнула. Ковтышкин показал ей на председательский кабинет, сказал:

- Зайди, кто к сердцу-оставь, кто нет - вычеркни.

- А че идти? Согну да суну, беззубо рассмеялась старуха.

- Мода отошла голосовать черт знает за кого.

- Бог ты мой, будто я теперь знаю? Раньше, бывало, день и ночь каркают, будто все едины, не успела глаза прочесать, как с ящичком у дверей стоят, а теперь пришла - хорошо, и не пришла - ладно. Чего-то не так командуют нынче, от ума отстанешь раньше времени.

- Иди в кабинет, да и отставай, - буркнула Вера Максимовна.

- А вдруг, я вычеркну мужика стоящего, а? Вот ведь наказание господнее...

- Смелее, бабушка, - подтолкнул товарищ Бакунин.

- Всю жизнь выбираю, а лучше не живу. За такого бы мужика, как Малахий наш, царство ему небесное, обоими руками голосовала. Сгинул цвет крестьянский на каналах да Соловках... Ну-ко бы, сказал, дармоеды, пустозвоны, робить-вас нет, а ложку матерую схватили!

Евлампиевна колдовала над разложенными бумажками... Бюллетеней было пять. В столицу галлопировало девятнадцать охочих, в область рвалась одиннадцать, в район ломились четверо, в волость нехотя плелся один - шофер Мешков, внук Егора Мешкова. Внука Егора не вычеркнула: и так один-одинешенек: потом, если по Егору судить, дров не наломает. Парень с хитрецей, не вспотеет на колхозной работе, но опять-таки домовитый. И языком зря не треплет. Нынче ставка на таких пошла, самих себе на уме, вдруг да заживем по старинному...

Первым по списку в район шел Ежов Ким Алексеевич. Мужик наглый и бессовестный, у него не заржавеет среди ночи деревню обойти в поисках бутылки водки. Отдачу не спрашивай, баба выругает, сам пригрозит, что без дров на печи околеешь.

«Дать бы тебе, Кимко, хромую кобылу, а не в кабинетах чваниться да на машинке раскатываться, - подумала старуха и дрожащей рукой вычеркнула Ежова. Аж легче стало, вроде как от скверны избавилась.

- Девки, а этот Арбузян чей будет? - громко обатила к членам комиссии.

- Арджабунян, - поправил Ковтышкин. - начальник ПМК. Ну, из тех, что болото под деревней корчуют.

- Неладно делают, сразу видно, что Арбузян этот - вредитель, - сказала старуха и вычеркнула начальника ПМК.

Еще вычеркнула кандидата в депутаты с фамилией Васкатов. Кто он такой, не ведала, но на веку помнила мастера по лесозаготовкам Раскатова. Лют был, одним словом, фашист. Голосовала за четвертого, Мишку Филиппова. Слышала от баб на деревне, что самозванцем парень идет, потому помочь в дерзости ей захотелось.

Среди кандидатов в область отыскала фамилию Прэдрика и чуть не плюнула на нее. Однажды ходила на прием, просила помочь отыскать место, где младшенький погиб, так накричал, обозвал паскудно какой-то Салтычихой. Наткнулась на фамилию первого секретаря райкома партии, и тут ее одолело сомнение. С одной стороны, все клянут партию да грязью прошлое марают, особенно секретарям достается, а с другой стороны - за что хвалить их, коль вожжи из рук выпустили? Это надо же, в деревне Кимко Ежов, у которого

дедко штанов путных не одевал, теперь деревню в кулак зажал! На памяти все секретари, сколько их не перебывало, сколько бы ни поруководили, а в городах квартиры достали. Знать, худо правили, коль своего народу бояться, утянули хвосты, и не к лицу секретарям огребать по шестьсот рублей, когда ей, сорок лет на одних коровах отработавшей, пенсию положили в минимум колхозный. «Пауки какие, мера у вас до колена, видно. Вот откинут от руля-то, так ведь ни один за землю не ухватится, а опять в контору полезет», передохнула, спросила через порог:

- А который, девки, цэркву открыть хочет, это кто?

- Забиякин, - ответил Ковтышкин.

- Чудак человек, надумал Георгиевку поднимать. Да чета ли ихняя Георгиевка нашей Троицкой? У них батюшка тихоня был, бороденка козлиная, а как наш Николай запоет всенощную...

- Ты в музей, что ли, пришла? - не выдержала Вера Максимовна.

- Э-э, девка-матушка, не ворчи, то умом оскудеешь. Побывала бы ты в прежней церкви, душой к Богу приблизилась...

- У нее все робята Миколины, чего ей к Богу приближаться?-заржал член Комиссии Вася Бубень.

Вася Бубень оглянулся: все сунули головы вниз, а Вера Максимовна краснее кирпича. Дошло до Васи Бубня: старшая-то дочь-приданое...

- Оставляю я этого Забияку, коль доживу, так спасибо скажу и в пояс поклонюсь.

С кого начать из путников в столицу, Евлампиевна решительно не знала.

- А из матерого списка люди кого оставляют? - спросила она опять комиссию.

- Бабушка, неужели у вас не бывали агитаторы, пропагандисты? Ведь проходили предвыборные собрания, обсуждались платформы кандидатов, были встечи с доверенными лицам, вы нигде не присутствовали? - спросил товарищ Бакунин.

- Наш секретарь встречу с самим Горбачевым проведет в два счета, - отыгралась Вера Максимовна: Васе Бубню секретарь приходился дядей.

- Правда? - спросил Бакунин потупившегося Ковтышкина.

Ковтышкин пожал плечами, ничего не ответил, вытащил из кармана ключки и стал перебирать.

- Так кого оставить-то? - опять спросила Евлампиевна.

- Голосуйте за Жаркого Федора Федоровича, - ответил Бакунин, быстро записывая что-то в свой блокнотик.

- А чей он, сырой не печеный?

- Замминистра деревообрабатывающей промышленности. Министра даже!.. А чуйте-ко, будто писатель от нас есть, этот под какой фамилией?

- Угрофинков. Бабушка, агитировать вас я не имею права, но что нам

даст этот писатель? Ваш колхоз строит скотный двор, от кого пользы больше, от замминистра или от писателя?

- Деньги в гроб не положишь. На днях мне соседкин парнишка книжку читал про людей. Будто живут они в лесу али в горах, ростом верзилы под четыре аршина, косматые, страшные, самих их не видят, а следы наутро есть. По ночам, стало быть, водят. Снежный человек прозывается. По мне, так ваш министр навроде снеговика, колодка та же. Увидим следы, что Арбузян на болоте оставил, а сам за стенкой отсидится.

Бабкины выводы потонули в разнобойном смехе членов комиссии. Смеялся товарищ Бакунин, заливалась Вера Максимовна.

Евламиевна со спокойной совестью закончила волеизъявление, перекрестила бюллетени, сунула в урну.

- Кто там, у нас еще остался, Вера Максимовна? - спросил товарищ Бакунин, прохаживаясь вдоль столов.

- Дуся Глотова не придет, а если и придет, то бюллетень изорвет, оба Кузнецовы отказались, потом Мешков, брат кандидата Мешкова...

- А этого какая муха укусила?

- Когда, сказал, кончится обдираловка деревни да жизнь устроят, тогда я за них и голосовать стану.

- Дозвольте, кто же жизнь за нас устраивать будет?

- Снежные люди, - засмеялся член комиссии Ягушкин, подмигивая Ковтышкину.

- Тащи ящик, жила! - кричал Вася Бубень.

## АРТИСТЫ

Угорелой носится по домам завклубша, перепотела, покраснелась, голос нежно-умоляющий: собирает народ на концерт. Неохотно идут люди, не валят валом, как прежде валили, поотвыкли от массовок. То ли дело телевизор-забава, напоеет и напляшет, а новостей - слушать - не переслушать. Есть желание наплевать в рожу толстопузому депутату, так наплюй, доставь себе удовольствие, еще пожелай ближе к ночи, чтоб его другие пузаны-недруги удавили. Стараются завклубша отработать ставку. Ей из района сделали внушение (государство наше только с виду похоже на шоколадку «щедрая душа», а начинка...) - расходы возьмем на себя, но и ты, девушка, тоже шевелись. Четыре года в клубе тишь да гладь и божья благодать...

Артист был маститый, и обличем и голосиной - сущий архиерей. Рослый, плечистый, такого из денежного театра в Москве не часом вышибли. Мастер от скуки на все руки. И кует и вышивает. Судя по афишке, что накарябала завклубша, он импровизировал плач Ярославны. Как он пел, собака!

Как по-жеребьячи ржал, вражий сын! У него даже кишки наяривали половецкую пляску. К радости малолетних зрителей, из седой гривы выползала ученая мышь, чихала и пряталась.

Сцена колхозного ДК раньше была великовата даже для большого коллектива, а для него оказалась тесна и убога. И где он только чего нахватал, сервируя ее! Свистят каленые стрелы, каркают голодные вороны, в одном углу воины рубятся, в другом рать побитая лежит, в третьем подлые людишки кошельки трясут. А сам порхает: якобы кукушка (Ярославна ни свет ни заря) летит на берег Каялы - реки; вот бежит конь, а артист рядом галопом; ползет раненый киевский князь Игорь, а половчанин Кончак Отракович высматривает его через заросли ковыля; Игорь гоголем в воду, выпрыгнул, серым волком бежит, по лугу Донца соколом. Торопится Овлур, спаситель князя, арканом сшибает студеную росу, сороки стрекодут - осторожнее, князь! Артист держал зал в возжжах крепко, народ то засыпал, убаюканный смутным сном тестя Игоря Осмомысла Ярослава, то чуть не вскакивал - раньше рубились, так рубились, не на колхозном собрании семечки лузгали. Зрители, в основном молодежь сталинского призыва, внимают со страхом; напоминает эта молодежь, гляючи на артиста, старые, железные порядки на Руси... Захныкал один малец - раньше молодежи такие зрелища были противопоказаны, раньше впечатлительных на печке без портков до призыва в армию воспитывали. Мальца поддержал другой малолетний зритель. Артист вошел в раж, всхлипы принял за чистую монету и завопил громовым раскатом бога Велеса. В зале взревели.

- Уберите детей!!! Чей ребенок? Чей, я спрашиваю?!

- Что ты, господи... «Чей, чей», наш парнек. Вовчик, прижмись к бабушке. Ишь, как дрожит, так и зайкой стать недолго. - Это Марья Коновна, в прошлом знатная доярка. - Прости, милоч, старуху бескультурную, а ты потише. Не чертей на болоте глушишь. У нас, милоч, широко в полах не принято себя держать. Иной страшалец как забегает с топориком круг избы, так его сгребут и в кутузку: остынь, не шали.

- Господа!.. Товарищи-и! Дорогие мои соплеменники, как говорит президент Стакан Гарантович! Это Ярославна плачет на забрале в Путивле за нашу землю русскую, за витязей павших. Вы пошевелите серыми клеточками, отнеситесь назад, в столетия, в дикое поле, как унеслась мыслями Ярославна: «О ветер, ветрило! Зачем мчишь хиновские легкие стрелы на крыльях своих на воинов моего лады?» Слышите: кони ржут за Сулой, видите - дремлет гнездо Олегово, гудит земля многострадальная под копытами коней, из-под Боричева взвоза...

- Гришка поди-ко, опять пьяный на тракторе громыкает, вот и гудит, - Марья Коновна оглядывается в зал. - Бабы, третьего дня от его гудения у нас глина пошла из-под печных опор.



повыгibalась что разнеженная на жаре кошка, потянулась, зевая, серебристо рассмеялась:

- Опять, дед, приметы не сошлись?

- Не твоего ума дело, - огрызнулся Трофим.

- А-а.

И поплыла по коридору, убийственно красивая, с дурманом во взоре. Туго обтянувшая стан сорочка пошла переламываться в такт шажкам. «Эх, Васька-аа... - со свойственным мужчинам его возраста запоздалым, сожалением заныла душа Трофима. - Проспал жизнь-то...» За сношенькой водились грешки, а вот всамделишные или наговорные, того сам черт не разберет. Вроде изменять не изменяет, и никто из мужиков даже под пьяную лавочку не мог похвастать, но поведение... будто по острию ножа ходит. В праздник чужого мужика облобызает, что родного брата встретила, а Васька... «Эх, Васька-аа...» Не одернет, не приструнит, рот растворил шире ворот да глазенками круглыми хлопает, как развеселая Кланька залезла ему в тот рот со своими речами да довольнешенькая обратно вылезла; Трофиму бы такая жена в свое время изладилась, уж он-то бы унял шальную кровь, кобылицей нежеребой не бегала бы. И так сказать, какой мужик устоит, если перед ним так играет лицом привлекательная особа? Пусть камень попадется, не приударит, а какую занозу, в сердце носить будет? Не раз потом встречу вспомнит да за робость себя проклянет. Один раз живет человек, а молодость не до гробовой доски, всякой овощи свой черед. В овальном лице Кланьки таился огромный мир таинства. Оно притягивало к себе. Деревенские бабы в Кланьке особой красоты не находили, за глаза «подлющей» звали, может быть, вровень с собой не ставили из-за страха, что вгонит разгульная баба клин в семейную жизнь. Ох, как они чихвостят своих мужиков, «положивших глаз» на «стерву»! А при Трофиме лают еще громче обычного. Та же соседка - толстомаяся ветеринарка, вот шука зубастая, завидит Трофима и начинает читать проповедь, неизвестно к кому обращенную: «Слепая рожа... своя в кожу не влезает, а подавай тощака... стянуло ноги в коленках, умишка в лобике щепоть...» Спробуй, пойми соседку. Или она себя хвалит, или мужа-щупляка стыдит, но причем Трофим-то? Кланька распарится в бане, чуть не голышом идет по меже, а сосед из за угла глаза выронил. «Дура пустая, - уже в пользу снохи как мужчина старый, но бывалый, про себя выругает соседку Трофим, - да леший водяной на тебя кинется!»

В курятнике напротив завохтала курочка, осторожно балансируя на доске начала спускаться с насеста, пример был единогласно принят остальными, и все черное племя со свистом и шумом стало пикировать вниз. Важно гаркнул петух, призывая к порядку, походил, походил по жердине, точно примериваясь к полету, и слетел последним. Сразу же провел разведку: разбежался, оседлал забор, покосился на небо, задиристо прокричал, вызывая

соседа на утренний поединок. Подождал, выдал победный клекот да и к женушкам.

Вывела наседка-мама своих питомцев на белый свет, тревожно квохтая, подтянула цыпляток к кормушке. Трофим смастерил кормушку так, что цыпленок достанет крупяное семечко, взрослая же птица в жизнь не возьмет, хоть весь день топайся около нее.

Трофим живет своим умом, пускай и дразнят подчас в деревне родовым прозвищем Зобнюха. Он советов спрашивать ни к кому не ходил и сыну заказал не бывать. Как ни шьется-варится, а другим дела нет. Давно ведет календарь природы, снимая показанья с кур. Они для него главный барометр, линияют куры осенью на первый снег, что выпал с северной стороны в ночь и притом на талую землю - к затяжной весне. И в поле выедешь, да «выпрыгаться придется». Гоголем ходит петух на страстной неделе - первый гром по насту. Коль на сочельник его подопечные рано на покой собрались да прижались одна к одной - ягод будет, хоть решетом гребь. Предсказания Трофима когда сбывались, когда и рядом нет, но он авторитет. Кто спас местную популяцию кур с мохнатыми ногами и завалистым янтарным гребнем? Он! Теперь весь сельсовет таких держит и здоровья «курошупу» желает. Ведь до чего дожили - срам! Индокур, у которых мясо что резина с автомобильной покрышки, по почте выписывать стали. А свои-то, дедовские, районированные при царе Косаре, в сравнение не идут! Кинь жита горсть, вот и весь рацион. Чтобы в огородец зашли да грядку опустили? - уволь, не приучены. Случается, ошибается Трофим, но у кого их нет, этих ошибок, тем более у предсказателей погоды. Радио наврет больше, страна-то наша огромная, не всяк циклон по ветру. А тут старик ради своей же деревни старается. Та же соседка за хлопотами сама и не вспомнит, что капустной рассады не наплевала, а слух рядом: Трофим обещает под осень ночи студень, самый капустный рост.

Объявился у старика враг, заклятый басурманин, повадился что князь, дань взимать одним цыпленком в день, до чего хитрющий, паразит, вылачился, не меньше какого-нибудь лесного института наук нахватал. Вчера, кажется, только прилег вздремнуть, как самого голосистого петушка из-под носа свистнул. Чего доброго, выведет корень, коль мер не принимать. Да Трофим живым бы съел злодея, окажись он в его руках.

На соседском подворье брякнула дужка ведра, сердитый голос плохо выпавшей женщины донес до Трофима обрывки раздраженных ругательств. «Эт, бабы, язви вас...», - чертыхнулся как бы в ответ Трофим. - У нашей Кланьки шитье на нитки не приходит, а зовет Ваську на какой-то подряд. Единоличники. - Трофим прихлопнул надоевшего комара. - Хозяйство вести - не мощной трясти. На своей-то полосе не так бы завопила. А то ноги уперли в телевизор, не мычит - не плачет...»

Взвел курок, который раз прицелился в черную дыру скворечника.

Почему-то скворушкам не понравился весной дворец, обиду затаили, что кот выгудил прошлым летом детенышей... Мелькнула тень над вершиной липы, замолкла цвинькающая в малиннике синичка, суетливо побежал петух, горланы от душивших угроз, вихрем закружились галки. Трофим привстал, напряг зрение, высматривая обидчика... Ага! Вот ты где, антихрист проклятый! Задумал по старой тропе спозаранку добычу хапнуть? Переплет рамы мешал прицелиться, охотник поднимал приклад все выше и выше, пока мушка не уперлась в серый комок на нижних ветвях дерева. Выстрел разорвал дремотную тишину утра, в доме точно бомба ухнула. Искры снопом посылались из глаз Трофима - отдача приклада опрокинула его навзничь.

Выбежали сын со снохой, оба полураздетые, увидели в клубах синего дыма поверженного отца своего.

- Тащи! Васька! Тащи! Пугало сделаю!

Сын опомнился, плюнул, пошел обратно в комнату, за ним Кланька, напуганная до смерти.

Долго искал Трофим подстреленного ястреба. Ходил вокруг липы, зажимая кровоточащий нос пальцами. Чтобы чуть левее взять... чтобы за поленицу сесть... чтобы пороху еще с полмерки сыпнуть... Какое бы пугало вышло!

- Что, расстрелялись-то, уж не Кланька ли родила? - ядовито прогундосила из-за забора соседка.

- Пятерых. Шестой вылезает.

## БАЙКА ДЕДА ФОРДЗОНА

Подпираем спинами магазин, обметаем языками пыль от кремлевских трибун, лихом вспоминаем рыжих, плешивых, носастых, а между делом и пивком балуемся. Пива нынче - пей не хочу, была бы денежка. Намедни Госдума не приняла закон о льготном проезде колхозников ни в первом, ни в пятом чтении. Это нас задело за живое. Налицо наплевательское отношение к воле избирателя. Неважно, кто закон сочинял, кто его лобировал, - обидно. Большую часть жизни мы, нечерноземцы из-за отсутствия хороших дорог передвигаемся на гусеничных тракторах. На мешках, на дровах, на соломе, между коров; взираем сверху как ангелы с небес. Ветер, дождь, холод - едем и точка. По ягоды соберемся, на тележке без ягод ноги протянуть некуда, кто стоит, кто на ком сидит.

Идет деревней дед Константин, поворачивает к честной кампании. Пристроился на водочный ящик, оперся подбородком на крепкий батог, регулирует воздухозаборник. У деда в организме шляются германские осколки, потому он, бывает, подолго пыхтит и свистит и заходится кашлем. Давным

давно какой-то остряк прозвал Константина Фордзоном, - был на веку такой трактор «Фордзон-Путиловец», полчаса чихает и хоркает, пока поршни в двигателе разбегаются.

- По девкам бегал? - спрашиваем деда.

- Ох, ребята, ребята... доживете до моих годов, девку на нос повесить - маета одна... До Гриши ходил, до Лысанова. Дикий народ пошел скажу я вам, озверел через эти рыночные порядки. Внука Гришина дальше порога не пустила, глазюками меня буравит: «Сидел бы дома, говорит, своей грязизи до выгребу, еще чужую ташат».

- Чего, дед, не разувался что ли?

- Сниму сапоги так не одеть, спина как стамая. Поговорить с Гришей хотел, о живых потолковать. Затерла бы свой ленолиум, чего волчиться... Раньше, ребята, в гости ходили друг к дружке запросто, ворот не запирали, народ-то был дружный, совестливый... Эх!

- Нынче, дед, с бухты-барахты по гостям не шастают, нынче загода извещают. Примут такого гостельника, а может и нет? - говорю деду. Бывает, присоветуют обратиться в ООН, так мол и так, президент этого края деревни, пожалует в твой курятник, господин президент с другого края деревни, тогда-то и с такой-то закусью. И коротенько набросать круг обговариваемых вопросов. Пускай Лысан приберет в голове свою библиотеку.

- Зубоеды! - сердится Фордзон. - Голова у Гриши не пустой лагун. Вам смешки, а Гриша худой стал...

- Шутим, дед, шутим.

- «Хреновенькие шутки», промолвил гусь слезая с утки. Погаркал: «Жив, Григорей?», из горницы измученно так откликнулся: «Жив, Кос-тя-я»... Какой мужик был! - Фордзон озорно повёл лохматыми перевитыми бровями. - Бывали у нас с ним дела-делишки. После войны мужиков полномощных пригоршня на всю волость, пацаны да девки. Голод, а работу подавай, эдак как вы сейчас за магазинами не валялись. Я тогда в МТС механичал. Гриша парторгом был. Войну он отстоял за токарным станком в блокадном Питере, хватил лиха. И похаживали мы с ним к одной вдовушке и друг про дружку не ведали. Сейчас модно верхи костерить, мол, Горбачев дурак, Сталин - зверь, все разворовали, колхозы к ногтю, а я другое скажу: на местах крепкой руки не стало, вот и кидаемся искать пятый угол в угарной бане. К рулю добрались проходимцы, им кабинеты подавай, секретарш длинноногих, прежде у власти запросы скромнее были. Мы историю учили - от зубов отлетали ответы.

Как-то около Крещенья наострил я лыжи до покойницы Насти. Коротаем время, лампа семилитейная горит, фитилек потрескивает, Настя у меня на коленях воркует... Ох, ребята, в свою пору все мы скакуны, перед погостом мерины. Любо! Вдруг хлопбысь в дверь. Молотят, как к себе домой, не шутейно. Настя с колен спорхнула, заметалась по избе. Шубейку мою за

кожух на печь кидает, и шапку туда же, подполье открывает и толкает меня: лезь! Юркнул в подполье как кот нашкодивший. Лесенка о три ступеньки была, вот я уселся на эту лесенку воробьем вспугнутым и сажу. Слышу, мужик заходит серьезный, по хозяйски рукавицами бьет, к печке идет, допрос чинит: «С кем это ты водочку попиваешь? Откуда водку берешь?» Настя, видно, стаканчики не успела со стола спрятать. Узнаю по голосу: Гриша Лысанов! «С Сеней, муженьком своим неразлюбленным, - отвечает Настя. - Царство ему небесное. В какой-то канаве придорожной мой Сеня лежит... Под Москвой, сказывают, миллион народу погибло». «Кто нас считал», - отвечает Гриша. «За себя выпью, за него пригублю, поревлю да схожочу - эку войну заломали! Что же-ты, Господи, делаешь-то! Хоть бы робеночек после Сени остался...» Протопал Гриша к столу, половицы над моей головой скрип-скрип. Грузный он стал, отъелся в деревне. Слышу: крикает, звать стаканчик ботнул. Закусывает... Эх, ребята и до чего же раньше рыжики вкусны были! Подержать бы во рту тот рыжик и умирать согласен. О погоде говорят. Настя: «Строг ты Григорий Леонтьевич, помягче надо с народом. Зачем ты соседку мою, вдову многодетную, тюрьмой стращаешь? Ты бы ей килограммчик муки помог огоревать, а чего стращать?» «В те годы, ребята, за понюшку табаку можно было оказаться далеко-далеко, где кочуют туманы. Гриша еще опрокинул, и стал он Настю в партию агитировать. Скажет какую-нибудь фразу и ее повторять заставляет. Сажу я в подполье, Крещение - не Петрово говенье, сажу-то в одной рубаше. Что бы дураку шубу прихватить... И началось у меня. Свист, пыхтение, удержу нет. Настя по полу валенками шеборшит, а Гриша, зная, ухо наострил. Избенка старенькая, на семи ветрах, Семен-то перед войной собирался новую избу ставить, да не успел. «Что это у тебя домовые?» - спрашивает Настю, а та вывернулась: «Домовой... вдовья нужда посрамнее домового. Сенин тулуп за поросетишка променяла. Уж как Сеня берег да что поделаешь». «Не сладко нынче всем, говорит Гриша. - Но мы страну поднимем. Наш народ... Чудно, однако, сопит, будто Костя Фордзон... Давай-ко повторим, разброс какой-то у тебя в голове».

Хорошо я усвоил некоторые параграфы. Бывало, потом в потемках к Насе пробираешься, ткнешься мордой в чего-нибудь, так бы матюга и загнул, а я цитату из трудов товарища Сталина под ноги ложу. Гриша, видать, вспомнил, за чем шел, возня у них пошла, поцелуи. Хреновенько я себя в подполье чувствовал. «Нельзя сегодня, Григорей Леонтьевич... «Пообещалась Настя в партию записаться. Уж до порога Гриша дошел да воротился. «Сопит, подлюга, разморился в тепле. Дай-ко гляну, велик ли, может, зря тулуп-то променяла?» «Ради Христа не надо! Сглазу боюсь!». «Веришь во всякую чушь, сглаз какой-то. Коммунисты - воинствующе безбожники! Ты, Настена, с Кости Фордзона пример бери. Такие мужики как Фордзон хребет страны! С народом - душа, с железом - Кулибин. Инженер Собакин против него сопли витая». Собакин был

направлен к нам в МТС со спичечной фабрики, ему что сеялка, что веялка. От слов Гриши дышалка моя заработала как швейцарские часы. Чувствую, как по лицу жар идет. Перебрал Гриша, недостоин я такого почета, хребтом, страны быть. Открывает Настя подполье, ноги не гнутся - отсидел. Зато подкован был политически - будьте-нате!.. А вы верхи полощите. Низы с песком драить надо, низы! Страна у нас - большущий колхоз, а кто страной правит? Болтуны!

Заскрипел остов бывшего механика, вставать начал с ящика. Выправил крен, потоптался, смотрит на нас с интересом.

- Ну что, баламуты, хотели войну Швеции объявить, так объявили?
- Все, дед, уже капитулируем!
- Интересно, на какие шиши пьете, а?
- Все-то тебе расскажи!
- Спонсора под ворованный фураж нашли, так?
- Так не так, перетакивать не будем!

## «ГОСПОДА»

Большие крестьянские семьи нынче редкость. Пугаются взрослые детей: беспокойно в державе, тревожно. Сегодня цари одну реформу глаголят, завтра ее - вазшей и другую возносят. С горем пополам «купили» родители одного - двух чадушек и хватит, нечего нищету разводить, надо для себя пожить, чадушкам будущее обеспечить.

У Евсеевых семья огромная: девять ртов, десятый ногой в животе колотит. Детей семеро, еще старуха Петровна днеует. Правда, она много не ест, больше дремлет. Ребятишки ей усы углем намазывают, кошку под подол сунут - забава. Горькая нужда в доме. В избе удушливый, спертый воздух, пахнет сырыми пеленками, загаженными штанишками, на кровати рваные, засаленные одеяла, ломаных игрушек-побрякушек - со всей деревни. Один стул цельный, остальные проволочками, веревочками стянутые. Телевизор орет целые дни, его «регулируют» все: и дети, и Петровна, и мать Александра. Как хозяин дома отворяет двери, весь выводок кто куда. Хозяина зовут «батьком», батько одному подзатыльника даст, другого пнет, выдернет шнур из розетки, грозит «изничтожить всех гадов». Батько за двери - кто-нибудь опять «сказку» включает. Приходит тетя почтальонка - кому бы скорее за стул уцепиться да тот стул тете подать. Добрая она. Конфетками шоколадными одаривает. Председатель сельсовета частый гость, дети прозвали его «паровозиком», - пузатый дядька, важно дует в густые усы. Стул ему не подают, он, как мать ругается, татарин паршивый. Паровозик стул сам находит где-нибудь под кроватью, садится ближе к дверям и начинает мать учить жить. Бывает, и в слезах мать оставит. Велит деньги тратить с умом, на выпивку

бабку Ивану не давать, чаще на ферму заглядывать да вникать, чего это он целыми днями около коров пропадает? Работа слесаря, по его меркам, не бей лежачего, надо свое хозяйство расширять, а не у котла лежать. Зато после посещения Паровозика в избе много хлеба: мать идет с ним в магазин, в магазине Паровозик и скажет продавцу, чтобы та наложила мешок буханок.

Сегодня Иван рано поправился со своей скотиной, оделся в чистую рубаху, сидит на табурете, швыряет из кружки обжигающий чай. Чай он для себя заваривает сам, любит пить «по-купечески» - легким чифирчиком, «ополосков» не признает. Заварку выжимает до капельки. Лицо у Ивана миниатюрное, украшенное неправильно рассаженными клочками волос взамен бороды, глаза карие, с насмешливым, плутовским выражением. Боек и нервно раздражителен Иван, на всякое слово реагирует болезненно. Сегодня у него праздник, стукнуло тридцать восемь лет. Сегодня он приказал сам себе ко всему относиться спокойнее, назло всем насмешникам не скандалить, хоть камни с неба валитесь. Важен и любезен сегодня Иван с женою Александрой свет Северьяновной. Еще бы: баба поднялась со вторыми петухами, нарочно для Ивана решила испечь рыбник. Взгляд Ивана перебегает с широкой спины жены на пироги, вынутые из печи. Он сидит, небрежно закинув ногу за ногу, - поглянула привычка инспектора райсобеса качать ногой - то, нагнувшись, погладит жену по «мягкому» месту, то, хихикнув, отодвигает на окне занавеску: Покров на носу, светает не так быстро, как летом. Жене не нравится рыбник: то она залезает в устье сколько позволяет выпирающий живот, вытащит противень, потычет пальцем - нет, не «упрел», то заслонку на место ставит. Бойтся, как бы «жар не ушел». Давно рыбник «сидит», может, рыбы много загнела, может... надоели ей приставания мужа, вихнулась всем телом, развернулась с лопатой на Ивана.

- Как мазну ссас!.. Какого лешего и надо!

- Соба-ка на слово-то, - улыбается Иван.

- Сам собака! Рожу-то выбрей, лихота..

- Уж и дотронуться нельзя, недотрожка какая, - Иван «дожимает» всю заварку. - Замесила-то в пропорции?

- Понимал бы, пропорция, - хмыкает Александра свет Северьяновна. В колыбалке заворочался ребенок, пошлепал ручкой по какой-то побрякушке, зашелся в сиплом плаче.

- Валька, оглохла? - резко сказала Александра.

Из-под ватного одеяла на полу выползла девочка-подросток, прикрывая полой расстегнувшегося халата свое тощее тело. Прошла к колыбалке, зло дернула ее на себя, ребенок в колыбалке заверещал. Александра в сердцах кинула лопату, торопливо прошла к колыбельке, взяла дите на руки. То прижимая его к груди, то поднимая вверх, стала наговаривать потупившейся дочери.

- Тяжело, зараза? Тяжело? А мне легко? Бьюсь, бьюсь, как с кабанами тупорылыми, уж сколько-то неохота... О-оо-о, о-оо-о, утомонись, утомонись, ягодка...

Нестерпимая мука выражалась в эти минуты на лице девочки.

- На, - мать сунула ей в руки ребенка, - походи по избе, походи, горе ты мое... Походи, статуя!

У колхозной конторы обыденный «развод». Начали собираться мужики, обмениваться незлобливой шутливостью. Сливается воедино трезвый расчет, неопровержимость мнений. Детское мирозерцание деревенских голованов в одно грустное течение: нищает колхоз.

Подошел Иван Евсеев, зорко оглядел мужиков. Был он сегодня веселый, отчего мужики переглядываются: уж не родился ли еще у Ваньки ребенок?

- Как житуха, господа? - спросил Иван и даже языком прищелкнул.

- Гос-спо-ода, - шипяще парировал сильный и ловкий, а проще ухватистый, бородач под два метра ростом Василий Ямщиков, полногубый, голубоглазый. И столько в это слово вложил он горечи, что Иван опешил, веселость улетучилась. - Гос-спо-ода на босу ногу.

Василий отличается благоразумием и рассудительностью, никогда не матерится. В последние годы соблюдает посты и читает Библию.

- Пожалуй, к господам ты нас поближе, - кисло говорит Василий.

- Шали-и-иш! - порывисто сказал Иван. Загоготали мужики, начали зубоскалить над новоявленными господами. Получилось, будто невзрачный Иван передразнил степенного Василия.

- Похвастай, господин, много пособия огреб? - спрашивает Василий Ивана и сжимает зубы.

- Сколько положено, столько и огреб, - смело отвечает Иван.

- Положено..., а кто положил-то? - опять спрашивает Василий после непродолжительной паузы.

- Кто-кто, государство!

- Вон оно как... государство. Все думал, что государство это мы с вами, а получается что-то мифическое? Производитель... Баба зубами мается, хоть в пестере ее в больницу неси, а придуркам все на блюдецке: за свет платить не надо, за трактор - тоже, из Америки штаны Билла Клинтона приволок наш председатель сельсовета - кому: Евсееву Ивану, многодетному. Семенник...

- Да ты что, Василий?

- Че взъелся-то? - не понимают мужики.

- А он житью моему завидует, - нагло смеется Иван. - Пригласи, и тебе нащелкаю.

Вовремя пригнулся Иван, то бы Василий смазал ему кулачищем по голове. Сбычился Василий, исподлобья смотрит на готового сорваться в бег Ивана.

- Я те пощелкаю...

- Великое дело, Василий Ларионыч, коль есть в тебе ум да сила, - примирительно сказал Иван.

- Тьфу ты! - сплонул Василий Ямщиков и пошел улицей прочь, широко двигая плечами.

- Че он? Какая муха укусила? - переговариваются мужики.

- Парень письмо прислал: или денег шли, или институт бросить придется. Девку сватали, место есть учителем в Ваймеше. А председатель, сучок кастрированный, хоть бы сотню ему дал... Государство, мать бы его...

- Кругом жида! Каюк русскому мужику!

- Мужики, я-то при чем? - спрашивает Иван.

- При том ли, при этом ли... злость сорвало и все. Безработные, учителя. Пенсионеры. Пособия всякие, а нам что? Три года за мешок фуражу робим!..

Осеннее солнце обливало ярким светом загорелые лица мужиков. Кто курил, кто сердито пинал носком сапога землю. Маленькое лицо Ивана Евсеева озабочено. Он тер лоб, пытаясь припомнить, что бы такое обнадеживающее слышал он про колхозы, но не мог припомнить. Да и политиков он путал, хорошо запомнил рыжего Чубайса, дабы тот обещал ему машину на ваучер. Пока шла утренняя дойка, Иван все размышлял над поведением Василия: «А че, допекло! И сынок-то хорош, летом на каникулах был, пил не просыхал. Хорош инженер будет, хорош. Ты, Вася, еще перематеришься, неправда. А может, уговорить Александру дать половину пособия Василию!..» «Схохочет Васька над тобой, чудака-человек» - представил реакцию жены. Вальке обещал платье купить, и сегодня матка обидела ее...»

Пришел зоотехник, потом заявился не протрезвевший бригадир, стали гадать, куда девать корову, что разорвала заднюю промежность. Лежит корова пластом, умирать не умирает, и не поправится.

- Выдернуть к черту! - предложил бригадир.

Зоотехник помялся, потужил, согласился. Собрали доярок, обвязали несчастную корову веревками, потащили на улицу. Замычали коровы по всему двору, рвутся с цепей.

Перемыл Иван доильные аппараты, вышел на улицу. Смотрит, корову трактором уже отбуксировали до навозной кучи. «До чего дожили, - горько подумал Иван. - Никому мясо не надо. Пускай подышает, дешевле обойдется, ежели резать да продать... продать! А че. Все равно в брос, обдери-ко да в райцентр толкну». Сходил в аппаратную, наточил нож, сделанный из ломаной косы, пошел свежевать корову. А собаки уже кругом тупи сидят, примеряются рвать начать, для них это занятие привычное. Шкуру снял, порубил мясо на куски, разогнал собак и давай мясо ближе к ферме носить. Носит да в ящик специальный откладывает. Сбегал на конюшню, лошадь в телегу запряг и прямым ходом, старой, редко используемой дорогой в райцентр. Время уже за

полдень. В райцентре сунулся в один магазин - немецкого мяса до выгребу. Толкнулся в другой - та же картина. А колбас, колбас в том магазине сколько!.. Затужил Иван. Одна баба сердобольная надоумила: поезжай туда-то, да спроси того-то, он кусачих породистых собак пестует. Нашел собачьего заводчика. Господин веселый, из себя мордастый. Мясо не берет, витаминов, говорит, в отечественном мясе мало. То ли дело заморские корма, собаки на тех кормах на глазах дорodneют, шерсть что руно золотое.

- Жалко мне тебя... Щенка дам, пускай мне конкурент будет.

- Мил-человек! Да на кой хрен мне щенок твой, когда у меня щенков двуногих полная изба? - взмолился Иван.

- Давай по цене костей?

- Господи! Эдакую коровищу! Креста на тебе нет! Смеется собачий заводчик, держится за объемный живот.

- Уговорил. Дам половинную цену против магазинной. Таскай в морозилку, на весах прикинем... Все! Ты слышал? Я сказал: все!

Довольный едет домой Иван. Брюхо урчит, весь день голодом. «Ты, конечно, Василий Ларионович, высоко летаешь, в кровичи да в навозе пачкаться не будешь, а я стерплю, так и быть, из «господ" я...».

Лошадь на место поставил, время ближе к полуночи. В редких окошках свет горит, по кроватям лежат крещеные. Идет Иван мимо Ямшиковых, смотрит через щелку в шторах, Василий перед телевизором в кресле сидит. И проснулась в Иване дерзость. «А что, вот зайду и положу деньги на стол. Бери, раз ты государство!» От таких мыслей глаза его лихорадочно заблестели, но продолжалось это одно мгновение. Возбуждение потухло так же быстро, как и вспыхнуло. Тело охватила усталость дня, кругом царили полумрак и тишина.

На кровати, повернувшись лицом к стене, лежала жена Василия толстуха Галина. Стараясь не скрипеть половицами, прошел Иван до Василия, тронул того за плечо.

- Прости, день рождения у меня седни, - хитро подмигивая, сказал Иван.

Василий что-то невнятно проворчал; чуялась в этом ворчании какая-то большая и сверлящая рана.

Поднялся Василий, скалой завис над Иваном:

- Вали отсюда!

- Ты постой гнать-то, я тебе денег принес. Парню пошлешь.

- Совсем закоротило? Нужны мне твои медяки, как попу гармонь.

- Может, и медяки, а ты не брезгуй.

Неуклюже потоптался на месте Василий, с каким-то интересом разглядывая уставшего Ивана, сходил к комоду, достал бутылку водки, и два стакана, принес из кухни миску холодца.

- День рождения... вот ты какой!

- Возьми денег-то, - еще раз протянул деньги Иван. Василий деньги

принял, пересчитал, сунул на божницу за икону.

- Давай, коли так... Это сколько тебе уж стукнуло? Выпили бутылку, Василий пошел за другой. И тут подала голос жена с кровати:

- Хватит!

Скомкался Василий, сжал кулаки: неудобно получилось перед чужим мужиком.

- Спасибо, Ларионыч, за хлеб-соль, пора домой, - начал прощаться Иван.

Проводил его Василий до калитки.

- Можно бы еще по соточке, да...

- Хватит-хватит, Ларионыч, в сон клонит. Идет Иван по коридору своего дома, в темноте закоулки шупает. Жена свет включила, встречает, охает.

- Мать!.. Не надо слез!

Отталкивает жену, забирающую его под руку:

- Мы сами с усами!

- Тише. Тише, Ваня. Дети спят. Не кричи.

- Спят мои доярки и свинарочки, в носики-курносики сопят, - запел Иван.

Зажала ему рот рукой Александра свет Северьяновна. Сидит Иван на кухне, под ним услужливо поставленный женой хороший стул, отвечает на задаваемые вопросы.

- Зачем лошадь брал? Говорили в магазине, лошадь запрягал.

- Зачем, зачем..., а вот затем! Дай, думаю, допорхну до знакомого инспектора райсобеса. Ты, мать, рожай ходчее. Он мне так и говорит: «Как только парень голос подаст, я его на довольствие поставлю». Ну, выпили. А что? Он такой же господин, как и я. Главное - все на мази. Он не дурак, инспектор-то, понимает, кто колхоз поднимать будет... а что, Александра свет Северьяновна, все ли у нас в хозяйстве в порядке?

- Не кричи, ну что ты кричишь, Ваня?

## ГОЛОВАН

Не сказать чтобы Гриня злой или жестокий; иной раз слова поперек не скажет, помигивает да губами чмокает, в другой час дурь какая-то засобирается в его шарообразную голову - ни с того ни с сего наскочит петухом, обложит матом, отойдет - как полбуется проделанным, да и крепче облает. Поднимет всех покойников на ноги и кресты попихает, припомнит, сколько ему зла деревня причинила, ничего не упустит. Не принимает народ его чмокание за добрый знак, все настороже с ним. Сорный мужик, охлестыш: веком в правление колхоза не избирался: рассорит степенных правленцев, а сам, чего доброго,

хвост утянет.

Другой день качает на комбайне в мастерскую Гриня, доехать не может. Втяпался в очередную яморину - на глазах машина тонет. Мутная вода аж клокочет и пенится, со всех сторон спешит из-под снега. Потоптался около громадины - нет, не выбраться одному. Свищет поземка, гонит по необранному овсяному полю снежные завертыши. Стайка серых птичек кувыркается по гребням метелок, клюют птички зернышки. Тяжелая изладилась осень, напилась земля досыта.

Видит Гриня - бежит через поле гусеничник. Забрался на кабину, семафорит, чтоб приворачивал. Приворотил тракторист Ульян Кузьмин, с утра "косой". Сцепились - пришлось на пузе по грязи ползать. Выкарабкались - нет бы Ульяну до места сопроводить, так орет: "Отцепляй! Некогда мне прохлаждаться!" С руганью опять полез под комбайн. Кое-как вытащил шкворень, а изорванный трос, снятый с лебедки трелевочника, крутанулся змеей, да петля как врежет по глазу... Выбрался, что баран, - в кровище. Ульян хохочет, по газам - и полетел, ошметки выше кабины. Благо аптечка нашлась, а в ней два бинта пропыленных, один бинт - на глаз, вторым замотался. Слил воду с двигателя, пошел пешком. Ульяну по гроб жизни обещает не забыть подлянку, обещает при случае пустить красные сопли.

Смотрит, рядом с дорогой зверь пасется невиданный. Такого даже в кино не видел. Приподнял пиратскую повязку - баба расщеперилась! Коричневые штаны с зеленой заплатой на подколенки спущены, ходит да овсяные метелки в горсть рвет. Вроде еще и поет что-то, или ветер посвистывает!.. Хотел снегу в голу задницу порхнуть да убоился: может, из районного начальства кто на уборку пожаловал, на заднице не написано, чья да откуда. Минул, метров десять прошел, слышит сзади:

- Леший тебя бросил-то! Леший! Как в иглу вдел!

Развернулся Гриня и давай бабу крестить вдоль и поперек. Бабе бы захлопнуть рот - и так вроде осрамилась, она еще язвит: нарочно в овсе лежал - дожидался, когда ее нужда приспичит. Плюнул Гриня - язык-то шершавый у бабы с аршин, потом - башка трещит, не до воспитания.

Шел да гадал, почему он бабы такой носастой не встречал раньше? Или встречал да запамätывал? Уперлось поле в мелколесье, дорога загнула по подошве угора. По угору есть тропинка нерожевая, идти по ней - наказание: черемухи в глаза тычутся, шиповник ноги пеленает, коряги да коренья. Местами застыли почерневшие осины, сплошь издолбленные дятлами. По угору рос лес вековечный, запретный, место исстари зовется «Куст». Наступили для реликтовых сосен тяжелые времена, выпластали их мужики и свезли по дешевке в Москву, на дачи. Старики говорят, мол, в Кусту клад богатый зарыт. Были охотники, копали, наткнулись на выдолбленную из сосны колоду, а в ней - скелет человеческий. Закидали могилу кое-как, больше искать не стали. Бабы

за малиной трусят ходить, говорят, из земли стон идет жалобный. Гриня Батогов - безбожник наполовину, но в голове нехорошие мыслишки аукаются... Пока поднимался - все прислушивался да оглядывался, спускаться стал, шаг прибавил.

...Инженер Гнилухин сидит в диспетчерской один-одинешенек. Наохлился, что воробей после дождя, пучит глаза в окно на огромную лужу с красноватым отливом. Заволакивает снежная крупка ту лужу, зная, зима на подходе.

- Эх, - дал о себе знать Гриня, присаживаясь на скамейку у самых дверей.

Гнилухин тряхнул головой и повернулся на голос.

- Ну? - после некоторого раздумья спросил, упирая неживые глаза в пропитанную кровью повязку.

Гриня почмокал губами и тоже наохлился.

- Сидишь, поди?

- На Бога с вилами не кинешься, - ответил Гриня. На лице его промелькнуло пренебрежение. Не повышая голоса, добавил: сижу. Тепло и мухи не кусают.

- Не кусают, - подтвердил инженер. Насупил брови. - Крепко приложился?

Гриня отрешенно махнул рукой: что с тобой растадыкивать, пень ты тухлыйый!

Гнилухин нездешний, четыре года живет бобылем, никому писем не пишет. Кошки в доме - и той нет. Как живет, чем кормится - давно вопрос молью съеденный. Живет человек, ну и живи. Тоший, длинный, глаза тусклые. К его тоскливому недовольному виду давно привыкли, как привыкли и оценили по справедливости неспешный характер его мыслей. Он принадлежал к числу лиц думающих, но не говорящих, а если говорящих, то намеками, кивками. С пьяными вообще ничего не говорит, отходит в сторону, нервно пощипывая сплюснутый нос.

Его железную фразу. «Залетишь - не гавкай», знают все.

- Вмерзнет?

- Мерзни. Будто мне одному надо. - Гриня досадливо хлопыстнул кепкой о скамейку. - «Отцепляй!». Нажраться не могут. С Покрова горло поет, не знает, почем фунт лиха.

Гнилухин свернул выдавшую виды газету трубочкой, примерился по неторопливо ползущей мухе, вдарил. Кажись, последняя...

- Воду-то хоть слил?

Посидели, порядили, как комбайн дотащить в мастерскую. Чует Гриня, ломит всю косицу. Тут отворяются двери, и заходит женщина, что повстречалась Грине на поле. Едва ноги переставляет от усталости. Подвинулся к краешку, она и тяпнулась рядом. Сняла тяжелую шаль, платок серенький за

один конец сдернула. Ей было лет пятьдесят или около: лицо полное, седеющие волосы, заплетенные в косу, растрепались. Женщина виновато засмеялась:

- Упелась. Здоровы, мужики, будете.

Гриня с искося, с каким-то притупленным любопытством поглядывал на женщину, как бы сожалея о злополучной встрече. Баба глянула на свои уляпаные грязью сапоги, сказала:

- К Батоговым правлюсь-то, не подскажете, как попасть?

- У нас полдеревни Батоговых, - буркнул Гриня.

- До Афанасьи. Рожали вместе.

«Родня близкая, - кисло подумал Гриня, - как раз ниже пупа».

- К нам это, - Гриня крикнул в кулак.

- Ой, надо же... - баба внимательно посмотрела на Гриню, - уж ты прости, так нехорошо вышло...

- Бог простит. Одним глазом да насмотрелся, - хихикнул Гриня.

- Едва твои следы справила; хорошо, парень на тракторе изладил, махнул, чтоб через угор напрямик шла. Беги, кричит, тетка, у нас тут грабят. Весельчак какой!

- Пьяный весельчак-то?-спросил Гнилухин.

- Маненько, - с лукавинкой сказала женщина.

- Ульянов, - сказал Гриня, больше некому.

Душа его начала волноваться: как да приедет Ульянов к комбайну, а его у нет. Как да начнет без приберегу терюшить!.. А если добавил за воротник? Да неужели не увидит, что на ровном месте стою? Жалко, ломает комбайн, у пьяного ума хватит...

- Шлындаю-то, мужики, с Угольного, издалека. До инженера тутошнего, по сказкам на вас похожего. Не ошиблась?

- Народ не ошибается, - ответил Гнилухин, смущенный пристальным изучением его особы, потянулся за сигаретой.

- Таиться, мужики, не стану. Про горького Егорку пою и песню горьку - скоро новость разнесется. Пошла-то я, так сказать, сватом. Есть в нашей стороне вдовушка ладная, ягода сладкая, пошла бы замуж за человека положительного, непьющего, на переезд согласного. Дом - чаша скленье, хозяйство справное не на спичку повешено...

Тут баба запнулась, посмотрела на Гриню: ишь, знакомец, как уши-то навострил. Гриня поерзал; и дослушать бы охота, чем дело кончится и, вроде, лишний. Поднялся.

- Голова трещит, пойду на медпункт. - И бабе: - Третий дом от конторы, по праву руку.

Не зря говорят: осенний день на семере ездит. Ближе к вечеру тучи потопили тенью окрестности, пошел частый дождик. Прополз по улице гусеничник - в кабине Ульянов мотается, - замесил грязь со снегом. Потом налетел

шальной ветер, ободрал с исхлестанных берез последние листочки.

Медичка обработала рану, залепила пластырем. Лежит Гриня Батогов на диване, обсасывает новость, что кость баранью.

- Это же надо, - говорит жене, застывшей посреди избы с ведром пойла, - чего на белом свете не бывает! Все бывает. Кто пулю такую залил, будто наша тетеря занюханная - справный мужик? Нашли племянника, жаль, уши не защипаны...

Пришла сваха, постучалась легонько в переплет рамы.

- Иди, - хмыкнул, не поднимаясь, Гриня, - встречай подружку. Давно бабы рожали вместе, Афанасия едва признала гостью. Хорошо, баба напомнила, что у нее девку через пах вынимали.

- Напросилась... Неудобно, да что поделаешь, где-то надо приклонить бедную головушку.

- Ничего, ничего, - говорит Гриня, - разряжайся, будь как дома. Мы не староверы, всех принимаем.

Вытянула Афанасья из нутра печки кастрюлю с картошкой, на стол поставила. Проворно и ловко раскладывает на столе ложки-вилки, режет хлеб ровными ломтями. Наблюдает за женой Гриня, легкой, ладной, поворачивает за ней голову, как цветок за солнышком. Лицо у жены белобровое, обрамленное завитушками, не сказать чтоб красивое, а какое-то приветливое, готовое улыбнуться другу и недругу. Поднесла гостя чашку с горячей картошкой к носу, затянулась паром, повеселела. Ест вкусно, со вкусом, словно в ихней стороне картошку не водят.

- Под такую закусь не мешало бы... - говорит Гриня.

- Ничего, ничего, попостись, - отвечает Афанасия.

- Тогда, - Гриня повернулся к госте, - поведай, если не секрет, каковы результаты.

- А и не знаю, - честно призналась она, отложила ложку. - По правде сказать, одна кудря стоит рубля - не понравился. Говорит - как клещами супонь растягивает, ходит, будто что ему мешает.

- А хозяин все одно нужен? - захохотал Гриня.

- Стало быть, нужен. Одни с дочкой остались. Зятя два года назад схоронили. Из дому скоро выпадем, дров не знаешь как привезти, все смешки да подковырочки, вроде мы с девкой и не люди.

- Неужели в вашей волости нет мужика такого?

- Поперебিরали с девкой умом - своих-то больно хорошо знаем.

Свой-то ступит в готовый лапоть - и давай нас сугонять, давай выделяваться. А как же?! Облагородил! К вдовам жить пришел. Со стороны сподручнее.

- Чего уж ловкого... Кот в мешке, - прочмокал губами Гриня.

- Чужие коты ловчивее... Хозяин нужен. На стороне и воробей силит ястреба.

- Нашли хозяина, - скривил губы Гриня. - А ты дойди, сполосни стаканы у этого ястреба... Такие руководители довели нас до корзины. Да на кой кляп он вам нужен?! - взорвался Гриня. - Ульянко в десять раз его проворнее! Не смотри, что пьет; пьет, да дело ведет!

- А что, - сваха живо повернулась к Грине, - во хмелю не куролесит?

- Без вина ветром шатает...

- Она про Ульяна спрашивает, - поправила Афанасия.

- Про Ульяна, - пыхтит сердито Гриня. Навалился животом на столешницу. - Сто крат лучше.

Сваха долго болтала ложечкой чай в стакане.

- Может, так нам на роду написано, планида наша такая, - как с обидой сказала она. - Имечко-то какое редкое... Дойти, что ли, утром до него? Спрошу, что да как. Согласится? Может, еще исправится? К тридцати-то которые, бывает, перебесятся. Говорят, кривую стрелу Бог правит.

Утром раненько провожает Гриня Батогов гостью. Он идет в мастерскую, она - до Ульяна. Земля чуток заиндевела. Хрусткий ледок подернул лужи. Студеная заря ждала снега. Грустное солнце из последних сил пыталось раздвинуть тучки, ласкало сонные крыши домов.

- Спрошу, что да как, и домой засветло. Нагостевалась, веком не думала. Спасибо за привет, за хлеб-соль.

- Не ходи, - вдруг загородил бабе дорогу Гриня. - Не срами себя.

- Да какой срам? За спрос денег не берут, - засмеялась громко.

- Ульянко в реку не упадет, не тот парень.

- А хвалил...

- Я хвалил? - изумился Гриня. - Не нашлось в вашем углу парня стоящего, да? Ты куда, квашня, пошла? Дочь родную срамить? Не мудрено голову срубить - мудрено приставить.

И поехал, и понес. Стоит сваха - рот нараспашку. Чужой мужик чихвостит, бережит чем-то, а чем - понять не может. Когда Гриня, израсходовав одну ленту, перезаряжал другую, перевела дух.

- Фу ты! Надо же!.. А ведь ты прав, ой как прав! Вдруг обхватила Грину руками, притянула к себе как маленького, и всхлипнула:

- Где ты раньше-то был? Голова-ан. Голован-то Наум наставит на ум. С башковитым-то любая дура у печи - царица.

## НЕСТЕРОВ

- Нет, Владька, и не налегай, не хочу слушать. Кто смакует свою злость

и плохо говорит о другом за глаза, тот завтра подобную гадость про тебя закатит. Одно дело - шуточку отмочить, а это... - Нестеров тряхнул цыганской шевелюрой и сморщился. - Ну, какое наше дело, куда председатель поехал? Милашку завел? Молодец. Наше дело, мужское, на потом оставлять не годится... Скорее всего, по делам. Ну, споем мою любимую: «На Муромской дорожке стояли три сосны-ы...»

Песню подхватил хриплый голос лежащего на обрезках досок техника-строителя Барина, поддержал срывающийся алыт Владьки-электрика и мягкий тенорок Сашки-холостяка, первого и единственного заместителя Нестерова, коммунального столяра.

В вечернем спадающем зное ныли комары. Отгоняемые табачным дымом, они кусали злее обычного. Где-то на большой дороге урчали автомашины с последним отвозимым от комбайнов зерном. Жизнь была великолепна. «Мой милый возвратился-я с красавицей женой...»

- Мужики! - вдруг рявкнул Барин. - Ушку бы сейчас сварганить, да с лучком, перчиком!..

- Крутит она около председателя, и тропа колесами за лесок промята, сам видел, - опять заговорил Владька.

- Мужики! Ушки бы сварганить, а?

- Нельзя, - сказал Нестеров, усаживаясь удобнее. - Нынче, брат, сам в котел попадешь и жир пустишь. Из тебя пуда три натопить можно. Вот когда я под Сольвычегодском жил... Эх, робята, вот где рыбки-то!.. За стол не сажались без свежатины. На сенокосе тонь бросали, так едва тащим. Пожалуйста, хоть пареную, хоть вяленую, хоть копченую уплетай. Жирняга...

- Владь, а, Владь, - Сашка склонился к электрику, - ты каких баб обожаешь, толстых низеньких или худых и длинных?

- Барин, вставай! Свatom время ехать, - загоготал Нестеров. - Сашка всерьез женским полом интересуется.

- Дурак, - буркнул Барин.

- Ты добрых люби, чудило. А то мяса много, да все щеина, - веско сказал столяр.

- К черту баб! - отмахнулся Барин. - Пусть их сатана возьмет оптом и Камаринского пляшет! Ушки бы... Хариусы так и плывут перед глазами. А павар какой!..

К сидящей в лопухах около столярки четверке, тренькая, подкатил мотоцикл. Водитель, молодой парнишка, сурово посмотрел на компанию и спрыгнул Барина:

- Папка, домой не время?

Барин тяжело оглядел всех, поднялся, молча протянул каждому руку и плюхнулся в коляску.

- Зря, - сказал Нестеров. - Один великий сказал: в движении - жизнь. Я

предпочитаю пешком. Своим ходом идешь, природой наслаждаешься...

## 2

После обстоятельного обеда, сопровождавшегося читкой свежих газет, если позволяла погода и время, Нестеров садился на чурбак возле столярки и дремал, прикрывшись рукой. Он не любил резкого голоса своей огненно-рыжей и худосочной супруги, и поэтому даже во сне по привычке прикрывал ухо ладонью. Сашка присаживался рядом на складном стуле и блаженно курил. Приходили мужики-пилорамщики, тормозили Нестерова, и он нехотя, с ленцой начинал раскачиваться, вспоминая какое-нибудь приключение или историю, коих множество повидал и помнил.

Судьба не баловала этого неугомонного в молодости выходца из большого мужицкого клана Нестеровых, расселившегося в пяти деревнях. В юности он прошел ремеслуху и хватил немного фронта, клал печи два года в местах таежных и отдаленных, поднимал целину. Всю жизнь он чего-то искал, спешил, все время ему чего-то не хватало, пока, наконец, не выбрался домой и не стал жить, как жили его предки - тихо и соразмерно.

Сегодня с утра Нестеров с Сашкой обрабатывают брус на косяки оконных коробок для новой фермы. Столяр привычно и ловко направляет брус в гудящие ножи, а Сашка тянет заготовку на себя. В работе Нестеров энергичен и молчалив, со своим помощником больше изъясняется жестами и мимикой: понимай, как знаешь. Но Сашка очень скоро привык к этому и научился понимать мастера без лишних слов, и работа у них идет споро.

По небу заходили иссиня-черные тучи. Над горизонтом засверкали, вспарывая зловещую хмарь, молнии - точно ломалась спелая ржаная солома. Через полчаса в столярке стало сумеречно, а затем остановились станки: отключили электрический ток.

В Коленихе от молнии загорелся ядреный двухэтажный пятистенки. Пламя гудело в вершинах берез, окружающих дом. Искры и горящие угли поднимались в султанах дыма, и, относимые ветром, падали далеко от места пожара. Крупный дождь на какое-то время с шипением сбивал огонь, не давал сатанинской силе развернуться во всю мощь, но скоро отступил. Пламя, яростно рыча, стремительно пожирало смолистые сосновые бревна.

Прикатили две пожарные машины из райцентра, вызванные по телефону; расчеты принялись за дело. Деревня стоит на большом угоре - ни реки, ни колодца, кроме скважины, но раз электричества нет, скважина мертва. Водоем ближайший за два километра. В пожарке воды на пять минут. Сикнула, и быстрее закачиваться. А огонь не ждет, пока машина сгоняет за два километра...

В малиновом зареве висит, будто в цирке на невидимых нитях, белая железная кровать, медленно сходясь спинками вовнутрь. На шестке, точно

сейчас вынутые из печи, застыли чугуны. Рвется и стреляет шифер на крыше, горит охлупень, но маленькая головка конька, на удивление зевакам, долго не занимается. Божьи старушки уже нашли «чудо» в полуистлевшей уздечке, сделанной рукою «самого Мокреча».

Дом горит свечей. Пожарники уже льют воду на крыши и стены соседних домов: они понимают, что этот дом, охваченный огнем снизу доверху, не отстоять.

Нестеров садится к группе мужиков на меже.

- Ты смотри, пол прогорел, потолок валится, а кровать-то не падает! - говорит Сашка-холостяк. - Будто кто держит ее. Вот чудо-то дак чудо.

- Грехи держат, - серьезно замечает Нестеров.

- Га-ааа, точно сказал! - гогочет Владька-электрик. - Да, поспал на ней наш брат мужик.

- И ты, что ли, бывал? - удивляется Сашка.

- Ловок больно, а? Так ему все и расскажи.

- А все же? - не отстаёт Сашка.

- Кому война, кому мать мила, - говорит Нестеров. - Куда вот теперь Васи́ха с робетешками? Все начисто прогорело. Страховки на одежду робяткам только-только. Вот ведь как прикачнуло. Вон, робетешки-то сидят... ой, не могу без переживания смотреть на детские слезы. Им что, - Нестеров махнул на Владьку, - гогочут, не ихней дом сгорел. Мария Червякова, по-деревенски - Васи́ха, баба неприкаянная. Сама из себя румяная, губы толстые да сочные, готовые в любую минуту тронуться легкой добродушной улыбкой, характера простецкого. По первости гулял с ней Серега-шалопут, парень ухарный, выпить не дурак, погулял да бросил, и спрашивать не с кого. Отшатнулась, было простодушная Васи́ха от людей, а тут другой подвернулся, ласковый да обходительный. Думала по женской слабости опереться на сильную мужскую руку (жила одна с больной матерью), да и этот обидел. Пошла по сельсовету некрасивая Васи́хина судьба от ворот на ворота веситься.

Первую дочь родила от чужого, белобрысого парнища с буровой. Одно утешение: человека не знала, плохой ли, хороший ли, переспал да ушел, ну и бог с ним.

Есть натуры безликие, без собственного «я». Перед такими невольно чувствуешь себя свободным от обязанностей, наложенных общежитием. Парни ходили к Васи́хе, как к себе домой. Видя бесхарактерность хозяйки, не очень-то церемонились и будто не замечали ее больших тоскливых глаз. Бригадир и тот, случилось, целыми днями валялся на этой непадающей кровати; попробуй, догадайся дома жена, что мужик у нее под замком в чужом доме.

- Нестеров! Давай, баграми раскатим, глядишь, какое бревно спасем! - раздается взволнованный голос бригадира.

- Не тронь, в куче лучше прогорит, - отвечает Нестеров. - С багром

сейчас лезть, как в доменную печь.

- Ясно дело - не ваш дом горит!..

- Отложи поллитрамоту на потом. Чей бы ни был, а жить всем охота. Ты бы с самого начала трактор гонил, тогда, глядишь, раздернули бы. Бригадир бежит к огню, отгоняет чересчур беснующихся ребятишек.

... Догорел дом. Разъехались пожарные машины, разошлись, вытирая платками глаза, сердобольные женщины. Напуганных ребят Васихи увела ее замужняя старшая сестра. Отправился домой и Нестеров. Шел и мысленно видел Васику, вернувшуюся с косьбы и охающую, заламывающую руки на пожарище. Теперь вся надежда на то, что отдадут погорельцам домик, что достраивают закарпатцы.

### 3

Утро разливается над Горкой. Утро щедрое на солнечные лучи, на улыбки и работу.

Нестеров вышагивает с ведрами воды от колонки. Навстречу идет, слегка прихрамывая, его одноклассник Паша Абрамов, человек противоречивый по натуре, двуликий, скользкий, но фронтовик и все еще член партии. Рассказывают, что весной в Москве, на Казанском вокзале, Абрамову до зарезу захотелось в туалет. Очередь, как назло продвигалась медленно. Тогда он поступил так же, как дома в очереди в магазине, - вынул красную книжку и... расступись, народ! Очередь выкинула Пашу обратно, поставила вровень с прочими: Москва - не наша деревня, где бабы страшнее петушиного крику отродясь ничего не слышали.

- Здорово, - глаза у Паши мигом по привычке липко ощупали Нестерова.

- Привет.

- Говорят, вчера у Васихи денег куча сгорела. Не слыхал?

- Ага... Пять пачек и все сотенными. А до чего бумага крепкая! Номера на горелых бумажках как на свежих. Удивительно.

- Ну?! - Абрамова запотряхивало.

- Еще будто бы и в кринке было много, да те прахом пошли.

- А все бедной, зараза, прикидывалась, заявления на правления писала - это дай, другое бесплатно прошу.

Расстаются. Один - смеется про себя, другой - злее волка.

Нестеров уже видит концовку смороженной новости: подхватит ветер Абрамову сплетню, покружит и выльет помоями на его же голову.

### 4

Владька не вбежал, влетел в столярку.

- Нестеров! По реке сплошняком мертвая рыба плывет! Много! Столяр

выключил станок.

- Вверх боюхом, понимаешь? Надо бы в район брякнуть!

- Кому? Да и пока брякаешь, день пройдет, - Нестеров стряхнул с одежды опилки. - Ты у пилорамы Баринову легковушку не приметил?

- Есть, стоит.

- Пошли. Шеф такое дело без внимания не оставит. Когда подъехали к мосту, машины и тракторы запрудили дорогу с обеих сторон. Люди тревожно переговаривались:

- Отродясь эдакой беды не бывало!

- Как слезинка вода была, в любую жару пили.

- Над горожанами хихикали, что воду с хлоркой пьют. Теперь к самим беда прикачнула.

- Мать-покойница говаривала: придут люди к реке, пить охота, а вместо воды серебром русло забито...

- Хорошее серебро!.. - возмущенно протянул Нестеров. А Баринов окинул толпу взглядом и загремел:

- Это какая паскуда сотворить такое могла?!

- Паскуды много стало...

- Прошлый год удобрения вывалили в Воронье, в старое речье, дак хуже помойки река стала. Неужто и у нас эдак?

Толпа притихла. Все смотрели на реку, опустив головы. Потом снова раздался голоса:

- Видать, где-то вверху...

- Да чему там быть-то!..

- Моя вчера за ягодами ходила, дак сказывала, что у Пронькиного логу хоть нос зажимай, так дустом воняет.

- Постой, постой! - встрепенулся Нестеров. - Дустом, говоришь? Сашка, помнишь, неделю назад мы с тобой ящики под яды по заказу агронома делали? Я еще говорил, что списанный яд обязательно глубоко закапывают или сжигают...

- Как не помнить! Васька-Мазурик за теми ящиками приезжал.

- Мазурик? - раздалось из толпы. - Так он позавчера баб за ягодами возил и в тележке у него новые ящики были!

Так всем миром установили виновника. Тракторист, которому агроном поручила отвезти ящики в старый карьер, видимо, вывалил их в верхотине реки.

- Ну, гад!

- Это ему не пройдет!

- Ехать надо!..

- Стоп, мужики! - Нестеров поднял руку. - Хватит галдеть. Сашок, возьми лопаты, гвоздей, ведра, респираторы и к Мазурику. Пусть он сам покажет нам

место, где нагадил!

- Слушаюсь! - прикладывая руку к голой голове, отчеканил Сашка.

- От меня он никуда не уйдет! - гремел Баринов - Под землей достану.

Давайте скорее в машину...

\* \* \*

Долог солнечный августовский день, смеркается поздно. Уже и механизаторы вернулись с полей, и только в столярке не гаснет свет: Нестеров и Сашка мастерят рамы, двери и косяки для погорелой Васиши...

## ЛУКОШКО

- Пособи, Господи, обжениться, - вздыхает крестная Кольки Луконина, тетка Елена.

Сидит она за столом у раскрытого окна, прижимается к косяку будто озябшая птица, в лице немое удивление. Напротив мать Кольки, худошавая высокая Ольга Фотиевна, быстро-быстро теребит пальцами край фартука, смотрит мимо крестной, в угол. Долго на божнице стояла икона, бабки-покойницы память, да пропил сынок дорогой заезжим делягам. На столе стынут чашки чаю.

- Думаешь... - выговаривает Ольга Фотиевна.

- Образумится, куда-нибудь качнет, - бормочет тетка Елена. Вечереет. Незаметно канул день. На помойке галдят вороны, делят ужин.

- Глаза ровно из тумана, - говорит Ольга Фотиевна, - тусклые, безрадостные. По дому чего поделать заставляю, ровно на казнь идет. Ничего-то ему неохота; не спросит, как ты, мама, здорова ли, на что хлеб сегодня купила. Соберется их, вроде нашего, лоботрясов ватага, и гогочут, и ржут жеребцами, курят да плюют, курят да плюют, и поехали ночь блудить. Как из армии воротился, книжку в руки не взял, газеты не прочитал. Было уж с Валькой Феди Попова наладилось - отшила, а то со Светкой Нестеровой...

Кольке Луконину двадцать шесть лет. Приблизительно на этом возрасте суровые моралисты ставят отточие, так сказать, подбивают бабки: предупредил или еще подурит человек. Разбираются наследственные гены, влияние рок-музыки, зарплата школьных учителей, роль отца и соседей: оказывается, если судьба неблагоприятна к великовозрастному дитяти - виновата армия, виновата школа, виновата цыганка, виноват отец и соседи и, конечно, виноваты звезды, - когда рожался и взревел, нужные светила унырнули в облака. В двадцать шесть можно стать Героем России или вплотную соприкоснуться с Уголовным кодексом; каждому свое, как говорили древние. В двадцать шесть молодые

отцы ловят со своими чадами рыбу, ходят по грибы, сын клянчит денюжат на жвачку. Вот Марко Поло в семнадцать лет уже начал путешествие по Азии, Ньютон изобрел зеркальный телескоп, Паскаль сконструировал суммирующую машину, Гайдар командовал полком...

Время жениться, время!

Топают Колька навеселе по главному «прошпекту», куда ни глянет - родина! - везде его знают, везде ему рады. Снимает с веревки белье медсестра, очкастая Соня; Колька приседает и орет во всю ивановскую:

- Привет от старых штиблет! Как насморк, тетя Соня?

- Фу-у, - хватается за сердце медсестра Соня, - чуть родимец не хватил. Взырошенный старичок в спортивном костюмчике выходит из калитки.

- Трижды олимпийцу физкульт-привет! Давай, дед, выляни, лучше уснешь.

Дед наглядно сморкнулся в одну ноздрю - перед Колькиными ногами, потом в другую, потоптался и побежал. «Да-а, крепкий раньше народ был, нынче все отравлено... Мне столько не вытянуть, сдохнем, как мамонты...»

Одет Колька в рваные шорты, голова выбрита, на груди вытатуированы насмерть дерущиеся орлы - служба в воздушно-десантных войсках. На спине маленькие русалочки балуются. На левой лопатке русалка на камушке сидит, хвостиком в воде булькает, на правом полотенцем обтирается. Сегодня Кольку отпустили на волю - пятнадцать дней убирал в парке мусор. Сегодня Колька улыбается наивной гордостью босяка: ну, дали, ну, отпахал, ну, «дембелек» с пацанами sprysнул... Кому какое дело? Вот упрятал его в ментовку пан Вербицкий, а он еще пожалеет, пожале-ет... Плевал Колька на его грамоты! Ишь, повесил в своем занюханном кабинетике. «Победитель в соцсоревновании», «Ударник коммунистического труда», «Герой...», и все грамоты в багетных рамках; от обкома, от райкома партии, чем не художественная галерея? Гордится пан Вербицкий своими трудовыми заслугами: «Такие, как я, пуп рвали, чтоб родина краше и могуче была».

После армии Колька «пахал» у многих предпринимателей из райцентра, разве это люди? Жлобы! Одни деньги на уме, кому бы больше хапнуть, кому бы кого объегорить... волки. Ни один не оформляет бумаг по приему на работу, еще испытательный срок придумывают. У одного коммерсанта просил Христа ради дать полста рублей, хотел матери на день рождения приятное сделать, не дал, обстрелял речами: «Раньше у нас две проблемы было: дураки и дороги, нынче третья прибавилась - налоговая полиция. Мне рублики сами с небес падают, да? Машину не успел купить, хоп - бумага, пиши декларацию или штраф тысяча. Сколько я унижения принял! Доказывал, что с женой по тридцать лет отработали, неужели не имеем право машину завести? Нет, ты докажи, что не вор, что пирамид не строишь, что деньги нажил мозолями. Говорю со зла: «Забыл! Отцовскую шубу цыгану загонил, уж я сбегаю,

разыщу того цыгана, как-никак девятьсот пятьдесят целковых!». Налоговицу затрясло, и так-то мычала себе под нос, тут вовсе загундосила: «Издеваться?! Издеваться надо мной?»

В милицию загремел очень даже просто, ночью слили бензин с машины пана Вербицкого; он, естественно, начал искать вора среди своих «мазуриков».

Колька недавно выпил водочки, на него набежал порыв снисходительного веселья.

- Не шебарши, кормилец, - говорит разгневанному Вербицкому, - ну, слили... У меня рукавицы увели, и то молчу в тряпочку.

- Это мои рукавицы, а твои - сопли под носом.

Больно уколол хозяин работника, тот ему и выдай в ответ, что время из буржуев кровь сливать. Даже в газете районной один шалюган писал, что «коммунистов на фонари!». Вербицкий внимательно посмотрел на «героя», брякнул куда следует, наскочили крепкие ребятишки, Кольку под микитки и - в «воронка». Вот и вся «презумпция невиновности».

Каждый день он выходит из дому с намерением «уж сегодня точняк устроюсь на хорошую работенку!». Да нечистый дух будто караулит: то дружка закадычного подсунет, то халява легонькая перепадет, пиво, тары-бары, стоптали по «стропильничку» и затусовался допоздна.

А дома мать ждет, еды наготовила; тяжелый Колька на подъем, его в школе Лукошком прозвали, до сих пор так зовут, не обижается. По сердцу ему кочегарить, да, как назло, в кочегары не скоро устроишься.

Хлебное место кочегарки стали, без мохнатой лапы не сунешься. Вообще Колька человек стоящий, много разных работ править может, а лучше всего получается «на подхвате». Облом он, самый настоящий облом. Преждевременная старость погрузила в молодое крепкое тело шупальца сладостного времяпрепровождения.

Проходя мимо бывшей столовки (старожилы косо принимают вывеску (Кафе «Русское поле»), услышал Колька резкий голос пана Вербицкого, хозяина нынешнего «поля». Потом что-то проскребло, как железо по железу, и крепкий мат. Пан Вербицкий мужчина степенный, в годах, чтобы он повысил голос? «В нашей фирме вкалывают», - подумал, остановившись. Он все еще продолжал считать кафе «своим» - почти три месяца продержался! " Что ж, следует возратить долги. Сказать пану, что метла есть полезный инструмент для многогранного познания культурного этикета», - так ему пояснил один сокамерник.

Пробирался Колька с тылу - хотел внезапно оказаться перед кормильцем и своим появлением поднапугать, лез через штабеля ящиков. «Ишь, огородился... народ не любит, когда от него прячутся, народу ничего не надо, лишь бы у тебя, пан, ничего не было».

С машины сгружали громоздкую холодильную установку, двое парней

в защитной солдатской форме суетились в кузове, пан Вербицкий подавал с земли команды. Парни Кольке обрадовались, пан Вербицкий поморщился.

- Лукошко!! Накачал брюхо - давай к нам!.. Какой он важный нынче...

- Я не гордый, но... Но! - Колька глубокомысленно поднял указательный палец.

- Давай, чего резину тянешь!

- Всякая работа хороша, если за нее хорошо платят. «Недавно мне один товарищ сказал про индийского йогу, мол, дающий одаривает двоих: благородство, бескорыстие, удовольствие...

- Сколько? - грубо оборвал пан Вербицкий.

- Ну... Два пузыря.

- Лезь в кузов.

Не успел Колька за лом взяться, запнулся о плаху и вниз головой с кузова, только состукало. Пан Вербицкий помог на ноги встать, по спине хлопает.

- Закусывать надо... Бог мой, лоб раскроил. На вот, приложи платок и иди, иди отсюда, не было печали, так черти накачали.

Все происходящее видела и слышала все еще молодящаяся соседка. Зуб она держала на таких, как пан Вербицкий! Раньше в этой столовке за буфетом стояла, уважаемый человек была, а нагрянули жулики с реформами, и никто не вспомнит об Анне Сергеевне. Околачивается возле дому, как воплощение самой паршивой меланхолии.

Поутру Анна Сергеевна наведалься к Лукониным. Колька завтракал, вид у него помятый и сконфуженный, лоб залеплен пластырем, мать сидела на диване, подперев рукой голову.

- Хорошо тебя устосали, - говорит Анна Сергеевна. Мать нерешительно поднялась с дивана, с каким-то ужасом на лице, взволнованно спросила гостью:

- О чем ты, Анна Сергеевна?

Вдруг, точно ужаленная, бросилась к столу.

- Что еще наделал, паразит?!

- Его новые русские поладили, - пояснила Анна Сергеевна. - Смотрю, бьют. Кровь как из быка хлещет, я вот чего пришла-то: ты, Коля, платок-то не выбросил!.. Ты его в зубы и к участковому, пускай дело заводит. Я свидетелем буду.

- Чего ты...- поморщился Колька, с кислой миной смотрит на Анну Сергеевну. - Ерунда на постном масле.

- Эх, молодо-зелено, подумать да к месту приложить, не ерунда получается. - Ладно, пошла. Если что - я свидетель.

Закрылась за гостевой дверь, мать и давай на Кольку кричать, ревет да кричит, что он и жизнь ей изломал, и нервы вымотал, даже Лукошком обозвала вгорячах. Рассердился Колька на мать, вроде, вырос из коротких штанишек,

она все со своими проповедями. Поднял над столом кулак и... разжал. Какой он в доме хозяин, так, приживалец. И так захотелось напиться - напиться и забиться...

Из «Русского поля» тянет свежее выпеченными булочками. Колька смотрит с тоской на дымовую трубу, даже поперхнулся, представив, как лежит он зимой возле теплого котелка, на улице непогоди злым волком воет... «Эх, кажется, водки больше в рот бы не взял», - не только душой, всем телом, особенно зудящимся под пластырем лбом; чувствует, какой он пропащий человек. Вот мать пятнадцать дней его домой дожидалась. Он вернулся... скотиной. «Надо же. Лукошком обозвала, видно... Так-то Вербицкий хороший мужик, зря я к нему цепляюсь. Не возьмет. На рамки свои багетные покажет: «Мы в ваши годы дурью не маялись. Вот, в семьдесят первом за сплав леса... Эту обком дал за наивысший намотот зерна...»

- Коленька, из-за огады слышен вкрадчивый голос Анны Сергеевны, - подойди.

Калитка перед ним открывается, в ней стоит Анна Сергеевна, туда-сюда по сторонам зыркнула, облизнулась, лицо вмиг помолодело, расплылось в улыбке.

- Не найдется у тебя полчасика на крышу сползать? Как дождь - рекой на кровать.

И пухлые руки ложатся на Колькины плечи, от Анны Сергеевны жар будто от перегретого котла.

- Какаа жизнь без мужика, тоска зеленая. И то прохунилось, и другое каши просит...

«Нет, не возьмет Вербицкий», - еще раз сказал себе Калька, будто недоумеваа, поотодвинул с дороги Анну Сергеевну, сделал первый нерешительный шаг.

\* \* \*

- Господи Боже, - сказала крестная, разводя руками. - Обматырнулись маленько.

Она и Ольга Фотиевна стояли одна против другой посреди комнаты, Ольга Фотиевна сжала кулаки, уставилась на крестную с каким-то ожесточением.

- На четыре года меня старше!

- Тут, Оленька, ровесников не выбирают, бойко говорит крестная.

- Пока за стойкой стояла, из больницы не вылезала, и то болит, и другое...

На старуху польстился!

- Соблазнила, Оленька. Буфетчица, манеры стеганые.

- Позор! Кочегаром хотел устроиться, ...устроился! ...Шесть дней домой

носа не кажется, отогрела. Вот сколько сажи скопилось, проворотить не может!

- Всяко, Оленька, бывает, всяко, я вот гадаю: «мамой» тебя Анна Сергеевна называть будет или по имени-отчеству?

Ольга Фотиевна боязливо оглядывается, точно сзади уже стоит «дочка», и едко усмехается. Потом будто слепая тянется к дивану, без сил опускается на него.

- Крестная... Капли, капли подай!

## ЖУЧОК

Вчера Коля Заваркин обмыл лейтенантские звездочки. В училище их сполоснули и дома, среди пацанов, - такое не забывается! Было много шума, тостов, намеков: залетим, не дай сдохнуть в каталажке и морду не бить, а то самому натычем. Бывшая классная староста, ныне прозябающая по причине безработности плечистая и длинноносая Ида, сохранившая прозвище Клеопатра, вздохнула читала поздравительную телеграмму бывшего школьного учителя «дядя Степа - достань воробышка».

Сегодня по-утру Коля Заваркин был назначен участковым инспектором по У-ской зоне. И сегодня же вечером, голый по пояс, он стоял на коленях у ног Клеопатры. Сегодня он называл ее Идочкой, обнимал колени, руки дерзали залезть и повыше, но Идочка в таких случаях шептала: «Ко-оля, это уже слишком...». Он ей говорил много красивых слов. Воздушные мечты девушки сегодня обретали реальность. Свет в комнате не горел - в этом было что-то романтическое, телевизор работал, но без звука, слабый его отблеск сглаживал некоторые неловкости. И потому нос, при слабом освещении, не обязателен для детального изучения, в темноте даже лицо на втором плане. Под руками Иды горячее, нетерпеливое, мускулистое тело парня. Она наклоняется к его стриженной голове, гладит спину.

- Ты как портфелем меня долбанула, - вспоминает Коля, - шишка сразу вскочила...

Совість шепчет Иде, что поступает подло: не любит она Кольку и никогда не любила, глупо-неискреннее чувство аукнется слезами, оно у нее напускное, но есть желание отдаться Кольке и тем самым женить его на себе.

Она изнемогала от борьбы с собой, сладость желаний пьянила, подталкивала на решительные шаги. Она долго готовилась к тому особенному, важному, ради которого Колька тискает колени, даже сняла очки, и тут резко задребезжал телефон. Ида испуганно дернулась - родителей она выпроводила на именины сестры матери, они?! Да как они смели!

- Это меня. - Колька начал подниматься с пола, но Ида схватила голову парня, прижала к себе.

- Это у соседей, что ты, что ты...

- Я оставил номер в дежурке...

- Что ты, что ты!

На Иду напал какой-то припадок нежности, на глаза навернулись слезы. Коля Заваркин освободился от объятий, подбежал к столику с телефоном.

- Заваркин слушает.

- Капитан Горехин. Дуй на службу. Идем на дело.

Щелкнул выключателем на стене.

Ида медленно приподнимается с дивана, со страдальческим выражением вытягивает лицо. Она чувствует себя разбитой, обманутой и отвергнутой. Колька шаловливо щекочет ей подмышкой.

- Труба зовет, - говорит и берет со стула рубашку. Ида по-матерински наставляет:

- Осторожнее, всяко бывает. Заходи когда, видак посмотрим...

В деревне Слободке подвывают собаки. Они слышат что-то за речкой на картофельном поле и пребывают в беспокойстве. В нелюдимом осеннем ночном воздухе зависла тоска, намокшие зароды сена, избы, исхлестанные ветрами деревья...

Через картофельное поле, изрытое и наисшее, тащатся двое. Впереди с фонариком в руке высокий, палкообразный капитан Горехин, за ним, выдирая ботинки из чавкающей грязи, лейтенант Заваркин. Они идут брать хулигана и дебошира Ведения Маслова. Этот Ведений за последние два года трижды привлекался за мелкий дебош. Недели три неработавший телефон сегодня ожил, донес дежурному крики о спасении: «Убивает! Ломает! Топориком стращает!»

Слободка - теперешние Палестины лейтенанта Заваркина, и сегодняшнее задержание - его дебют. Милицейский УАЗик дополз до поля, а на поле шофер начал посвистывать. Горехин спросил:

- Что, приехали?

- Угу, - скалит зубы рыжий сержант. - «В той степи глухой, замерзал ямщи-ик». - Пропел, дверку открыл, ногой пощупал землю. - Говорила баба: возьми сальца, авось перекусить придумаешь...

- Пошли, - говорит Горехин Коле, - а ты... Шаляпин...

- Ну что я, что я?

- Попробуй, покачай, может...

- Шальной у нас народ, - говорит, шагая впереди, Горехин. - Ни в каких дебрях Амазонии такого не сыскать. Один инженер еще при советской власти в Германии был, так, говорит, диво-дивное: немец сядет с кружкой пива в кабаке и сидит весь день, в кружке мух ловит... Черт!.. А нашему: «Наливай! Быстро!» Любил капитан хаять русский народ, подбирался к загадочной русской душе с такими ядовитыми эпитетами, что Коле Заваркину было стыдно

слушать. Потом капитана раздражал тот факт, что где-то в хорошем английском клубе играет музыка, вежливые интеллигентные господа режутся в карты, а они бредут в ночь...

- Еще скажу: в нашем дурдоме - это наша фирма - не доверяй никому.

Сплошь карьеристы.

Коля наткнулся на остановившегося Горехина. Тот положил ему руку на плечо.

- Кому бы под кого свинью подложить, не доверяй.

Закурили.

- Примерно так рассуждает мой батяня: «Чего ты забыл в этой милиции?

У пьяных мужиков карманы шерстить?»

- Кто твой отец?

- Батяня мой человек мастеровой, плотник отменный.

- Постой, он хромает?

- Пьяный сосед из ружья пальнул, когда батяня папаненком был. Изуродовал ногу, враг, но у батяни характер как у Маресьева.

- Вот и доверяй нашему народу свободную куплю оружия. Да тут такая бойня в каждом сельсовете начнется...

- Георгич, а может вернемся? Машину как-нибудь вытолкаем...

- Другое слушай, молодой! Горехин оттого и Горехин, что правду хребтиной познает: ты пошел на дело! И кончай этот гнилой базар. Про Самохина слышал!.. Три года чудилу до пенсии оставалось. Поехали на дело, привернули пивка попить, ну и попили: один хмырь болотный за это время тещу, тестя и дочку зарубил. В нашем деле запомни одно: сел в лодку - гребь до пенсии.

Добрались до некошенного наволока. Трава вычистила ботинки, но прибавила сырости одежде.

- Под самым носом, совсем народ обленился, - ворчит Горехин.

- Как батяня говорит, в деревнях нынче остался косой да пегий.

Вымирают деревни, - говорит Коля Заваркин.

Луч света высветил бани, от них тропинкой вышли в чей-то огород. Зарычали собаки, загавкали на все голоса. На крыльцо вышел толстый, обрюзглый мужик в кальсонах и с фонарем керосиновым в руке. Пожмурился как кот, оглядывая непрошенных гостей; на вопрос, где живет Ведений Маслов, хрюкнул как поросенок, неопределенно махнул рукой.

- Там.

Кровь ударила в голову Горехину. Лицо его перекосило от оскорбления, неуважения к мундиру.

- В Магадане, что ли? - чуть не крикнул он. Мужик еще хрюкнул.

- Там... где трактор стоит.

- Иди спи, Самсон, зло сказал Горехин.

Сосли с крыльца. За спиной не больно ласково стукнул засов, слышно бормотание:

- Самсона ищут... ходят тут всякие.

Прижавшись спинами к изгороди, закурили.

- Мякинное брюхо... «та-ам!» - сказал Горехин.

- А чего свету нет? - спрашивает Коля.

- Отрезают, чего... колхозы нынче того...

Дом Ведения Маслова нашли по гусеничному трактору под самыми окнами. Спит дом. Окна черны, луч фонарика как отскакивает от глянцевых стекол.

- Спят, - вздыхает Заваркин. - Как мой батяня говорит: «Понапрасно Ваня, ходишь, понапрасно лапти рвешь».

- Я им порву! - обещает Горехин. - Так порву!.. С силой стучится в дверь на крыльцо. Кто-то босиком, стуча пятками, пробегает по коридору, у самых дверей испуганно, осторожно спрашивает:

- Кто это, крещеный?

- Милиция!

- Господи... А вы по что? Ой, да сича-ас я.

Через три-четыре минуты через маленькое оконце коридора заметен свет.

- Вы из-за Ведения наехали?

- Открывай! - кричит Горехин.

- Спит он, может ... Товарищи дорогие! - Женщина приспускает огня в фонаре, отпирает дверь. Теперь ее можно рассмотреть: ростиком маленькая, тощая, лицо крупное, лоб высокий. «До чего же худа» - жалостливо подумал Коля Заваркин. Женщина придерживает на груди пестрый халат.

- Как на духу сознаюсь, товарищи дорогие, поугубить Ведения хотела. Мама десять лет в гостях не бывала, а Ведений как на беса выпимши пришел и озоровать начал. Товарищи дорогие, в каждой семье свои печали, простите ради истинного Христа! Мама уснуть не может, трясет всю ее. Я бы, может, и стерпела, да через маму зло взяло, обида разум замутила...

Женщина всхлипывает. Горехин находится в состоянии раздражения, ему хочется зайти в избу, сдернуть пьяного мерзавца с кровати и пинками гнать впереди себя по картофельному полю. На лице женщины застыло кроткое, виноватое выражение. Ее глаза с тревогой перебегают с лица капитана на лицо лейтенанта и обратно.

- Товарищи дорогие, замуравленная жизнь пошла... Председатель, собака, обещал денег дать - у нас старшая девка в техникуме на повариху учится, не дал, вот Ведений-то и выплеснул наболевшее.

Она натягивает ворот халата на самые глаза, отворачивается. Должно быть, ей стыдно просить мужиков.

- Георгиц, - Коля Заваркин потянул Горехина за полу куртки, - пошли.  
- Нет не пойдем! - резко отвечает Горехин. - Нашли мальчиков для битья!

- Георгиц, ну спит человек...

- А мы будем грязь месить? Ты машину на себе вытащишь, умник?

- Вы на машине? - спрашивает женщина.

- Сидим, - усмехнулся Коля Заваркин.

- Подождите, сича-ас.

Жерщина понимает, что главное для нее - не запустить милиционеров в избу. Она срывается с места, спешит, через какое-то время возвращается в фуфайке и больших резиновых сапогах.

- Выдерну, - подталкивает одной рукой капитана Горехина с крыльца; в другой фонарь. - Проспится - я ему задам, паразиту...

Осеннюю ночь разрывает рев пускового двигателя. Капитан Горехин сидит в кабине рядом с женщиной, та часто наклоняется к нему, говорит:

- Кабы не председатель, собака...

Коля Заваркин приспособился сидеть на инструментальном ящичке напротив капитана. Одну ногу засунул за сидение, вторую, согнув, поставил между коленей Горехина.

«С Изей Рабинович мы пошли на дело, зарядили дробкою наган»... - поет про себя Коля.

Он восхищается маленькой некрасивой женщиной, такой уверенной, такой мобильной. - «Мал жучок да землю роет», говорит батяня. «Вот моя Клеопатра... Моя: смех на палочке. Ноги у нее, конечно, хороши-и, выставила, как капкан насторожила. Лязгнут дужки и любуйся, лейтенант Заваркин, как она будет сидеть перед телевизором и колупаться пальцем в носу. Тут до пенсии не дотянешь...»

## «КРАСНЫЕ ЗОРИ»

Мимо конторы колхоза «Красные зори» бредут, поддерживая друг дружку, старик со старухой. Несут на двоих одну буханку хлеба. Остановились у застывшего в раздумье матово - белого дедушки Ильича, оперлись на батоги. Старуха поправляет на голове шаль, старик с каким-то интересом уставился на пролетарского вождя.

Хмурым осенний день. От реки, что калачем загнулась ниже деревни, дует холодный, сырой ветер. Река, которую летом и не заметишь из-за разросшегося ивняка, теперь надулась от подпирающей воды, заважничала, тащит на своем горбу всякий хлам оставшийся на берегах от весенней неразберихи. С угора, из деревни, река похожа на удава, сжавшего в своих

объятиях кирпичную ремонтную мастерскую.

Мастерская - шапка малиновая, обретенная на быстром скаку великаном, спит поодаль от мирских забот и верно пропиталась сознанием своей ненужности. Галки кружат над ней, то пикируют стаяй, то забирают под самые тучи. Давно уже нет железной изгороди, делившей землю вокруг мастерской на «приусадебные участки» и «базу». Теперь сплошь «база» притом не колхозная, сельсоветская. Лопухи да крапива в два человеческих роста. На этом кладбище железных машин летом вольготно пастись козам. Редких ходоков пугают рогатые привидения в опрокинутых кабинах зерноуборочных комбайнов. Отполыхали «Красные зори», трудно понять, существует колхоз или нет; а, может, это вотчина того же дедушки Ильича?

Тихо в ремонтной мастерской. Пахнет нежилью, стылой мазутной затхлостью. Сюда стащена та техника, которая еще не вся ободрана, не вся пропита. Хоть двери в мастерскую выпинаны и упочинены досками, но на дверях красуется хороший замок. Есть и сторож. Сейчас он лежит на стеллаже вверх пузом, под головой фуфайка, курит, водит блуждающими глазами по потолку. Это-бывший заведующий - механик Иванов Иван Иванович. Бугристое когда-то от угрей лицо выражает полную апатию и смирение судьбе. В одном месте потолок почернел от сырости, уже падают сверху щепочки и комочки.

«Год простоит, - думает Иванов о потолке. - А может и не простоит». Он видит сотни раз виденные вещи, привык к ним и вроде сроднился. Он ходит в мастерскую каждый день. Докладывает председателю, что «свистнули» за прошедшее время, а что «свистнут по всей вероятности». Он постоянно уколачивает двери, окна. Но колхозники-народ обиженный на власть, на свое начальство, на самих себя, народ голодный, редкую ночь не трещат доски.

Где-то что-то упало или валится? Несколько странно и необыденно: все знают-перезнают, что Иванов «пасется» около мастерской, неужели... «Кого-то черт несет, - думает Иванов. - Перестали осторожничать. Во, бухает. Уж тащить-то нечего, люди?»

Иванов садится на стеллаже, гасит окурок, внимательно смотрит на входную дверь. Интересно, кто это в открытую грабить идет? Вроде ничего ценного в мастерской нет, один металлолом. Станок токарный не растащен, а кому он надо? И не вытащить такую «дуру», а вытащишь - кому толкнешь? И опасно, застукают с этим станком, статью найдут.

С дверей отлетает плаха, прибитая час назад, за ней, со скрипом, другая. Нога в резиновом сапоге ступает на запретную территорию, за ногой ползет черный ком... фигура распрямляется, и Иванов узнает в непрошенном госте Леху Воротова. Леха космат, как зверь, круглый год ходит без головного убора, высок и сутул, как грабли, пролежавшие не один год на потолке без надобности. Леху кличут Воротом, шатается по белу свету, существует на бабкину пенсию. В мастерской сумрачно, потому вор еще не видит Иванова, но вроде как

принюхивается, чуя табачный дым. В руках у него лом. За Лехой ползет еще вор, слышно, как просит Леху посторониться. Иванов чуть не вскакивает со стеллажа: дочь Любка! Любка из лентяек лентяйка, телом сдобная, лицом смазливая. После окончания средней школы посовалась в институт, в техникум и сникла. Валяется целые дни на кровати, поднимается матери по хозяйству помочь с руганью. Она ночной обитатель планеты: дискотека - ее и радость, ее и боль. Замуж бы пора. Да женихи разлиняли. Кто потолковее из деревни подались в райцентр, по городам, остались пьянь да рвань.

- О, какие люди! - говорит Иванов. Высокий Леха втягивает голову в плечи, озирается, Любка юркнула ему за спину.

- Смелее, - театрально разводит руки Иванов. - Будьте как дома.

Леха бубнит что-то о простом любопытстве, но путается и утирает губы рукавом фуфайки.

- Понимаю, понимаю, - брюзжит Иванов, приглаживая щетинистые усы. - Чего не зайти. Не музей, но все же... Все тащат, авось и вам чего перепадет.

- Дай, думаю... - угрюмо басит, повторяясь, Леха.

- Это плюс, если человек еще и думает, - смешливо говорит Иванов

- Пошли отсюда - резко говорит выступившая вперед Лехи Любка. - А нам ничего не надо, понял?

- Тебе всю жизнь ничего не надо! - вспыхнул Иванов, вскакивая со стеллажа. - Шляешься тут, чай кровать-то остыла.

- Не твое дело, понял? - парирует Любка, хищно раздувая ноздри и прищуривая глаза. - Сам-то не больно вспотел!

- Ну, сучье семя! - рявкнул Иванов, хватаясь за подвернувшийся под руки тормозной рычаг. - Паразиты!

Любка первой юркнула в дыру дверей, за ней, пятясь задом, убрался Леха. Видимо, на той стороне Леха упал на Любку, потому как с улицы донесся короткий грудной смех.

- Сучьи дети! - негодовал Иванов. - Музей нашли! Им, видите ли, ничего не надо, у «них все готовенькое!»

Успокоившись, он нашел хорошие скобы, намертво забил их в косяки и двери запечатал так, что даже похвалил сам себя. «На другой день раму от трактора приварю, хрен вам с маслом!»

Минуло три дня. Иванов с дочерью ни разу не столкнулись нос к носу, ибо Любка редко выглядывает из своей комнатки. Если перечислить все, что мучило и сосало Иванова эти дни, то потребуется очень много объяснений происходящего. А самое короткое объяснение родилось как-то ночью: видно, чужой хлеб вкуснее, коль демократы всякого толка колхозы зарезали.

На четвертый день, явившись на пост, Иванов обнаружил на потолке дыру. «Год - почесал себе живот обеими руками. - «Вот он и год... Конечно, вовремя бы подновить потолочины, а чем? Кому она нужна эта мастерская?

Поля зарастут лесом и без мастерской». Пройдя в токарку и увидев на станке золотистую стружку, Иванов испугался: не мерещится ли? Помял стружку в пальцах, понюхал, машинально ткнул пальцем кнопку «пуск». Электродвигатель встрепенулся, басовито загудел. Бронза... втулку какую точили, к стиральной машине или что иное... Гады! Пломбу на подстанции сорвали, и здесь ума хватило провода припутать!» Он нервно заходил по токарке, гадая, как теперь поступить. Если районные электрики заметят, что пломба сорвана, то колхозу влетит в копеечку. А если сторож не доложит председателю, да потом разузнается, председатель может лишиться и такой, нищенской зарплаты. И тогда он побежал на подстанцию, нашел на земле разорванную кусачками пломбу, вернулся в мастерскую и долго изготавливал нечто похожее на нее. Чтобы цифирки на пломбе были правдоподобнее, замазал их свежим птичьим пометом.

Дома его ждало сенсационное заявление жены:

- Любка замуж пошла.

- Уж не шейх ли арабский из дурдома сбежал? - поморщился Иванов.

- За Лешку.

- За Лешку. - Иванов перебирает в уме всех парней в сельсовете, мало-мальски годных в женихи. - Какого еще Лешку?

- Воротилова.

Иванов шевелит что-то губами, кривит улыбкой рот.

- Ну и ну!

- Заявляет мне, что и кольца обручальные купили. Не врет. Показывала.

Тяжелые, дорогие.

- Бабка ноги протянет, в тюрьму добровольцем пойдёт твой Лешка!

- Твой ли, мой ли... что делать-то будем?

- Неси ее леший! - взрывается Иванов. - И так пугало, и так - хомут. Ей, видите ли, ничего не надо!

За сим следует длинная ночь. Любки нет, на дискотеке, родители толкут воду в ступе. Загадала доченька загадку! То один выкладывает душу, то другой, а обе души слезами обливаются. И время непутевое поругают, и порядки, и нынешнюю молодежь гулящую. Плакалась жена Ивану, что ее вина, коль дочь такой холодной ко всему поднялась, и Иван жалел, что вицей разу по хребтине не вытянул.

Утром, как обычно в пять часов, Иванов бледный, непрспавшийся, затопляет в избе печь. Положит на лопату полено, все чего-то медлит, медлит в печку сунуть. Ничего не надо... «Ни кола, ни двора. У Лехи жить собираются... Чего доброго дитя нам с маткой вытряхнет. Под верстаком две новенькие пилы захованы. Нет бы сказать по-человечески, что, папка, первое время денегат хоть немного раздобыть, я бы те пилы сам Лехе подал». Вошла Любка - только что правится с дискотеки, плюхнулась на лавку, вытянула усталые ноги.

- Отец, поговори со мной, - попросила Любка.

«Отец», давно ли «папа» был, - кисло подумал Иван. - Ишь, раскраснелась, и дышит как кобыла по весне жадно. Видя, что отец не спешит раскрыть сердце, Любка сердито выдохнула воздух, резко встала. Иванов повернул к дочери лицо, щеки его полыхнули зловещим пожаром.

- Нашла принца, - прошипел отец.

Любка, чувствуя в себе потребность излить на голову отца гнев и справедливое нетерпение за нанесенное оскорбление, с вызовом молвила:

- Взяла что осталось!

- Ну, ну... чего от меня хочешь?

- Чего?! Да чтоб вы все, и колхоз, и скотина, и огородцы, и сено, и колхозная контора провалились в тартарары!

- Президент наш Гарант Стаканович говорит немного мягче...

- Пошел ты!..

Любка бежит в свою комнатку, на ходу срывая с себя пальто. Иванов садится на поленья, дрожащими пальцами достает сигарету из пачки. «Да-а... Невеста куда с добром. Вылежалась... И с кольцом! Кому и спасибо за воспитание сказать? И родит если, нам с маткой не покажет, характер дикий, нонешний»...

Прошел месяц. Осень не сдает своих позиций: грязь, слякоть. Кругом уныние.

Однажды конторские работники заметили, что дедушка Ильич лежит на боку. Оказалось, кто-то заинтересовался материалом, из которого был сделан памятник великому вождю.

Иванов по-прежнему ходит каждый день на службу. Сядет на стеллаже, в шубу закутается и сидит филином. Под напором тяжелых воспоминаний молвит; «Эх, стройка перестройка, мать бы твою»...

Любка с Лехой подались на газопровод. По слухам, Леха устроился подсобником, а чего и кому подсобляет, один Леха знает. И, припоминая порой искривленное злобой, со следами нравственных страданий лицо дочери, Иванов начинает бранить ее: «Ничего-то ты не умеешь, ничему-то ты не научилась, все-то у ты из рук валится»... Отругает и начинает мечтать. Вот придет время - ягод, грибов наплет до дури, 20 августа - день рождения Любки, кругом красотища, какая в пору его детства была, а народу, народу в деревне сколько... Тут Любка идет, с ребеночком. Счастливая, веселая, жизнью довольная. Ребенок - девочка, обязательно девочка! Ручки из одеялка выпростала, гугукает. Тут Любка ставит ее на пол и подталкивает: «Иди, иди, крохотулька, к дедушке».

## ТЕТРАДЬ

В ласковое майское утро - мягко открылись врата рая, впустив свежую партию внове представившихся. В первых рядах шагнул, имея на то моральное право, Михаил Михайлович Аршинов, а Матвей Созонтович Шишов, из прежний неприязни к Мишке Аршину, заполоскался в задних шеренгах.

Матвей Созонтович Шишов... жил в столице, преподавал в университете имени П. Лумумбы. Михаил Михайлович Аршинов как вцепился за ржаную стерню, что за мамкину титьку, так и не отпустился до последнего вздоха. Профессора Шишова, почетного члена нескольких иностранных академий, сразил недуг, именуемые ныне термином «Захирение коммунистического движения». Колхозник Аршинов был далек от проблем выживаемости, далек от помощи развивающимся странам, ему что негры, что индусы были на одно лицо, обиженные, бедные и безработные. В День Победы старый вояка надраил медали, собирался идти на митинг у памятника погибшим землякам, и тут увидел языки пламени за зерноскладом. Бывший гвардии рядовой бросился в последнюю атаку и погиб под обломками крыши. По всем статьям, после регистрации в раю Шишова и Аршинова, они должны были встретиться, чтобы или навечно разбрестись по дальним урочищам райских кущ, или слиться в одну душу на предмет прощения и дальнейшего пребывания.

Давным-давно яблоком раздора между одноклассниками стала Надежда Румянцева, впоследствии Шишова. За нее, обоими любимую, парни остервенело разбивали один другому губы, чтобы соперник не лез целоваться. Со смертью профессора Шишова осиротел единственный внук, аспирант Егор Шишов, в иностранных академиях пролили траурную слезу, в курируемой им Эфиопии разразился голод. Молодой человек получил скорбную весть, находясь в Канаде. Естественно, он не мог кинуть горсть земли на гроб деда. Побыв в одиночестве среди крестов, памятников могильных плит, поклялся выполнить последнюю просьбу деда: отдать недругу юности тетрадь с воспоминаниями о предвоенной жизни, военной лихоманке, взглядов ученого на возможность мировых катаклизмов.

Смерть колхозника Аршинова болью отозвалась в сердцах людей старшего поколения.

Прошел месяц. В кандидатской диссертации наметился сдвиг по фазе. Научный руководитель Шишова предложил внести в разработку «Торкретирование железнодорожных конструкций с помощью спектральных полей» ряд существенных поправок, а сам подался в кооператив «АНТ», в последствии скопытившийся на продаже танков за границу. Раздосадованный Егор Шишов поехал на родину деда.

В деревне Заздравной появился высокий, широкоплечий малый с походкой бурлака, в рубашке с короткими рукавами, с длинными до плеч волосами и некрасивым, изрытым оспинами лицом. Молодой человек был неразговорчив, холодные глаза говорили о тлетворном влиянии Запада, начинающее выпирать брюшко гарантировало докторскую диссертацию. Поселился парень у строителя Конговистова, ближнего родственника Шишовых. Первые три дня он бродил неприкаянным по наволокам, ближним лесам, точно снимал отпечатки с травы босых ног деда, на четвертый принёс соседу Конговистовых, любителю-пчеляку, рой пчел.

- И не накусали? - удивился сосед-пчеляк.

- Нитратный организм коркретирован эпителиальной защитой. - ответил молодой Шишов, из чего сосед-пчеляк понял ровным счетом одно: башка у парня забита не темными пирогами.

Выполнить завет деда не представилось возможности: адресат переселился в загробный мир.

Однажды...

Нет, погодите, подать пирожное вперед шей, все равно как спросить жену, на что она истратила получку. Как уже отмечалось, смерть колхозника Аршинова отозвалась в сердцах пожилых людей. Это был поистине бык, покорно тащивший колхозный воз, слабо реагируя на эксперименты, производимые с сельским хозяйством. Он будто не замечал сменяющихся хлопотливых ездовых, отсутствие смазки в колесах, помощь других быков, испоганенной дороги. С тех пор, как молодому теляти спустили лишнюю кровь, он крепко усвоил: клок сена надо заработать. Куда бы его не гнали, в какую дыру не совали, пахал до седьмого поту. Мало, очень мало осталось в колхозе простецких, зла не помнящих животных. Теперешнее семя хитроватое, стрессовое, ты его в постромки, а он обратно в стоило. Михаил Михайлович Аршинов оставил после себя четверых сыновей, и одиннадцать внуков и внучат. Про одну из внучек, Галю, и немного расскажем. К восемнадцати годам это была красавица на загляденье. Она легко одолела десятилетку и тут задумалась: в институт или под коров? Полушария мозга не могли столкнуться. Скорее всего, виной стала наша разбалансированная экономика и хамское отношение к интеллигенции. В добрые старые времена было проще: при достижении шестнадцати лет дочь колхозника автономно считалась колхозницей. Ей не грозила беда потерять паспорт, не пугали городские шалманы, отсутствовала погоня за модой. Круг интересов начинался со ступенек родного крыльца и заканчивался на родном погосте. Теперь же пошел перекосяк с детских лет: сидит орленок на горшке, в голове потребительское свободомыслие:

- Дайте шоколадку или замажу простынку какой.

О, времена! О, нравы!

- Иди в контору, - сказала мать, женщина строгая и к воспитанию детей

прилежная. - Столов там много, и тебе найдется угол.

В конторе колхоза «Заздравное» столов стояло невпроворот. Пять или шесть занимали счетные работники, три экономисты, три агрономы, три зоотехники, один нормировщик, два лаборанты, в келье, похожей на собачью конуру, дремала кассир, бедным родственником ютился единственный-мужчина аппарата - строитель Конговистов. Весь остальной адмоштат, включая председателя колхоза, председателя профкома, секретаря парткома, троих кладовщиков и двоих осеменаторов, женщины. Инженерные маги откололись от матриархата, в ремонтной мастерской у них существовали свои порядки. Новому работнику нашелся краешек стола, отчего уборщица едва протискивалась с ведром воды, нашелся и портфельчик: заммашинистки. Галя быстро научилась щелкать на машинке «Москва», помышляла об электростукалке. Секретарь парткома завалила девушку перепечаткою ее докладов, протоколов партийных решений, анализами работы колхоза за истекшие периоды. К моменту нашего рассказа Галя занимала реестр нужных, деловых, влюбленных в профессию людей. Дальновидный председатель в юбке заручилась ее обещанием поступить на заочное отделение института. Колхоз содержал ветеринарную амбулаторию и спецмашину при ней, главврач часто подвергался испытанию Бахуса. Ветврач настолько проспиритовался, что ленился мазать спиртом кожу животных при иглоукальывании. Главный ветврач плевал на пальцы, продергивал через них иглу и на том стерилизация кончалась. В перспективе этого врача надлежало с почестями отправить на пенсию. Колхозная контора - это кузня погоды и информбюро. Каждый день с десяти до пяти она похожа на муравейник, то приготовившиеся к дождю, то празднo млеющий под негой светила. Рабочий день начинался с чая, легкого наведения художественных причесок. С десяти до одиннадцати - надувание губ, расследование авторов. Около обеда - замирение. С двух до трех - обработка поступков и распоряжений председателя колхоза, идеологическая подпитка парторга, сбор новостей. Дальше чай, аутотренинг и в пять, утомленные, красные, дружно хлопают парадной дверью. Вам не понятен термин «надувание губ»? Пожалуйста: это придиричивое, расхोдившееся тесто, компоненты которого: «А ты помнишь!.. чего он говорил!.. Сама, видела...» Замирение - штыки в землю, все мы дочери Евы. Правда, кое что аппарат делал и в творческом направлении.

Галя сидела на табурете за своей частью стола. Когда входили в контору колхозники, аппаратчики как по команде деловито зарывали носы в бумаги, пальчики Гали дружно отбивали дробь на партийном барабане.

Молодые парни глаз не сводили с машинистки. Дело в том, что Галя не любила танцы, концерты, эстрадную музыку, вообще считалась запечной девой. Желаящий заговорить с Галей не имел возможности из-за отсутствия условий.

Сегодня женщины честили строителя Конговистова, по неясным причинам не вышедшего на службу. Этот старый мерин, вечно пахнувший потом и одеколоном, не подал вчера главному бухгалтеру отчет о движении стройматериалов. Главбух метала грома и молнии, зам ее предлагала выгнать бездельника, змеей шипела кассир в своей клетке. Общий гнев передался на председателя.

- Галя, бери моего кучера и сюда этого прохвоста, распорядилась председатель.

Председательский кучер не сразу повернул ключ в замке зажигания. Он слегка выговорился по поводу председательши, в конец заездившей его, усомнился в целесообразности розысков строителя, сорвал злость на близко подкатившем к УАЗику юном велосипедисте.

- Пора вам мылить шею, Иван Иванович, - сказала Галя. От этих слов и без того красная шея шофера набухла кровью. Иван Иванович нахохлился, сверкнул зрачками.

- Проклятое бабье! - сказал сквозь зубы.

... Егор Шишов никогда не был робок с женщинами. Он не мог понять, почему некоторые мужчины, способные добровольно пожариться в пекле Афганистана и лечь на проржавевшую бомбу времен второй мировой войны, становятся вдруг скисшими помидорами, заговариваются, теряются, того гляди полезут под сарафан бабушки. На легкий стук в дверь Егор отложил журнал, встал с дивана, приготовился, заряженный достоинством, к встрече с неизвестным жителем деревни. Вошла стройная девушка, с лицом нежным и чистым, увидев заставившего среди комнаты незнакомца, о котором полно разговоров, вспыхнула.

- Степан Ильич дома?

- Я за него, - ответил Егор, упирая глаза в пухлую розу губ.

- Неужели? - поспешно спросила девушка, и удивление, похожее на иронию, заиграло в упрямых глазах.

- Не желает ли местная Венера взглянуть в мой паспорт?

- Зачем? Лучше откупорить ваши мозги и прочесть код детей Миклухо-Маклая.

- О! - восхищенно воскликнул Егор. - Не дурно чирикают здешние птички.

И только закрыл рот, как Купидон метнул стрелу.

- Признаться... - начал было говорить он, для развития мысли ворочая около своего черепа рукой, но девушка не дала созреть исторической фразе.

- Так Степан Ильич дома?

- Да ногу поехал править к какой-то Авдотье... Пойдите, куда же вы, моя услада?

Сердитый Иван Иванович, внутри кипящий тульским самоваром, остановился в деревне Грязной, у избенки бабки Авдотьи. Пренебрегая к особе,

дерзко отозвавшейся о его работе, в знак протеста не вышел из кабины, лишь высунул на свежий воздух раскормленную кучерскую рожу. Был знойный день и...хватит. Читатель сам надумает пейзаж, наполнит его вкусовыми запахами, порхающими стрекозами, мухами, приманит облака, которые ему по душе.

Строитель Конговистов сидел на стуле старинной работы местных мастеров в позе праздно отдыхающего от мук фараона. Перед ним на карачках ползала старушка с оголенными до плеч руками. Нога строителя Конговистова покоилась в медном тазу с засученной до паха штаниной.

Старушка гладила мясистую ногу скрюченными пальцами, хлопья мыла падали на фарук. Поодаль под большой разлапистой березой лежал на животе шофер Васька Трубин и давал ценные медицинские советы. При появлении Гали-машинистки, бабка Авдотья отступилась от ноги. Строитель Конговистов пошевелил ступней, по лбу разбежались морщины.

- Выше, говорю, мять надо. Чего ты холку мнешь, когда его изжога замучила? - сказал Васька Трубин.

- Мяла, Васенька, да сила не та... попарить бы.

- А, может, водкой продрать? А?

- Степан Ильич, вас в контору надо, - сказала Галя.

- Да погоди ты! - рявкнул Васька. - Человек на полста процентов калека, а все бы в конторе сидел.

- Вот ведь какая петрушка, - жалобно простонал строитель Конговистов.

- Не тужи, Ильич, мы тебя поправим нашим средством - авторитетно сказал Васька Трубин, перевернулся через себя, побежал вдоль деревни.

Бабка Авдотья набиралась сил.

Галя смотрела вдаль на ползущие иссиня-черные облака. Грозовая туча как обручем сжимала пронизанное лучами солнца ослепительное пространство, с каждой минутой отчетливее доносились раскаты грома. Мысль, что рука мужчины, впервые в жизни коснувшаяся ее талии похожа на обруч, забрезжила в ее сознании. Этот нахальный горожак совершал над ней недозволенное, за что и получил пощечину. Сейчас в глазах девушки стояла загаенная печаль.

Прибежал Васька Трубин с бутылкой водки. Из кружки, что знахарка поливала ногу, мужчины наскоро распили ее. Предлагали старушке, но та сослалась на возраст.

- Ну-ко, ну-ко, топни, - теребил Васька повеселевшего строителя Конговистова.

Больной топнул, окатив мыльной водой советчика, топнул и заерзал от боли.

- Для полного исцеления надо дернуть за бабье правительство, - подал новую идею Васька Трубин.

Галя не стала дожидаться исцеления строителя Конговистова. Иван Иванович без слов повернул в замке ключ зажигания, с места набрал скорость.

В самый шквал грозы шофер Васька Трубин выгружал из кабины строителя Конговистова. Тот орал, матерился, не хотел из-под крыши в воду, шофер старался и зубом, и ногтем.

Выскочил Егор Шишов, вдвоем занесли размахивающего руками строителя Конговистова на веранду. Тут началась вакханалия, о которой на завтра долго трепались в колхозной конторе.

- Гармонь!

Что конь, мотая головой от наседающих слепней и стуча копытами от нетерпения, строитель Конговистов дергался телом. Нашли гармонь, тыкаясь в пуговках Васька растянул мех, выдал музыку, схожую с Интернационалом; фальцетом запел строитель Конговистов.

*Милка ты не задирайся.  
Кто попросит тому дай.  
А ты не бойся у посудинки.  
Не выломится край.*

Бог рассердился на подобное неподчинение, с треском колонул молнией в электрический столб посреди огорода. На уровне штырей верхушки столба как не бывало.

- Проминай! - кричал Васька, скаля зубы.

Мокрая, с обтянувшим всю фигурку платьем, прибежала Галя, оборвала веселье.

- Степан Ильич, в контору надо!

Я тебе русским языком сказал, что он на полста процентов инвалид! - сунулся вперед Васька, волоча по полу гармонь.

Галя выскочила с веранды, за ней Егор.

- Зачем так волноваться, - начал было говорить он, пытаясь накинуть руку на талию. Галя вызывающе бросила:

- Еще надо?

Егора Шишова охватил огонь внезапно вспыхнувшей любви. Он пожертвовал временем и диссертацией, остался в деревне и преуспел. К концу месячного пребывания в Заздравной положение Егора Шишова было таково: его стали замечать. С ним стали вежливо здороваться; освоил основные древнейшие орудия труда и быта русичей, мать Гали благоволила к молодому человеку, отец недвусмысленно намекал на городской образ жизни. Купидон не бросает напрасно стрел. Чтение журналов не шло на ум, Егор раскаивался, давал ход нелепому первоначальному знакомству. «Какая из нее жена получится, - мечтал блаженно на диване, представляя свою квартиру и

хозяйничающую там Галю. - Детей нарожает...» Отношения с Галей - и не пропащие, и не особо радостные. Он расспрашивал свояка Конговистова о местных парнях, несколько раз приглашал девушку на танцы, но она не пошла. Разведка доносила конторским работникам, что внук профессора сносил все цветы к дому Аршиновых, а девка нос воротит от таких подарков и плачет под рябиной. Женщины думали чем все кончится? Или парень такой упрямый, или Галя перебирает харчами, или... Как-то вечером Егор Шишов захватил с собой тетрадь деда, выманил Галю на улицу, и началось чтение довоенной жизни. Поначалу Галя перебивала чтеца, заглядывала в тетрадь через плечо Егора, слушала густой голос, невольно сравнивала автора с внуком. На любовном сюжете произошел разлад.

- Да дурак он! - презренно воскликнула Галя. - Схватил, поцеловал, поцеловал, повалил... Врет и не морщится!

- Кто «дурак?»

- Кто пишет эту гадость.

- Зря. Дед всегда был объективен и честен.

- Пошляк он, «честен». Он что, бревно «схватил, повалил»?

- Не будем путать те времена и эти, - возразил Егор.

- Те времена? Да мне дедушка рассказывал, что он год невесту за руку взять боялся! Раньше пройди-ка под руку с парнем по деревне, да со сраму топиться побежишь! Какая же это любовь? Где они, чувства привязанности, согласия, уважения...

- Получается, что ваш дед был святоша, а мой, извините, дуролом?

- Если судить по внуку, то... примерно.

- Ах, так!

Тем же вечером Егор Шишов вышел налегке из деревни, предстоял путь в 33 километра до аэропорта в райцентре. В дорожной сумке покоилась злополучная тетрадь деда. Егор Шишов поклялся забыть Заздравную навсегда.

До вылета самолета оставалось полчаса. Динамик радиотрансляционной сети негодующе прохрипел: -Пассажир Шишов, пассажир Шишов. Подойдите к билетной кассе. Пассажир Шишов...

Пожилая белобрысая кассирша сунула в окошко телефонную трубку.

- Говорите.

- Это Егор Шишов? Вы недостойны своего деда! - сказала трубка и замолчала. Егор Шишов подул в оба края телефонной трубки, постучал о стену.

- Что, молчат? - спросила кассир удивленно.

- Ах, так!.. Возьмите билет!

## ВЕДЬМЫ

...Старая легенда рассказывает, что однажды Сатана нанял пастухом черта. Было у Сатаны две любимые козочки. Дела мирские потребовали отлучки его, когда же вернулся, пастух пал ему в ноги:

- Я буду пасти десять лютых тигров, лишь бы не видеть твоих коз!..

У Николая Афонина есть дочь Ирина и сноха Ангелина, такие своенравные козочки... И сын Кирилл, жаждущий любви и свободы резвый козенок. Янтарные глаза Кирилла глядят вкось, потому он видит и шире и дальше своего закомплексованного отца. Башковитый, уже в господах ходит. «Жигуль» купил, на «КАМаз» виды имеет. Николай Афонин в прежние годы не ходил в ударниках, а нынче, когда колхоз стал походить на забегаловку, топчется около пчел, ни в какие реформы не верит, работает вольненько.

Лето в разгаре. Ирина шагает по-обширному лугу по колено в шуршащей траве. Солнце сияет, и вокруг нее, растворяясь в изумительно чистом воздухе, струится аромат трав. Лениво пролетают стрекозы, басовито гудят шмели. Давно пора косить, а косить не для кого. Тишина! Исполненная невыразимой благодати и ощущения пустоты, одиночества. Взгляд скользит по зеленому, дремлющему в истоме простру. Еще лет семь назад луг в эту пору был полон криков, смеху, неторопно порабатывал попахивающий солярой тракторок... Они с девчонками дурачились, обливали ребят холодной водой. Девчонок было больше, они силили кучей, но парни добывали их, отбивая поодиночке тащили топить на глубокое место. Мокрушие, в облепивших тело платьях, торопились исправиться в глазах бессменного бригадира дяди Жени. Теперь и дядя Женя на погосте лежит, и девчонки поразъехались...

Вечереет. Усталое размягшее солнце опускается на лежанку в сосновом бору. Афонины пьют чай. Окна распахнуты, по улице нет-нет да пробежит озорной ветерок, вынося от реки оттенки смешивающихся запахов. Надоевшие мухи лезут к деревянному блюду с медом.

- Сегодня Николай накачал два ведра. Чтобы не сглазить урожай, с намеком сказал соседу: «Попачкал, паре, медогонку». Сосед загнал телегу дров, третий день в угаре. Сноха Ангелина часто высовывается из окна чуть не по пояс: где-то сегодня ее муженек деньги «кует»?

Большая домина у Афониных, как бы «пуп» деревни. Напротив сельсовет с одной руки магазин, с другой медпункт.

- Вроде... - неожиданно Ирина поднимает палец. - Вроде...

Мать, сноха и пятилетний Вовка одновременно суются в окно. Ирина сидит, прижавший спиной к стене, кружку опрокинула на блюдечко. Распотела. Мысли ее возвращаются на луг, на реку.

Ангелина небольшого роста, загоревшая красавица, с огрубевшими от работы руками. Лицо ее выражает природный ум с хитринкой, но в жестком порой взгляде таится лукавство. Иногда ведет себя вызывающе. Николай гадает в таких случаях: «Не двойняшки ли они с Ирккой? Та тоже такой «сахар»... взяла и отобрала у матери все по праву, вроде она старшая, на распорядках...»

У калитки стоит красный «москвич». В нем сидят двое мужчин и, похоже, выходить не собираются.

Ангелину так всю и передергивает.

- Не допили? - спрашивает не оборачиваясь Ирина.

Она нутром чувствует, что брат привез хорошего собутельника. Один - на коленках, но в избу поползет. В доме висит грозная туча. Николай полотенцем отгоняет мух от блюда с медом, видит, что скоро сноха «даст жизни». Вылезает из-за стола. Он толстый, неповоротливый; случись Ангелине зашуметь, может и кружка в лоб прилететь.

- Да отойди ты!

Ангелина прямо - так выдирает из окна готового выпасть сына. Парнишка исподлобья смотрит на мать.

- Медвежья порода! - сердито говорит Ангелина сыну.

Вылетает и первая стрелка:

- Безнестены... воры первостатейные!

Ангелина решительно шагает к двери. Ирина голосом останавливает ее, догоняет, кладет на плечо руку. Ирина чуток потончивее Ангелины, но грудастее.

Николай со страхом замирает у окна, шипит на подошедшую жену:

- Обе катят... Дадут Кирше, а?

Ангелина рывком распахивает дверку, из машины с трудом выползает колхозный механик Витька Пономарев, бывший Иринин ухажер. Покачивается, рот до ушей, ноги выписывают узоры.

- Ангелине Батьковне... с кисточкой!

Ангелина отталкивает его, Витька валится на Ирину, признает и хочет обнять.

- О, витязь, то была Ирина!

- Какой ты витязь, Пономарь дурной, - фыркает Ирина.

Ангелина «трелюет» Кирилла. Телом он в отца, сырой, губастый. Как подопьем крепонько, головой вертит, а ходу нет.

Упал Кирилл на родную улицу, встать не может. Ангелине хочется попинать мужа, но сдерживается. Ирина скрестила на груди руки: да-а, как в песне поется, горькой ягоды два ведра.

- Ирка, дай один раз... чмокну, - пристает Витька.

- Чмокай свою кикимору... Не лезь, не видишь, что кругом глаза выронили люди? Иди, иди домой, машину не трожь. Не трожь!

Ирина пришла на помощь Ангелине, вдвоем они поставили Кирилла на ноги, потащили, только ботиночки побрякивают о камешки. Но класть на кровать не стали, раздевать тоже. Бросили на пол, рядом с диваном, даже половик Ангелина выдернула: скорее оклемается. Стоило Ирине отвернуться, как Ангелина украдкой лягнула распростертое тело так, что пьяный закашлялся.

- Рвет, то ли? - невозмутимо спросила Ангелина.

Ирина пожала плечами. Четверть минуты Ангелина внимательно смотрела на Ирину, затем еле заметная улыбка сверкнула на ее лице спросила Ирину.

- А мне что, - хмыкнула Ирина.

Ангелина встала на колени, подняла голову мужа, принялась к волосам, спросила:

- Как ты дорогуша? Не узнал, сладка ягодка?

Кирилл, блаженно улыбаясь, выдал нечто похожее на «Зз-зою», и тут Ангелина всадила засос ему в шею. Отдыхалась, любуясь работой и еще один, рядом. Оглянулась на Ирину, та показывает пальцем себе на щеку.

- Верно, Ирка!.. На, пофорси, ягодка!

Ирина сбегала к себе в горницу, принесла губную помаду: мажь гуще.

Утро. Афонины завтракают. Не хватает Вовки. Вчера Ангелина отшлепала сына перед сном. До того кошку домучил, что та обделалась посреди избы.

Вид у Кирилла неважнецкий. Ворот рубахи закрыт наглухо, волосы снопом. Ирине немного стыдно, что была сообщницей маленькой подлости. Отец опять со своим медом, скомканно говорит о пользе для здоровья.

- Бежать надо, машину брусом грузить, - говорит Кирилл.

- Опять на Москву? - с тревогой спрашивает мать. - Убивают там, грабят, а ты...

- Прорвемся, мать.

- Кто ты, сын, эдак... - осторожно спрашивает мать, пальцем водя по своему лицу.

- Нам с Иркой духи французские купи, белье самое тонкое, - перебивает свекровь Ангелина. - Еще на вокзале бабу здоровую сосватай, пускай у нас хозяйство воротят... «Зз-зою»... это что за «Зою» завел? - Ну-ка, ну-ка, - пальцами пробует опустить ворот рубашки. - Хорошо, хорошо Зоя упестряла! Опять за чужой подол, сучий потрох?

- Да ты!.. Че ты, какой подол?

- Ангелина, - пробует урезонить сноху Николай. - За столом-то нехорошо.

- Ему хорошо?! - И хрясь Кирилла по лицу, только спичкало... - Мы тут в навозе дни ползаем, а ему пикники с голыми стервами подавай!

- Не зар... не зарывайся! - Кирилл багровеет.

Кидает кружку на стол, кружка задевает торчащую из блюда с медом

ложку, искрящее переливчатое пятно расплзается по скатерти.

- Зачем, Ангелина? - опять протестует Никола!.. - Меня, паре, matka, сама подтвердит, всю жизнь худым словом не наднесла...

Голова снохи не стала покаянной, наоборот, во взгляде было что-то смертоносное, эдакий вызов на бой. Мать, с беспокойством взирающая на скандал, с трудом удерживает раскачавшуюся семейную лодку:

- Охолонитесь! У всех все бывает, в одном стремене не проедешь.

Грудь у Ангелины ходуном ходит. Свекра в последнее время терпеть не может. Тот как начнет вещать - так бы в рот кипятку и плеснула, «паре» на «паре», хоть весь день его слушай, до чего умный. Еще и лысину при разговоре поглаживает, будто череп деньгами оклеен.

Ангелина с Ириной идут на работу. Идут через луг по тропинке, протоптанной еще матерью. Солнце уже старается, отнимает у травы ночную свежесть.

- Чего нахохлилась, подружка? - Ангелина хочет казаться веселой.

- Да так, - равнодушно отвечает Ирина.

- Обиделась... Ну, перебор, каюсь. Сама не хотела, а как разошлась... Думаешь, Ирка, мне не обидно? Прошлый раз, когда с твоим Пономарем лахудру костлявую привезли, мне каково было? Согласен ее на перину тащить, гад! Больше молчать не буду. Доездит со своим брусом... А батюшко помнишь? Притопал с именин, эк утробился, квашню на стол вывалил: «Идут, паре, годы, и хмель ошипать не успел. Я им пощипаю, я им пощипаю!»

- Ангелина, закусит брат удила - не поздоровится. Ни тебе, ни мне. Не смотри, что он такой мешковатый, он брюхом в батька, да головой в матку. -

- Трезвой головой - согласна... Фу, ночи какие душевные.

- Вот ты чего озверела, по-нят-но... Из-за ночей и засосов навтыкала?

- Отстань, Ирка... Вот сосед у нас пьянь, а дровами обклатся. А наши щипачи... Вот угол в бане осел, нашим мужикам и дела нет. На лешего нам с тобой этот брус нужен, по мне - три свиноматки заведи да кормись своим трудом... Министр без портфеля. Представляю, как козырять с засосами сегодня будет. Вот, скажут, Кирилл Николаевич, как женушка тебя любит.

- А он скажет, это ночи такие душевные, - заливается Ирина.

- А батюшко чего лезет?

- Прихлопнут, Ангелина, наш телятник, чего делать-то будем? - с необыкновенной грустью спрашивает Ирина.

- Чего, чего... чего люди, то и мы. Не пропадем, не тужи.

- Не охота, Ангелина, мне из дому ехать. Я за Пономаря и замуж-то больше из-за этого не пошла. Сама знаешь, попить начал... Завернем, Ангелина, вон к тому омутку. Посидим, на воду посмотрим.

- Потом, потом. Управимся со скотиной, и назло всем на песке гольшом уляжемся. Седни мой господин вернется злым, сейчас скорее всего способ

мести выбирает. Рабыне надо покаяться в грехах и зарядить его любовной страстью.

- И ты думаешь...

- Пусть лошадь думает, у ней голова толще. Спереди у меня все на месте? А сзади - товар первый сорт. Да я ему такую баню устрою, все на свете забудет.

- Ох и ведьма ты, Ангелина!

- Ведьмой проще жить... Ирка, а давай петушка запустим, будто я и впрямь колдовать умею? Кирилл меня побаиваться будет? Будет! А батюшко? В штаны наложит! Сядут отец с сыном где-нибудь на меже за ульями, отец и скажет сыну: «Не рви, паре, чужой хмель, как да паре, свой тяпнут». Ахха-ааа!..

## БОРДОВОЕ ПЛАТЬЕ

### 1

Марья Сипина, уборщица в средней школе, тучная, вспыльчивая, раздражительная особа неопределенных лет, бросила в кладовку швабру, надела рыжее пальто с широкими рукавами - наследство покойной сестры и подалась в магазин за хлебом. Хотела оборотить минут за сорок, - едва кончается урок, как просыпается в каком-то углу леший, и начинает «волочить» ребят по школе. «Волочит» с дикими криками, визгом, смехом, и все норовит вытолкать ребят на улицу. А на улице прокисшая осень до самых ступенек крыльца, она редкий день не дает о себе знать морозящим с ветром дождем. Как перемена, Марья Сипина застывает на пост у входных дверей. Только высунется в притвор любопытная рожица, часовая и прошипит угрожающе: «Ну-у, какого лешего-оо!» Унырнет рожица, а Марья гадает, какую подлость затевают «паразиты» на этот раз. За девять лет работы много раз бывала под холодным душем, садилась в разлитую краску, натывалась в темноте на всякие предметы и набивала себе шишки. Будь ее воля, давно бы ввела в школе должность экзекутора, а некоторых молоденьких «учителишек», как вертеху Надьку Синюшкину, проглотила бы, зря деньги платят.

Магазин от школы метрах в трехстах.

Из калитки Синюшкиных навстречу вышел черный кобель ростом с телка, застыл, равнодушно уставив на проходящую женщину тяжелую морду.

- У-у, прясло... Зверина неумытая!

Осторожно, боясь коснуться пса, протиснулась по брошенной доске сзади, отошла, вздохнула с облегчением, оглянулась: кобель, опустив голову, шел в свою конуру. «Сволочи! - вспыхнула Марья Сипина. Стыдно ей, унижительно, вроде сама кого хочешь облает, а перед псиной пасует. - Нарочно

держат, чтобы я всякий раз холодным потом обливалась! Ужо... кину таблетку - в одночасье сдохнешь!»

В магазине сгрудились женщины из ближних деревень. Хлеб еще не привезли. Идет обсуждение вздорожания предметов первой необходимости. Около прилавка стоит Павла Синюшкина, из себя рослая, бледная, кожа да кости. Катя-продавец, дважды разведенная хохотушка, наклонясь через прилавок, «печатает» что-то смешное. При появлении Марьи Сипиной в магазине устанавливается напряженная тишина, нарушаемая лишь покашливанием в рукав фуфайки Павлой Синюшкиной, Павла постоянно болеет, хотя и на третьей группе инвалидности, но с доярок не уходит.

Товаров в магазине мало и те смозолили глаза. Пасмурные, как заплаканные окна, почти голые стены. На стенах лиловые размыты - год назад ураганом сорвало полкрыши, и стоял магазин раздетым до Николы-зимнего. Кажется, в деревенской лавке все пропиталось нищетой, безысходностью, мышеединой и зашедший в нее случайный человек, почувствует себя потерянным, голым, забитым.

Марья Силина сердито покрывала в кулак, вызывающе глянула на Павлу Синюшкину. Мешочки под ее глазами набухли.

- Последний раз терплю: еще раз гавкнет - ни перед чем не остановлюсь.

Павла Синюшкина хочет что-то ответить и не может; переглядывающиеся бабы парализовали ее. Не получив ответа, Марья Сипина обводит глазами других женщин, победоносно заявляет:

- Знаем, для кого ваша Клавка хвостом крутит!

- Угорела? Какое твое собачье дело? - делая шаг вперед, говорит задетая за живое Павла Синюшкина.

- А такое! Все тащите, что не питит, а что питит, тому головку заворотили набок и все равно ваше!

Катя-продавец чует надвигающуюся грозу, говорит о хлебе, как бы ища спасения, сдергивает с полки пачку памперсов. Кажется, еще минута, и женщины сцепятся не на жизнь, а на смерть, - Марья приняла вызов, идет к прилавку, а Павла загораживается от тяжелых кулаков пустой сумкой. Женщины стали друг против друга и в гнев начали поносить одна другую бранью. Вспомнили, как девять лет назад Павлу Синюшкину на собрании выбрали в президиум, а про Марью и забыли. Нехорошие мысли бурлили в большой голове Марьи, она часто дышала, напирала, пугала Павлу: «дам, тут и отпоют!», орала про колхозных воров, дурака и пьяницу Ельцина, сельсоветскую «мафию». Женщины догадывались, что причиной всему бордовое платье, купленное сестрой Павлы, бухгалтершей Клавдией семь дней назад у районной торгашки здесь, в этом магазине. Все эти дни Марья разогревала себя, жаждала выплеснуть Синюшкиным «справедливую обиду».

Платье модное, длинное, с вышивками. Как надела его Клавдия за

печкой да вышла показаться женщинам, и оборвалось что-то во внутренях Марьи Сипиной от черной зависти. Несмотря на сорок пять лет, Клавдия хоть сейчас под венец, все при ней. Больше всего Марью сразил факт наличия денег. «Тянут!.. Воруют с Валькой-флотским! Мой мужик полгода за «спасибо» вкалывает, а дармоеды лопатой гребут?!» Еще обидно было и на Вальку-флотского, нынешнего председателя колхоза. По молодости немало обломал черемух для Клавки, а ей, кто пьяного Вальку домой доставлял, хоть бы веточку понюхать дал. А то, что Валька Клавке девку приделал да на корабли сбежал - спасибо тебе. Господи! Заслужила! Да и не забыл Валька свою зазнобу. Ближе к осени домой возвратился, волос серебриться, а бес в ребро тычет: при всех подарил Клавке конфет шоколадных коробку с надписью «Подруге юности». В председатели сам напросился. Подтянут, выбрит, усы как ухваты, сыплет шуточки-прибауточки. Бывает, сядет за стол в конторе напротив Клавдии и смотрит, смотрит. Еще на деревне болтают, что с кораблей его списали за страсть к чернокожим бабам, так как свою проиграл в карты капитану. Курит трубку, поет песни, водки не пьет. Муж Марьи Сипиной прозвищем Вася-левый, раз спросил, чем хорош табак из трубки. «Секрет такой: женщины любят мечтать на груди мужчины и вдыхать запахи чужих портов. Особенно, если грудь как у меня волосатая. Играют кудерышками и сладко жмурятся».

- О, везут! - радостно крикнула Катя-продавец. Быстренько убрала доску, загораживающую люк, через который шофер опускает буханки, заискивающе улыбнулась Марье Сипиной.

- Сколько, Марья?

- Сколько... - недовольно повторяет Марья Сипина, плечом отжимает Павлу Синюшкину. - Ну-уу, барыня-сударыня.

Рыжее пальто Марьи Сипиной испускает тяжелый дух, от которого Павла Синюшкина по причине простуды задыхается.

- Не умри хоть, - хмыкает Марья Сипина. - Нынче-похороны дорогие. Из люка сыплются буханки хлеба.

## 2

Земля - безмерное море, на сколько глаз хватает-вода да хлам. Долго сей год дед Мороз подкатывает санки к старухе-осени.

Высокий парень с едва проклюнувшимися усиками в заляпанном глиной свитере, простоволосый, бьет и бьет ломом по прицепной серьге трактора. Трактор сидит на «брюхе», нагруженная соломой телега ушла в жижу по самые оси. Из кормового тамбура скотного двора кричит толстый, белотелый бригадир Женья Попов:

- Брось! Я кому говорю?

В какой-то момент парень вскидывает голову, и еще злее бьет. Бригадир

хлопает себя по бедрам: упрямый парень у этих Синюшкиных! Выбирая куда ступить, бригадир идет к трактору.

- Брось. Завтра гусеничником выташим... Видишь, шкворень-то зажал, а он у тебя - шток от цилиндра, где же такую дуру нашел?

- Потом скажут «неохота было» бубнит парень.

- Не дури, Семен! Слей воду и топай на печь.

Бригадир возвращается в тамбур. Сегодня ветеринары придумали брать у коров кровь на анализы. Животные рвутся с цепей, шарахаются, не зевай - на рогах окажешься. Коров держит слесарь Синюшкин и его напарник Вася-левый. Половину стада прошли, Вася-левый заартачился: хватит, у Бога дней не решето, до весны успеем. У бригадира краска пошла по лицу заалела короткая шея: как это хватит?

- А так, - зевая, отвечает Вася-левый. - Что половина, что всех пройдем, ты нам начислишь с гулькин нос. Была нужда, болело брюхо. Пригласи Вальку-флотского, вы оба ядреные, на ставках с институтами, вот и держите. Корова, Евгений Петрович, не бухгалтерка, она брыкается. - Посмотрел Вася-левый на сидящего на редукторе транспортера Синюшкина и прищурил один глаз.

Вася-левый - это сама усталость колхоза, сама натура колхоза, самая забубенная психология. Вася-левый гвоздь не забудет, пока не узнает, сколько он за гвоздь получит. Мнит из себя правдоискателя, постоянно задирает кого-нибудь из начальников. Больше всех достается бригадиру. Тихонько, вроде забыв что-то, отошел от мужиков Синюшкин и пропал. Пока уговаривал ломающегося Васю-левого, стыдил - Сипин в прошлом был коммунистом - ветеринары ушли.

- Иди, - говорит бригадир Васе-левому, а у самого желваки на скулах ходят, кулаки сжал. С каким бы удовольствием истоптал сейчас Васю-левого! Пинал бы и приговаривал: «Да, я кончил институт! Да, я на ставке! Да, я начисляю тебе незаработанные деньги, потому что ты, халявщик, вошь...»

Слесарь Синюшкин сидел в кочегарке, курил. Он замечает, что дрожат руки от усиливающегося волнения. Он сравнивает Васю-левого с крысой, а у крыс отменный нюх на всякую гадость. Крыса бежит на запах падали, радость бега будоражит ее. Синюшкин чувствует, что от переживаний у него бурлит где-то в животе.

Зашел бригадир, плюхнулся на лавку, в сердцах бросает рядом промокшую кепку.

- Сволочь! - гневно говорит бригадир. - И когда только этот колхоз развалится! Изжил себя, насквозь прогнил, всем все до лампочки, а все тужат: а как да без колхоза осиротеет!.. Колхоз - кормушка пропойцам и лодырям!

- Бог даст, разгонят, - говорит Синюшкин.

- Не дожить. Какой ни есть придурок этот Ельцин, а ладно делает, что сует нас мордой в наше дерьмо! Вот сколько можно терпеть такую скотину,

Егорыч?

- Разгонят колхоз, куда мы с Сипиным? Волей-неволей опять рядом жить придется.

- Стеснительный ты какой-то, Егорыч. Для тебя перематериться грех, а таким наглым рожам, как Вася-левый... Ставлю перед председателем вопрос ребром: или в шею Ваську из колхоза, или я ухожу. Устроюсь в районе. В СПТУ мастером звали.

- Зря, Евгений Петрович. У нас таких Сипиных полколхоза, много придется выгонять. И ничего тебе не упарить. Лодыри тебя скорее вытурят, чем ты их. Хошь не хошь - терпи.

- Черта лысого!

### 3

Не успел Синюшкин умыться, выходят из спальни жена с дочкой. Жена в родовом платье, дочка хлопает в ладоши.

- Красотища, папка?

- Видел уже... Все бы наряжалась, - устало сказал Синюшкин. Клавдия прикусила губу, отошла.

- Изломалось что, Егорыч? - осторожно спросила. Муж не ответил, лишь отмахнулся. Напрасно дочь Надя расхваливала покупку. Как ни больно было осознавать, но мысли Клавдии были печальны и горьки: сплетни доползли до ушей Егорыча. «К черту! Завтра уйду из конторы! И пропадите вы все пропадом!» - подумала Клавдия.

Ночью Синюшкин проснулся, лежал с открытыми глазами. Вспомнился бригадир, его гневное лицо. Кажется, слезы брызнут из глаз от собственного бессилия или ... «Прав он, прогнал колхоз. Давно прогнал. Вот кабы лет двадцать назад думать начали, когда народу были полные деревни, да народ-то был ДРУГОЙ... который год в деревне мертвая тишина; до смешного дожили, а ничего смешного и нет: здороваться и то перестаем. Ну-ко, стану я первым рот отворять, нет пускай со мной здороваются, а я посмотрю, прошамкать чего в ответ или молча пройти. Работаем из-под палки, сами себе враги лютые: на последнем собрании до того докричали, что всех специалистов пустокормами обозвали, всем колхозникам подавай ставку. Все нервные, задержанные... «Он думал, что надо скорее делить колхоз, делиться мирно, без драк». Как-то Сипины заживут одинолично... коммунист ляпанный...». Осторожно слез с кровати, не зажигая свет, оделся, нащупал на стуле платье Клавдии и с ним вышел на улицу. Брезжил слабый лунный свет. С наслаждением втянул широкими ноздрями заметно посвежевший воздух, скоро будет морозить. Поставил «на попа» суковатую березовую чурку, скомкал платье, примерился и рубанул по нему топором. По-стариковски разогнулся, сказал

подошедшему псу;

- Достали, брат... Эта деревня кого хошь под монастырь затолкает.  
Рубанул еще, и еще...

Собрал с земли клочки, прижал к лицу. Материя пахла Клавдией, пахла теплом ихнего дома... Всклипнул. Такая хорошая у него жена, надежная, хозяйственная, добрая, ведь жить с ней одно удовольствие, а приходится нанести ей боль. Всю жизнь эти Сипины завидовали, терзали, давили, насмехались, мстили неизвестно за что. Всю жизнь! И видит Синюшкин будто наяву Васю-левого, его презрительную ухмылочку, его высоко задранную при ходьбе голову; и кажется ему, что не только Васю-левого, весь дом Сипиных ненавидит он - спалил бы! И петуха ихнего задушил бы, корове однорогой отшиб последний рог, а Марью бы живой закопал на погосте! Синюшкин следит на небе за ползущим облачком, чешет у собаки между ушей. И люди, и родная деревня исчезают из его памяти, злоба на Сипиных заслоняет все.

С комом под мышкой, зажав в руке топор, он идет к Сипиным.

Стучится. В одних кальсонах выходит на крыльцо заспанный Вася-левый, видит Синюшкина с топором и пятится, норовит захлопнуть дверь перед незванным гостем. Он ошарашен, он напуган. Никогда еще Синюшкин не был так страшен. Синюшкин сует в притвор дверей ногу в сапоге, подает в руки Васе-левому все, что осталось от бордового платья.

- Ты... Егорыч, прости, если что...

- На, храни. Премия от колхоза за ударный труд.

## БАГУЛА

Петров день. Цветет липа. Медсестра оторвалась от чтения журнала, подавила зевок, прикрывая рот ладошкой, вздрогнула. Заложив руки за спину и чуть подавшись всем корпусом вперед, перед ней опять стояла толстоногая старуха, пренебрежительно скривив губы.

- Я позову, позову, - чувствуя накатывающееся раздражение, сказала медсестра.

- А позвонить некогда? - хмыкнула старуха. - Трубка сто пудов, али больше?

- Куда звонить, кому звонить?

- Да что ты, как глупенькая, куда да кому. Адресок, небось, на подтирку ушел, а?

- Вот, вот ваш адресок!

- Не ори, не на собрании. Тебе за что государство деньги платит? На больных старух гавкать?

Медсестра вскочила, заалела от гнева.

- Вам что от меня надо? - глаза ее округлились.

- В Кувшиново загляни, девка. Там нервы правят.

- Ради Бога, идите в палату!

Старуха хмыкнула, поджала губы, повела толстым носом, нехотя развернулась и поплыла по коридору, как айсберг, на струившийся из окна свет.

Ульяна Квашенкина десятый день прогревает «наджабленные непосильным трудом кости» и десятый день ждет телефонного звонка от сына. Все в больнице знают, что сын у нее полковник, командует войсковой частью, и девять лет не бывал на родине.

В третьей палате больных четверо: худющая, что мумия, старуха Татьяна, краснощекая молодлица Фаина - зоотехник из маленького колхозика, хлопотунья Осиповна - в прошлом продавец, и она, Ульяна. Фаина или развелась с мужем или разводится, потому как интересуется газетными сообщениями вроде «Найди меня». Пятая кровать у самых дверей пока пустует. На ней обычно гнездится Ульяна Квашенкина, зорко, будто ястреб, караулит добычу. Стоит кому-нибудь с кем-нибудь заговорить, как она уже летит, зависает глыбой и встравляет в разговор.

Ульяна, недовольная медсестрой, плюхнулась на взвизгнувшую кровать, заметила, что Осиповна, как бы прячась от нее, кусает яблоко, уткнув нос в книгу, и колюче спрашивает:

- Небось, свеженькие?

- Гнилых не держим, - не отрываясь от книги, отвечает Осиповна.

- Как же, как же, кладовщик да умрет с голоду на закроме - бывало ли?

Понизила Осиповну в должности, да та не обижается: изросла до заведующей магазином подниматься, третий год на пенсии. Осиповна достала из тумбочки три яблока, одно сунула разглядывающей что-то на потолке Фаине, другим поманила Ульяну: бери.

- Не голодна, - жестко сказала Ульяна и отвернулась.

- Татьяна, может, пососешь? - спросила редко подающую голос старуху.

- Спасибо, золотая ты, - проскрипела Татьяна. Аппетитно хрустит яблоком Фаина, кусает не скупясь.

Татьяна поерзала на кровати, села, помочила губы из кружки, приложила палец к виску. Уж страсть прытко сегодня скачет сердце, и в голове будто жнейка стрекочет. Глянула в окно, зябко поежилась. Что и с погодой стряслось... По всем бы приметам быть жару на макушке лета, а тут дождь бросает на стекла рассыпчатые пригоршни.

Дорога стала, как ведьмины космы растрепанные, секут холодные плети промокшие кусты. На картонном ящике сидит ворона, головой пошевелить лень. Татьяна кое-как проглотила таблетку. Смотрит на руки - щепки, кожей обтянутые. И тонюсенькие черноватые ниточки вен под пергаментной

кожищей.

- Ты хоть где робила? - спрашивает подошедшая Ульяна.

- Как все, - тихо отвечает Татьяна.

- «Все», - передразнила Ульяна, - Поди-ко, в няньках кисла да сметану с кринок слизывала?

Ульяна вскинулась вся, победно хихикнула, оглянулась на отложившую книгу Осиповну: что, ловко я подклинила?

- В животноводстве, - вздохнула Татьяна.

- Петухам гребни загибала? - Подождала, не сунется ли с комментариями специалист по животинам - Фаина воздержалась, тогда продолжила:

- Была у нас одна курошупиха. Знатной работницей слыла. Мужик яйца зобеньками прет с курятника, с мужиками водку пьют да яйцами закусывают, а она кричит: «Лиса! Лиса!» Я надоумила, кого следует, и прописали ей лисий воротник, два года носила.

Ульяна вытянула перед Татьяной тяжелые руки.

- Вот они порobili, так порobili! Двадцать четыре годика руль ХТЗ-7 ворочали! Ты хоть отличишь руль от самоварной трубы? - Татьяна застыдилась своей немощи, стала прятать под одеяло сухие ручки.

- Наград много? Грамоты? - спросила Осиповна.

- Награды? - Ульяна резко разворачивается и подходит к Осиповне. - Да ты в каком морозильнике родилась? За палочки рobili, за трудодни. От свету до свету, не валандались как нонче. Вы еще не знаете про приказ от пятого мая сорокового года, не знаете... Я кто была? Не партийка, а сватали, еще как сватали в партию. Начальство у меня во где было, в кулаке! Директор МТС передо мной половиком скручивался, знала за ним грехи с бабой кузнеца Николы Моховенка, знала да помалкивала...

Татьяна, обессилевшая от нажима Ульяны, поудобнее положила голову, закрыла глаза. Домой ей захотелось, в тишину, подальше от этой гроыхающей махины. Да увидит ли когда-нибудь родную сторонушку?

Стоит деревня на высоком пологом угоре, весь небосвод твой, не деревня - пуп вселенной! Утром едва глаза растворил - солнышко от реки, что добрый гость по домам идет; вечером ты с работы идешь, и оно за лес опускается, уставшее, разгоревшееся. С умом старики место выбирали, молчание и покой ценили прежде всего. А лип, лип сколько! Не деревня, шатер зеленый, на эту пору и золотой вдобавок. Какое дерево молчать умеет, кто поймет твою боль и радость? Липа. Уткнись лицом в мохнатую от солнечных тычинок золотую ветвь и жди, когда отрешенно-счастливая деревина заговорит с тобой. А пчелы гудят, гудят...

- Господи, - помолилась Татьяна, умом прижавшись к липе, что стоит с незапамятных времен посреди деревни. - Дай напоследок возможность сена позагребать вместе со своим народом! Дай на угор подняться...

...А тут дождь из облачка никудышного хлоп да хлоп, и защелкает сено, и защелкает в валках, и потянет духом медовым, и капли вскоре обернутся парными струями...

В глубине соснового бора послышались мотоциклетные очереди. Екнуло под сердцем Татьяны: Иванушко. Села на кровати проворно, аж голову понесло от спешки, пропала угловатость и скованность, на лице - безудержная радость.

- Сын? - как бы продлевая счастье старухи, спросила Осиповна, сама заражаясь ее веселостью.

Татьяна утвердительно кивнула. Кто же еще поедет в такую погоду, да на мотоцикле. Смотрела в окно, боясь пропустить самую малость. Мотоцикл остановился под окнами, водитель поспешно слернул с головы шлем, увидел в окне мать, улыбнулся, поклонился. Был он весь в грязи, грязнее самой дороги.

- Хорош гусь, - пропела Ульяна. - Пьян, как сапожник.

- Непьющий он, - с обидой сказала Татьяна.

- Мама! Как ты? - услышали все в палате.

Татьяна в ответ слабо помахала рукой, смахнула набежавшие слезинки.

- Уж прости, не пойду к тебе, видишь, какой я поросенок! Отсюда погаркаю!

И стал перечислять новости, какие накопились дома и в деревне за последние два дня. Рассмеялась Татьяна, представив, как двухлетний правнук ее Мишенька стучит деревянным молотком по прилетной доске улья и просит у пчел меду. И пожалела, когда Мишеньку ужалила пчела, и он лежит под кроватью и плачет.

- Рыбник привез, ешь, да домой пора! От рыбы всякие язвы заживают! Ждем тебя, мама!

Сын пропал из поля зрения, все догадались, что ушел передавать гостинчик. Опять появился, пообещал матери навеститься завтра утром - приезжает в отпуск сестра Татьяна.

Мать пожалела, что сын не поднялся к ней. Хотелось сказать, чтобы Татьяну кормили шаньгами с черничным вареньем - охочая до шанежек.

Медсестра принесла рыбник, завернутый в старинный вышитый плат, положила на стол.

- Хороший у вас сын, - уважительно сказала Татьяне. - Большой души человек.

- Хорошие сыновья материнские горшки выносят, не брезгуют. Орет, как полоумный, - сязвила Ульяна.

Засверкали глаза у медсестры, кулаки сжала, шаг сделала к Ульяне, но сзади торопливо зачастила Осиповна:

- Екатерина Павловна, Екатерина Павловна, телефон! Звонит, или мне кажется!.. Что со столяра взять, не генерал.

- А ты не кидай камня, не кидай! - повысила голос Ульяна. - Эво как сравнила моего сына! Была у него, когда в Ленинграде служил, так хоть он, хоть Дуся будто дверина на пяте: мама да мама, и это поешь, и это попробуй...

- Угощайтесь, бабы, - попросила Татьяна.

Медсестра пошла, но Татьяна убедительно попросила ее отведать.

- Сноха у нас хорошо стряпает. Не успеет из печки вынуть, как ребят кличет, за стол садит. А Ивану - наособицу, пускай маленький, ягодничек испекет.

Ульяна демонстративно выплыла из палаты. Медсестра, Фаина, Осиповна - все как дохнули свежего воздуха, дружно навалились на рыbnик.

- Не обессудьте, бабы, так бы и укусила, да не могу.

Опустела палата, ходячие ушли на просмотр очередной серии американского телефильма. Татьяна долго уговаривала себя поесть. Кое-как села, отломив кусочек, проглотила, потом другой, обрадовалась, что утроба приняла, поддела любовинки. Тут такой жар во всем теле поднялся, что едва успела повернуться к стоящему у кровати тазу.

- Нет, Иванушко, кончился мой сенокос... Сказать ему надо, чтобы рядом с матушкой положил, негде матушке одной, как опришельнице лежать.

Воротились с просмотра Осиповна и Ульяна, Фаина отстала где-то. Осиповна без слов вынесла тазик Татьяны, сполоснула, поставила обратно рядом с кроватью. Татьяна поблагодарила ее одними глазами, в которых блеснули слезинки.

- Долго ли и не перебьют этих всяких мейсонов? - спрашивает Ульяна Осиповну.

- А зачем убивать, пускай живут, - рассмеялась Осиповна. Болтали минут пять. Ульяна все порывалась расправиться с проклятыми буржуями, а Осиповна защищала их как могла.

Пришла Фаина, сразу залезла под одеяло, отвернулась к стене. Ульяна подошла к ней, покачалась, заложив руки за спину, и выдала:

- В туалете пьешь?

Как вскочит Фаина, как закричит, обзывая Ульяну кастрированным быком!.. Только Ульяна невозмутимо хмыкает, идет на пустую койку, садится и говорит:

- «По-женски»... раньше шлюхами таких звали, стервами. Ты, видно, мужиков не отпехивала, коль сами липли? Не отпехивала. У меня тоже муженек - недокундыш бывал, Григорьем звали. Недолго ратился, как стала замечать, что чужой подол нюхает, отворила ворота и пинком под... Не лежала кость на столе - лежи под столом!

Дремавшую медсестру потревожил телефонный гул. На проводе была далекая Чита.

- Алле, алле, больница? Квашенкина Ульяна Сергеевна состоит на вашем

довольствии?

- Да, да! Я сейчас позову.

- Погодите звать, у нее что-нибудь заразное?

- Нет-нет, ничего, завтра домой выписываем. Я сейчас...

- Не надо. Домой сама уедет?

- Сама, сама! Я сейчас...

- Не тревожьтесь, отдыхайте.

Утром пустую койку заняла красивая молодая женщина, страдающая одышкой. Со всеми перездоровалась, спросила, где еще одна больная.

- Прогревается наша знатная трактористка, - засмеялась Осиповна.

- Здоровушая, ходит, руки за спиной и сыном хвастает?

- Она, уродина, - подтвердила Фаина.

Новенькая сгребла в охапку разложенные на одеяле пакеты, тапочки, медикаменты и вон из палаты.

- На крыше жить буду, не с ней, с шальной багулой.

- Бабы, - простонала на кровати Татьяна. Закашлялась, сплюнула в тазик красный комок, отдышалась. - Отхожу, бабы. Ради Бога, принесите кто-нибудь хоть одну веточку липовую.

## ЗОЛОТОЙ

Механизатор широкого профиля Гордей Лосев колет на своей улице дрова. Помахивает колунчиком - что Илюшенька булавой: с протяжкой. Поставит чурку на «попа», приновится, по какому месту садануть, ну и саданет. Другую поставит, дух переведет, на пустынное поле посмотрит, вдоль деревни глазами проедется - и опять вдарит. Раньше, бывало, час не знал как выкроить на разделку этих самых дров, а теперь вольному - волюшка. Седьмой день бригадир за порогом не бывал, а чего ему над душой стоять, коль топлива нет, запчастей нет, а деньги председатель-бедолага кует около Воркуты: маслом сливочным промышляет, копеечку добывает. Не жизнь - пряник медовый. Был на днях государственный человек, где-то около Вологды отирается, мужики и насели на него скопом: это к чему же дело идет, коль колхозы под нож пустили? Помассировал тот человек трехэтажный подбородок, снисходительно-покровительственным тоном принялся вещать, как старый ворон, про союзников перестройки, большие заграничные кредиты, про фермерские рычаги.

- Так это, выходит, кто куда? - спрашивают мужики.

- Да Бога ради! Вот был я в Канаде...

Гордей Лосев со товарищи в Канаде не были, в заокеанскую сказку не

врубались, потому человек отбыл из глупой провинции разочарованным.

На противоположном краю деревни появились две легковые машины. Одна - белая, другая - красная. Из них вышли женщины с большими рюкзаками, мигом рассыпались по деревне. «Эхе-хе, - сдвинул шапку на затылок Гордей, - цыганье пожаловало». На цыган Гордея прямо-таки тянуло. При виде их какой-то бесноватый демон заводил его, как заводят пружину патефона, и не отпускал, пока не разыграет всю программу. Антипатия появилась в детстве, когда старая цыганка увидела на руке матери смерть сына в колодце. Гордей с тех пор панически боится воды, и всякий раз, когда появляются цыгане, его подмывает опровергнуть предсказание. Он не был иезуитом, но это христовальное племя считал паразитами народа.

Весной он брел в ремонтную мастерскую. Осенние колеи выбуханы до пупа; ни дорогой, ни стороной по ноздреватому снегу. Навстречу идут три молодые цыганки и цыган. Ноши у них тяжелые, скрючило их как верблюдов.

- Кормилыцы вы наши, поильцы вы наши, - изображая большущую радость, возопил Гордей - Не иначе сам Господь Бог указал вам путь в нашу пустыню!

А сам норовит поцеловать полновесную некрасивую цыганку с глазами навывкате и носом загогулиной. Фуфайка на нем насквозь мазутой продезинфицирована, подноси спичку - факелом вспыхнет, брось в воду - век не утонет. Цыганка отворачивается, руками его отодвигает, бормочет что-то сердитое на своем языке, а ноша ей мешает, а глина ноги сплелена что цемент - осилил охальник, чмокнул раз, приложился другой; женой бы взял, да сердце другой занято. Держится за женщину, одаривает далеко не изысканный выбор своей нежной улыбкой. Зарделась толстуха, сомлела, маковым цветом расцвела среди грязной дороги, перестала его отталкивать.

- Обносился весь, срам прикрыть нечем, родные вы наши...

Расчувствовался цыган, снял с загривка перинник, начал вынимать товар.

Сбросил Гордей фуфайку прямо в колею, бродни снял, на фуфайку ступил. Отвернулся от дам и брюки - долой. Стоит в одних трусах на весеннем ветру, цыган знай подает, а он примеривает.

- Эх, и добры штаны... а те вон вроде лучше, лучше...

- Бери, бери, золотой, - приговаривает цыганка, поддерживает его за локоть, когда он скачет на одной ноге. Прищелкивает цыганка языком от удовольствия. То ли лестно ей, что мужик ее облобызал, а не подружек по бизнесу, то ли то, что товар пошел, не доходя еще деревни. Все перемерял Гордей, в свое рванье оделся, виновато посмотрел на цыгана.

- Эх, душа моя, все бы купил, да купило кошка отступила.

Пожаром в августовской ночи полыхнули глаза цыгана, гыркнул на толстуху, по-русски обломил матом. Разошлись как подводные лодки, каждый

взял свой пеленг. Оглянулся Гордей - бодро идут, толстуху впереди гонит, дорогу проминает остальным.

Рассказал в мастерской мужикам под веселую ногу о своей проделке, слухи дошли до жены Насти. И появились у нее симптомы аллергии на сивушный запах. Стоило ботнуть стакан водки, как из нее, что из помойного ведра, лились нечистоты. Жена кляла всю непутевую родню Гордея, вспоминала цыганку, предлагала взять шапку в охапку и ехать аж до Магадана. Летом аллергия развилась до трехмерного изображения; гостил старший брат, потом - младший, потом - шурин с Урала, дядя из Киева. Все мясо съели, три ящика водяры опорожнили. Осенью косяком пошли советские, религиозные, государственные праздники, а как отгуляли Николу-зимнего, жена сгребла обеих дочерей и подалась к матери в Каргополь. Гордей против не был: пускай проветрится, но зачем оставила ему стельную корову, которая вот-вот опорожнится... Живет бобылем, злится на жену, потому в избе не прибирает и кошек не гоняет. Затхлость, вонь, запустение...

Колет дрова Гордей, а сам фиксирует, в какой дом сбегали цыганки и как долго в нем пробыли. Тут лихо подлетает к нему белый «Жигуль» и у самых дров придумывает разворотиться. Жж-жжиии - и сидит на брюхе. Вышел цыган молодой, высокий, усы - как два серпа отбитых, позаглядывал под машину, ни здравствуй, ни прощай, командует.

- Толкай, чего смотришь.

Не по сердцу пришлось это Гордею, холодом колодца опахнуло от его слов.

- Черт на попа не работник.

Гыркнул цыган, сел в машину, газовал, газовал - вылез.

- Дай лопату, земляк.

- Какую, мой черный брат?

- Железную.

- Вон в углу стоит... Часа через два обязательно поставь на место.

- Пачему два? Пачему, земляк? - встревожился цыган.

- Осенью я как встряпался тут, меня двумя тракторами тянули.

Не поверил цыган, весь снег выгреб, распарился шубу - романовку на чурки бросил, сел рядом с Гордеем, сказал зло:

- Будь проклят тот день, когда я променял коня на вонючку!

- Твоя правда, - согласился Гордей, - лошадь что: витнем огрел по хребтине - из хомута выскочит, а тарантас выдернет.

- Какой конь был, какой конь! Отец стригунком выменял, беречь завещал, а я... в соседнем колхозе на коня и быка-трехлетка променял.

- Да ну?

- Эх, мало взял... Такой конь!

- Как же это ты облапошить так сумел? Ну и делеяги. Правда, что лошадям

золотые зубы вставляете?

- Клянусь отцом: да! Если бы тот плешивый с пятном на башке не сбежал.

- Вовремя сковырнули. Что, хочешь выкарабкаться?

- Земляк, пожалуйста...

- Шубы не жалко? Обдурить кого-нибудь, чего жмешься?

- Бери, чтоб ее собаки порвали!

- Да не мне, под колесо подложить.

Выехал цыган, выбил из шубы снег. У нее оказались оторванными рукав и воротник.

Подошла толстая цыганка, весенняя знакомка Гордея, узнала его, улыбается.

- Давай погадаю, золотой, что было, что есть и что будет - скажу, все вижу...

- Давай лучше я тебя научу гадать, деньга сама пойдет, - говорит Гордей - Ты вот усатая - за тобой грешки водятся, в изрядных телесах - детей у тебя нет, глаза большие - сердце твое свободно от мужика, любишь визжать и сплетничать, характер покладистый, но вспыльчивый, торговать ты не умеешь, тебе бы по хозяйству управляться - самое то.

- Он тебе сказал? - сердито тыкая в стороны руками, говорит цыганка, ставит перед Гордеем полутощий рюкзак. - Мой муж умер, ясно тебе?

Цыган часто мигает, приподняв густые брови, вопросительно смотрит на Гордея.

- Перестань, у меня на это дар от Господа, - говорит довольный собой Гордей. - Вот покажи, в какой дом ты ходила, а я скажу, чего ты там продала и на сколько.

- Знахарь, - поджимает губы цыганка, - ну вон тот, где собака маленькая, а злая.

- От силы тыщ 25 выцыганила, а продала кофту. Цыганку чуть не хватил апоплексический удар, настолько точно угадал Гордей.

- Душа моя, - говорит Гордей низким придушенным голосом, вожделенно глядя на цыганку, - брось ты эти копейки, займись тем ремеслом, что природа тебя наградила вымой у меня пол в избе - и будешь довольна.

Злой демон опять начал беситься внутри Гордея. Он не прочь разговеться, он все же мужик и все мужское ему не чуждо. Месяц живет без женщины, а деревня - не город, женщины на углу не стоят.

Цыганка говорит что-то цыгану, тот усмехается, пожимает плечами, хмыкает и идет к машине. Она говорит ему что-то горланное, цыган даже не оборачивается.

Не сразу цыганка схватила тряпку и ведро, она как экскурсант, приняхиваясь крючковатым носом, обошла избу, при виде неприбранной постели с простынями жгутами игрово спросила:

- Плохо спишь, золотой?

Гордей осмелел в греховодной страсти, змей-искуситель принялся шептать ему на ухо, чтобы лишка не рассусоливал. Взял цыганку за руку, притянул к себе.

- Не спеши, не спеши, золотой.

Чувствуя себя на небесах от легкого счастья, Гордей слетал в магазин, прикупил винца, колбаски, достал из подполья банку тушенки и огурцы.

- Иди работай, золотой, работай, - попросила цыганка.

И заходил колун в руках Гордея, эдак палица у Илюшеньки не хаживала. Во всем теле он ощущал нетерпение, содомская потребность горячила кровь.

Вспомнил о корове, сбегал проводить.

Притопала баба Шура, пощупала у коровы задние кости, приговорила:

- Скоро отелится, не проворонь. И послед чтобы не съела, смотри.

- А доить, а доить как?

- Руками. Да что тужишь, вроде у тебя доярка на дому.

Баба Шура - красивая полная женщина, лета ее определить трудно, но держится всегда молодой и любит подкузьмить.

Гордей покраснел под смешливым взглядом, вся его фигура превратилась в пустопорожний чучун.

По всей улице шел дерущий нос аппетитный запах, приготовила цыганка что-то вкуснейшее. «Хорошо Настя тушенку варит», - подумал Гордей и засовестился; чужая баба хозяйничает вместо Насти, притом цыганка!

Выпили по стопке, по второй чокнулись. Горит Гордей от нетерпения, забыв про нравственность. Подъезжает к толстухе то с одного, то с другого бока, а она жеманится, ласкать дозволяет, а дальше не пускает. Не приведи Господь, муки Танталя были не под силу Гордею. Он был похож на лошадь, которая видит овес, но не может дотянуться до него губами.

Пришла баба Шура, от порога сказала.

- Пить пей, да ум не пропивай: скоро воды отойдут.

Посидел, сбегал во двор, не висит под хвостом пузырь водяной - и скорее к цыганке. Так часа два мучился. То баба Шура мешает, то к корове бегал.

А ту как застопорило, то копытца покажутся, то назад спрячутся.

- Да что ты в самом-то деле! - закричал Гордей. - Телись! Выпучила корова глазищи, с немым укором смотрит на хозяина. Цыганка смолит сигарету за сигаретой, смотрит «Поле чудес», на приставания Гордея - ноль внимания.

Кричит от порога баба Шура.

- Тянуть пошли, задохнется!

А под окном машина сигналил.

- Ой, меня ищут, - спохватилась цыганка и начала одеваться. Перематерился про себя Гордей, недовольный, поплелся за бабой Шурой.

- Посмотри, посмотри, как бы не слямзила, - шепчет баба Шура. Гордей в сердцах плюнул на стену, пошел вон.

- Смотри, Настя не похвалит. Дойди, пощупай.

А цыганка уже на пороге сама и с маху вешается на шею Гордею.

- Ты сердит, золотой? Ты жди, жди, я скоро вернусь. Смотрит Гордей; вроде, сумка у нее разбухла?

- Ты это... ты куда?!

- Жди, золотой, жди!

И бегом к машине.

Вихрем влетел в избу Гордей, раскрыл шифоньер - сиротливо сгрудились в углу голые плечики, ни шубы Настиной, ни платьев дорогих. Побежал на улицу, выхватил по пути топор из-за топорника. Смотрит, мелькают на другом краю деревни красные огоньки. Изо всей силы всадил топор в стену, погрозил в темноту кулаком.

- Облизнулся? - спросила баба Шура - Думал пощипать, а самого ощипали?

- Во, мычит... ну, слава Богу.

## ГЕНЫ

Гусеничник «сел на брюхо» в пологом ложке. Снегу в этот год накатило до подпазух. Двигатель тарахтит на малых оборотах, тракторист пошел искать помощь.

На тракторных санях «загорают» лесорубы, два мужика, в недалеком прошлом сами трактористы. Постель под ними мягкая - еловые лапы, погода около примет, не очень холодно, не очень и ветрено. Один, пожилой, вечно заспанный, часто зевающий Санко Мучник курит, уткнувшись в ладони, носогрейку-цыгарку, свернутую из окурков. Характер у Мучника - не приведи Господи, когда с кем-нибудь не в ладах, смотрит как петух на зерно, боком да боком, еще и шею вытягивает, вроде как проверяет собеседника на выдержку. Нос что груша кислая, брови брежневские - на переносье сошлись. Другой-женившийся о третьем годе Жорка-скалозуб, некурящий и «закодированный», лежит на спине в батьковой шубе, провожает глазами ползущие с полуночной стороны тучи. Жорку «урезали» в правах год назад: придумал тещу домой отвозить, да наскочил на милицию. Крепонько был под градусом. «Зато, мужики, уж теще унорови-ил, - Жорка под настроение батька родного за пятак продаст. - До крыльца доставил. Не ЯК-40, мамаша, но без пересадок и нашатыря. Довольнешенька, ну что боярыня Морозова, когда ту в ссылку повезли. Тестюха выскочил, в ноги падает, сто «спасиб» и телушку в придачу. Берем мы с ним мамашу как мину противотанковую и несем в горнищу...»

Мучник неопределенно смотрит куда-то в поле, будто запоминает следы, что напетлял тракторист.

Привезут они сегодня хвою на скотный двор или не привезут, большого значения для него не имеет, у бога дней не решето: авось завтра снег не растает. Мысли у него длительные и тягучие, вызываемые «несправедливостью» из-за распроклятой колхозной жизни, а также о тупоголовых начальниках, о летней грязи, зимней стуже и дохлых заработках, они угнетали до крайней степени равнодушия ко всему на свете. Будь он за рычагами трактора, разве допустил такое, чтобы трактор закопался до фар? Вряд ли... Тракторист, вчерашний школьник, круглый, миловидный, узкоплечий, не знавший большого физического труда парнишка потоптался около трактора, на мужиков виновато поозирался - ни который не пошевелился, - и поплелся искать помощь. Почему Жорка не прыгнул с саней и не подсказал салаженку, что отцепи сани, дорогу промни в снегу хорошенько, тогда и дергайся? А потому, что брат этого салаженка служит в милиции, и именно он свой, из деревенских, ярее всех «урезал» Жорку в правах. Усердный служака, такой законник, что другие милиционеры против него овцы. Прямо заявил Жорке: «Походи с вилами, дружок, вину прочувствуй». Жорка мужик не вредный, но кому приятно быть безлошадником? Бригадир помыкает - где туго, туда и Жорку посылает, инженер - ноль эмоций, жена как на подлеца смотрит. Поневоле «закодируешься», без приправы съели. Теперь, когда подвернулся случай, хоть как-то отомстить милиционеру, неочистившаяся от скверны душа эгоистично обрадовалась: учись, молодой, впредь умнее будешь.

В холодном раскатистом воздухе вибрировал монотонный шум работающего двигателя. Верхом поля, по прежним межам, будто шерсть на кабаньем загривке, просел частый ельник. Несколько старых, битых невзгодами елей, испачкав подолы нарядов мутью света, пестуют молодую смену.

- Поди-ко, с час околеваем, ворчит Мучник. - Знатье - тулуп не по мешал бы. - Кашляет, пожимает плечами с морозу. - Найдет, а?

Жорка молчит. Мучник, уверенный, что парнишка помощь не сыщет, чтобы усугубить цену своему мнению, говорит с некой торжественностью:

- Нас-то по боку! Молодым везде дорога, как же.

Жорка рассмеялся, спросил с намеком:

- Не наломался за жизнь-то?

Нутром чувствует, как на Мучника находит вдохновение, лапы под ним будто ожили, и дышит с присвистом.

- А было пороблено! И пыли поглотано, и в кулаки подуто!

Помолчал, зевнул. Подумал: разве можно теперешнюю жизнь сравнивать с той, что была лет тридцать назад?

Мучник сел, ни о того ни с сего говорит:

- Спорнем, что Пашка трактор не пригонит?

- Че спорить, пригонит так пригонит, на нет и суда нет, - лениво отвечает

Жорка.

- А не пригонит! - с жаром заявляет Мучник. - Лопату принесет.

Жорка распрямился, с интересом смотрит, как Мучник рукавицей водит по носу.

- Дурак он, что ли...

- С моей стороны два пузыря водки, а с твоей?

Жорка хмыкнул, подумал, рубанул рукой воздух.

- Шубу батькову под гусеницу брошу, что трактор пригонит!

Колонули по рукам.

Мучник устал и глаза в одну точку, беззвучным, глухим голосом, каким говорят люди, окунувшись в свое прошлое, говорит:

- Прадеда Пашки Полозом звали. Износу, значит, нет человеку. Сухопарый, костью широкий. На Михайлов день умер. Я уж в школу ходил...нет, не ходил. Помню на стене слово матерное было углем написано, так я то слово на другое лето изучил. Старуха сидит обезумевшая за углом, космы седые распустила... меня послали ей воды ковш снести... Полоз раз в водополе с мельницы от Петрухи Бороды правился, ну и не успел, Шарденьга наволоки потопила. Полоз тулуп на талый снег бросил, мешки с мукой на тулуп склал, - шесть мешков было, - порты окинул и лошадь на другой берег перевел. Четырнадцать раз туда-сюда перебрел! Вода местами по грудь, пришлось мешки на голове носить. Это какую силу надо иметь!..Потом лошадь за оглоблю подхватил, и бегом, и бегом, вместо пристяжной бежит...сказывали, лошадь не долго прожила, загонил. Вот я и подумал: не пригонит Пашка трактор, не станет никому кланяться. Это нынче по научному генами зовется, от Полоза перешли.

Хочет Жорка, не верит.

- Не веришь, так и не верь, - зевает Мучник.

Лежит Жорка на лапах, молитвенно сложил на груди руки, смотрит в небо. Лучи солнца пытаются пробиться сквозь облака и порадовать землю теплом. Облака что ватные подушки, такие подушки, только поменьше, из льда и снега, не один день плывут по весне по Шарденьге...

- С лопатой! - Восхищается Мучник, тычет Жорку под бок. - Хе-хее, не жалко шубы-то? - Открылось сердце у Мучника, Жорка ему сейчас друг наипервейший. - Они такие, Полозята. - Полез в карман, вытащил несколько окурков, неспеша разложил на рукавице, из другого кармана достал газетный лоскуток, стал лепить сигарку. - Гусеница рванет твою шубу и тю-тю, поохал батько да и чихнул себе на здоровье.

- Столько перекидать... - встает на колени Жорка. - Перекидает, - в растяжку говорит Мучник. - Гены, брат, чувствуются.

Прошло с полчаса. Жорка зазяб в шубе. Скосит глаз - парнишка из-под трактора швыряет снег в одной рубашке, - аж всего трясет. Мучник ежится, зевает больше обычного.

Дернулись сани взад-вперед, ожили мужики на возу. Трактор взрычал, выполз из снежного плена. Парнишка отцепил сани, поехал торить дорогу.

- Молодец! - похвалил его Жорка. - В другой раз не втряпается!

- Оно так, что через голову не дошло, то через руки приходит, - поддакивает Мучник.

Подъезжает трактор к саням, мужики услужливо держат наготове прицепные тяги.

Сцепились.

- Уважаемые, - мотнув головой и даже прихлопнув валенками как запраский юнкер, сказал парнишка, - по технике безопасности перевозка людей на санях запрещена. Потому, - выкинул руку в направлении деревни. - Прошу.

Брови на лице Мучника вытянулись, как прелея веревка, от подобной наглости. Жорке стало немного стыдно. Ему хотелось пожать парнишке руку и сказать, что толк из него выйдет.

- Скорее! - крикнул Мучник, дергая Жорку за рукав шубы.

Жорка сорвал с себя батькову шубу, кинул под гусеницу.

Пулей вылетел из кабины парнишка, откинул шубу в сторону. Девичье лицо его было любопытно и насмешливо.

- Не храбрись! - закричал на него Мучник. Поспешил к саням, стал проворно карабкаться наверх.

Секунда, насквозь пронизанная насмешливым, жестким взглядом парнишки, обожгла Жоркину душу. Парнишка, как истинный хозяин положения, неспеша выдернул шкворень (отцепил сани от трактора), зачем-то покрутил в руках и со шкворнем сел в кабину. Ррр-рр - и две пенящиеся под гусеницами борозды снега.

- Ну-у! - запрыгал на возу Мучник, грозя кулаком. - Ну-уу!

Слез вниз, отряхнулся.

- Паразит какой настырный... ладно тулуп не взял, тащи бы теперь.

- Говорят, летом в военное училище поступать будет, - смеется Жорка

- С такими генами я бы портфель у министра носил, - скосил голову набок Мучник. - Пошли, околел весь.

## «СТАТУЙ»

раскалились гроздья. Хвалится рябина до поры до времени; навалились клесты - была радость, осталась усмешка. За клестами потянулись подбирать объедки с богатого стола неторопливые стайки маленьких птичек, а когда селенцы докапывали последние картошки, в голом поле одинокими комочками качались на былинках легонькие пташки. Ясные дни сменились синевато-серыми, потом и вовсе начались дни бесцветные и беззвучные. Дождь и дождь...

Сумрачное небо придавило землю водянистой периной, непроглядные тучи бородами висят над волнистыми перелесками. Изредка перепадает снежная крупка, рушит наземь багряный лист. Неприятный холодный ветер невольно заставляет путника тянуться рукой к носу. Блестят залитые водой до краев дороги, набухла земля, пригорюнилась в тоске природа - осень новоселье справляет, ветры да слякоть в красном углу сидят. Дождь сек вчера, лил ночью. Ночью была темь, хоть глаз выколи.

Джабаров спал плохо, вздрагивал всем телом и скрипел зубами. Мерещился летающий в лаптях старик; несколько раз драл горло петух... в сумерках, из какого-то глубокого ущелья, вымахнул зверь и погнался за ним тяжелыми прыжками. Чудовище как бы ныряло в глубокие лужи на дороге, фыркало, прыжки все сильнее и сильнее... страх напал: как крикнет Джабаров! ... Проснулся, нащупал край постели: в комнате он, и никто не гонится, а сон, как живой, разливается по всем жилам. Только задремал, как под самым окном бурным лаем зашелся хозяйский пес. Джабаров пружиной слетел на пол, споткнулся о табуретку, щелкнул выключателем... Уф! Казня себя за страх, распахнул окно, подставил голову под косой дождь. На свет из поникших кустов смородины прыгнула собака, преданно завилыла хвостом.

- Чего лаешь?

Почему спросил, того не знал сам, скорее всего, был рад сознанию действительности.

Джабаров - заведующий подсобным хозяйством Мюйгинского леспромхоза. По-русски говорит натужно, старательно подбирая слова. Когда шофер Сашка представлял сидящему на завалинке деду костлявого, нескладного парня, робкого и на вид тупого, старик еще глубже натянул на голову шапку и спросил, подставляя к уху ладонь:

- Татарин, баешь?

- С Кавказа?

Сашка рывкнул так, что дед отшатнулся. Сашка смекнул подковырку деда, оправдался перед новым управляющим:

- Глух как чурка.

Все в старике домовито, чисто и прочно: и расчесанная белая борода, похожая на раздутый ветром хвост курицы, и намазанные дегтем яловые сапоги, и тяжелый пиджак с тремя медалями.

- Экая статуя, - пробубнил дед под нос, в свою очередь рассматривая

невиданные им тупоносые красные башмаки горожака.

На это заключение деда Сашка шаловливо погрозил пальцем.

- На постой берешь? - поинтересовался старик.

- К нам!..

- Надолго?

Сашка неопределенно развел руками.

Дважды выпускник азербайджанской аульной школы пытал счастья в Бакинский институт, но для поступления нужна была взятка, которой у родителей не было. Узнал, что в Вологде принимают без взяток и даже без экзаменов, рванул на Север в техникум руководящих кадров. Получил диплом агронома-организатора, при распределении угадал в богом забытую дыру, именуемую подсобным хозяйством леспромпхоза. Полста верст по железной дороге, кругом лес да вырубки, лоси ходят по деревне, мошकारа ест поедом. Придумаешь умирать - ложись смело, пока врача привезут - ты уже на том свете. Все здесь Джабарову претит, и мужики и ребятишки ненавидят его, а он их побаивается.

Он не ожидал встретить такой прием, его поразило равнодушие здешнего народа к его особе, точно он не начальник, а турист. Некоторые женщины даже прямо спрашивали:

- Надолго в ссылку-то?

По рассказам Сашки, управляющие долго не заживались, их или выпроваживали под зад коленкой, или сажали в тюрьму.

Джабарову с первых дней стало казаться, что трактористы и доярки умнее его, что он здесь временно и для всех чужой; люди кивают головами, а делают по-своему. В разговорах сквозит ирония в его адрес, они как будто злорадствуют его ненаходчивости. Молодому организатору хотелось стряхнуть непосильную ношу, потому он побывал у директора леспромпхоза, только хитрый директор по-приятельски многозначаче заверил:

- Ради меня, душа моя, только два года протяни, а там я на пенсию. Это кресло, - чуть не сажал в него Джабарова, - не всем по заслугам. Ты подсобку подними, душа моя...

«Поднимешь», - горько думал Джабаров и вспоминал, как ругал ребят за поломанный на сушилке электроштит. С того дня бесенята так и норовят напакостить управляющему, сыплют через окно муравьев, суют под подушку лягушек. Что ребятишки, взрослые в день полочки берут за горло: почему мало начислил?!

- Мала работать! - петушился управляющий, хотя понимал, что он находится в постыдном положении и как-то поддерживает свою пригодность к делу.

- Мы?! - орали мужики, редко трезвые по такому случаю. - Гони три сотенные! Мы рабочий класс?

Сдуревших кое-как унимали, но Джабаров чувствовал себя настолько подавленным и бессильным, что на завтра весь день лежал в постели. Пять месяцев он здесь и пять месяцев как милостиню просит: пожалуйста работайте.

- Сволачь люди! - заявлял он Сашке, не находя себе места.

- Зря, - отвечало сонно-насмешливое лицо Сашки. - У нас народ справный.

- Много-много болтать, мала-мала делать!

- Вот тут в яблочко, болтать мы мастера. Ладно, давай поменяемся местами. Ты деньги любишь? И мужики деньги любят. Тебя спрашивают? И их сильно не спрашивают. Тебе приказывают? Ты приказываешь. Директору давай продукцию, тебе давай продукцию, а что да как - давай и все. Народ-бараны, ты такой же баран...

Джабаров сделал вид, что пропустил мимо ушей «барана», хотя так и хотелось поставить на место чересчур умного шоферюгу. Сашку он уважал и ненавидел. Видел, что тот может крутить не одну баранку.

Сашка вел разговор с хитредой, со смешком, вопрос задаст и вытягивает ответ. В кабине его молоковоза полно журналов и книг, он как намеренно изучает их, чтобы ущемить управляющего, обескуражить открытием. С Сашкой постоянные стычки; горячий горец натывается на холодную стену, шипит и уползает во-свояси.

Утром управляющий распределяет людей по участкам - все «за», слова поперек нет, через час-другой в поле и на покосе редкая живая душа копошится. Станет узнавать - кто за малиной удрал, кто ивовое корье дерет, кто от нечего делать на берегу реки лежит.

- Он... он лодыр! - кипятится управляющий, а Сашка поправляет:

- Не совсем. Да, под косилкой спал, но почему? Запчасти есть? Нет. Они в леспромхозе за пятьдесят километров... Хорошо. Я везу молоко и забуксовал. Молоко скисло. Что с ним делать!.. Правильно, вылить и баста. В другой раз я пьяный сквасил... правильно, вылить и баста. В такой стране как наша всего до дури.

- Он спал? Он нэ работать! Он шакал!

- Чуть-чуть ошакалился... Дед, - Сашка подключал старика, - поясни товарищу, что такое подлинная демократия и социальная справедливость?

Джабаров дотянулся рукой до приемника, включил родной Баку. Как по заказу загудел орган, что тяжелые волны моря лениво вздымают зыбь, зашелестел песок... «О, мой аул!» - Джабаров чуть не заплакал.

Мысль о побеге он высказал хозяину квартиры, этому седому медведищу в человеческом облике, тот иронически хмыкнул ноздрями. При этом серые, наблюдающие, сами себе на уме глазки, сказали больше, чем слова. Уж не потому ли и летает старик ночами в его распаленном мозгу!.. Стекла чеканил дождь, музыка далекой родины была так мила и так сладка.

Родина у каждого своя, и у старика этот неприветливый край тоже родина, верно, которой нет дороже остальных благ земных... Как вдохновенно старик рассказывает про старину, какая жалость слышится в нем и обида на действия властей...

Среди диких суземов да троп зверинных, спрятались от мира три деревеньки. В какую сторону не глянь - лес до небес. День иди, два бреди, одежду оставляй на выворотнях, до ломоты в шее задирай голову - шумит море зеленое, качаются в облаках вершины: лешего царство. Лога с обрывистыми берегами, болотца с ржавой осокой, комариное воинство... Приютились деревушки, что грибники в страдную пору заманисто разошлись: одна захитрилась, с тяжелой ношей сунулась в березовую гриву, другая с полной котомкой на солнцепеке разморилась, третья обиделась, прыг да скок, изба-да другая, сбежались хоромины в кучу, стоят, думают...

Перед колхозами у каждой деревеньки была своя охотничья и дозорная сторона, общей была земля, отвоеванная у тайги, общим был мир, свои неписанные суровые законы. Деревни три, а крови одной: от разбойного корня Митьки Шестака выросли, потому и фамилия сплошь Шестаковы, различают друг дружку по прозвищу. Было время, ватажкой отправлялись на сарафанный промысел, отбивали девок подальше от гнезда, а уж умыкнули - тут наша. Приглядывали девок телом ядреных, не всякая женщина вровень с мужиком потянет. Жили селенцы да жили, свои праздники справляли, своему богу молились, да открыли их в тридцать шестом году. Схватились власти за голову: частный капитализм процветает на двадцатом году советской власти! И послали в селение красная пролетарца Мишку Пахарцева. Характеры у селенцев покладистые, мрачных на лицо да дерзких на язык не много было, потому околхозил Мишка их в один присест. Сказал, чтобы всех животных тащили до кучи - не поперечили, велел амбары рубить - скотина покорная. Мишка глядел исподлобья, с жестокостью, постоянно обертывался, вроде как проверял, не свалился ли картуз со стриженной головы. Затылок у Мишки был как рак живой, клешнями боркающий, то под себя погреб - добычу чует, съежился - жди кары. Краснобаем его прозвали за то, что речи держал малоскладные, а рыкал сильно. Он даже кулаков нашел и отправил их в далекий град Вологду. Выявленные кулаки пошли с охоткой, вроде как своими костями откупались у властей за родственников. По первому снегу «эксплуататоры» в изношенных лаптях воротились домой с вестью: опоздали пострадать за мир на целых шесть лет. Мишка, к тому времени настолько себя барином почуял в лесной вотчине, что велел девкам попеременно навещать его ночами. Такого нахальства селенцы не стерпели, да и не такие они затюканные были, как Мишке показалось.

Состоялся суд, свой поп наказал поминать в раю их, земных, свой палач пригнул красный затылок. Мишку хватились ближе к весне, да разве найдешь,

если он плюнул на селенцев и ушел на Николу Зимнего ближе к людям?

Война мелкочейным неводом прошлась по глухим местам, мало мужиков на семена оставила: оратая четь да добытчика треть...

Говорил старик, а Джабаров видел перед собой картину «Утро на Куликовом поле». Стоит домотканная Русь, суровая и вольная, покорная и не покоренная, над полем густой туман... «Хорошие времена были! - с радостью в сердце восторгается он. - Все просто, все понятно. Как поздно я родился!».

## 2

Плохо спалось в эту ночь и Ивану Демьяновичу Шестакову. Его мысли, похожие на бег заиндевелого мерина, бежали и бежали, как селезенкой екая на интересных местах; этот бег проносил его по длинной дороге жизни, то переходя на шаг, то убыстряясь до жгущего, захватывающего дух ветра...

- Сказывай, - судья который раз подтолкнул мельника Илью.

- Че?

- Че было, то и выкладывай.

- Ну это... не было.

- Экой ты, паря, статуй.

Слово «статуй» судье нравится. Так он именует подсудимых до оглашения приговора, а после, в зависимости от степени наказания, или прощал вовсе или добавлял:

- Рожа ты арестантская, суший статуй.

Это значило, что подсудимый полностью не оправдан и будет ходить под контролем еще продолжительное время. У самого судьи рожа похлеще арестантской: кудлатая большая голова, в которую, как клин, вгнали вместо носа толстый сук и все лицо вгустую оплевали шерстью, оставив голыми щелочки глаз да маковку того клина. Выпуклая колесом грудь, ноги - коротыши, сам что вдоль что поперек; одно слово - Обрубок. Иван Демьянович карает виновных давно, поднаторел на этом ремесле. В своем углу Обрубок - олицетворение крепости и незыблемости лесных законов.

- Марья, - судья вызвал к столу бледнолицую высокую женщину с дитем на руках. - Говори.

- Вот те истяной хрест, Иван Демьянович.

- А девка? - судья погладил изуродованными пальцами высунувшуюся из-под шали детскую ножку.

- Федора, истиной бог! Глянь, глянь... вылитая!

- Застудишь... Настасьей назови.

- Протестую! - рявкнул с лавки чуть рябой строгий мужик с широкими плечами. Растолкал плотно стоящую публику, подскакал к столу, помогая костылем. - Не моя! И все на том!

Молодка втянула голову в плечи, загнанным зверьком уставилась на судью.

- Оно, Федор, так. Мало ли чудес на свете... а обличьем, ну точь-в-точь матка твоя, покоенка Настасья.

- Опупел? Меня в июле сорок первого на фронт угонили, а сейчас сорок четвертого ночь!

- Право не знаю, - бубнит судья, - Ну, Марья, что скажешь?

- Иван Демьянович! Люди! - заголосила женщина, прижимая к себе ребенка. - Разве путная баба позарится на горбатую облизьяну? Сто лет в бане не бывал, да он дохляк, против моего Федора!

В толпе хихикнули.

Марья высморкалась в подол, со злостью толкнула озирающегося мельника:

- Што оканунился?

У мельника прорезался голос, оскорбленный в мужских достоинствах он затараторил сбивчиво про лаз на сеновале, про муку и прочее. Присутствующие поняли: был грех.

- Сонную взял! - вывернулась Марья. - Я от Федора письмо получила, редела да редела и уснула без сил, а этот...

Идет разбирательство, после чего Иван Демьянович выносит приговор;

- Бабу, Федор, надо простить. Видишь, как этот статуй ом-манул?

А статую... правильно, врежь, коль ловко попадет. Илюха! От мира наказ: чтобы летом лава через реку была! Кто против, миряне?

- По совести, - кланяется толпа.

### 3

Стукнула дверь, по полу протянуло сырым воздухом: старик будил квартиранта.

- Самовар свистит, начальник.

Первые дни Джабаров понимал эту фразу как трогательную заботу, потом понял, что старик намеренно гонит его из дома, а в последнее время в приглашении чудилась прощально-издевательская нота.

- Сашка, - дед тормозит другого постояльца, - вставать пора. Целую ночь шлялся, паскудник ты эдакий... кому говорю?

- Как ты мне надоел, как надоел, - ворчит Сашка.

- Доживешь... вспоманешь, да поздно будет.

Джабаров рассеянно посмотрел в окно, нахмурился. Если подумать, сон был вещим... и стал собирать чемодан.

За дверью послышались шаги: Джабаров обернулся. На пороге стоял улыбающийся Сашка. И Джабарову стало веселее, проще, он даже

почувствовал себя очень нужным людям. В Сашке, таком же крепком и бодром, как дед, виделась неукротимая жажда жизни.

- Лыжи наострил?

Сашка подтолкнул с прохода тощий чемодан.

- Поеду, - кисло улыбнулся Джабаров.

- Пошли, чайку попьем и обмозгуем.

Дед придвинул к себе стул, сел к самовару, спросил Сашку:

- Батяка не видел?

- Ушел с Мироном Бородкой лесовать!

Сашка с дедом живут вдвоем пять лет. Мать померла перед самым призывом в армию, отец перешел жить к тетке Настасье, «крестнице моей», как зовет ее Иван Демьянович.

- Поехал вот! - крикнул через стол Сашка.

- Скоро... этот уедет - другого кота привезут.

Джабаров упер на Сашку глаза, твердо сказал:

- Теперь ты будешь управляющим.

Сашка отодвинул от себя стакан с чаем.

- Охо-оо-хо, дед, я - управляющий!

Сашка энергично тряхнул головой, стукнул себя по коленям:

- Сочту за честь!

Он развел руки, как бы забирая в объятия и самовар и сидевших за столом:

- И все мое!

Лишь на какой-то миг лицо его одухотворенно преобразилось, почувствовалась нежная любовь к чему-то, но это чувство лишь всколыхнуло нечто затаенное и пропало.

- Спасибо, но мне без портфеля лучше.

- А мне он нужен? - жалобно спросил Джабаров.

- Папе римскому, он и нужен... дед! Поясни товарищу, сколько у нас правителей перебивало!

- Што лихо считать... третий десяток разменяли.

- Во! В другой стране президентов столько нет. А ты рули, у тебя получается и притом здорово.

У Джабарова потеплело в груди: и директор, и Сашка убеждают его в том, во что он сам не верит. А может, смеются!..

- Не вру, честное слово. Понимаешь, народ к нехорошему быстро привыкает, вот он и полюбил генерала Шаталова. Когда-то будет и генерал Хозяинов, да не родился он. Разве твоя вина, что подвели нас под монастырь новоявленные боги? Не сердись на людей, какой ездовой - такие и кони. Дед, видимо, слышал это, потому поддакнул головой, усмехнулся горько:

- С тридцать шестого как клопов давят, всяк в свой угол тащит да давит.

Того дня Джабаров не уехал. Что-то переломилось в нем, он как застеснялся слов старика, забыл о дезертирстве.

Джабаров ходил по унавоженному выгону, носками сапогов раздвигая бурую жижу, который раз считал стога сена. Летом он настоял на своем: сено было вывезено с покосов и обметано у фермы. Была в том подсказка Сашки, но Джабаров на своем хребте вынес это сено.

- Эгей! Начальник!

Из дверей скотного двора кричала по-мужички широкая в кости доярка Настасья, прозванная Мельничихой.

Управляющий шел, ощущая под сердцем тревогу. Опять высобачит его эта скверная женщина, прилипнет к нему, недовольная существующими порядками. С лица доярки капал пот. Умытое лицо с белыми крупными ресницами казалось похожим на святочную маску.

- Заболела я, в больницу ложиться придется,- смиренно сказала доярка.

- А коров?

- Смешной какой, уж не с собой ли мне их брать прикажешь? А коль сдохну в одночасье, тут что запоешь?

Для управляющего это был удар. Женщин в селении немного, да и не так-то просто заманить какую в доярки. На ферме механизирована одна дойка, остальные работы с плеча, так что желающих «трубить» нет.

Пошел управляющий к остальным трем дояркам, стал уговаривать совместно заменить Настасью, а те и слов не подпускают.

Джабаров пришел в ярость, крикнул ругательство на родном языке, но женщины как не слышат: стоят кружком, опершись на вилы, и говорят между собой.

- А комбикормов сколько вагонов дадут? - крикнули нервно прохаживающемуся по проходу управляющему.

- Не знаю!

Джабаров, опять с подсказки Сашки, дважды осаждал директора леспромхоза, только хитрый директор доказывал ему другое: под комбикорма нужна была добавочная древесина, а она с каждым годом все дальше и все дороже.

- Не знаешь, так кто знает? Каким мы лучшим кормить-то будем?

- Таки? - вспылil Джабаров. - Лэтом ви гуляли, лэтом ви спали! Лэтом вам не нада карма, вам зима нада карма!

- Слышите, бабы? Как заговорил... А вот бросим все, не пойдем на работу, запоешь матку-репку!

- Черт с вами!

Джабаров раздул ноздри, не мог остановить злого, бегающего взгляда и с особой чеканкой сказал;

- Савсем нет палучки!

- Испугал... С нами черт, так и с тобой черт!

Пришел вечер. Не мелькают огоньки в окнах: отключился ток. Брел Джабаров навстречу ветру, с трудом выдирая ноги из раскисшей хляби. Глубоко распахнулась черная тьма, шумит по краю поля березовая чаща.

Сашка не пошел с ним на подстанцию, присоветовал:

- Ты электрика гони, пускай промнется. Служба у него не бей лежачего.

- Дармоеды!

При свете огарка дед возился с фонарем, державка стекла не слушалась плохо гнувшихся пальцев.

- Дед, поясни пожалуйста, кто в нашей стране дармоед? Крепостной мужик, что уже получает паспорт, или столоначальник?

На просьбу внука дед перематерился, а Джабаров выскочил из избы, хлопнув дверью. «Пустозвон!» - ругал он Сашку, пытаясь нашарить бетонные столбы. Чиркая спички, ползал к щиту, определяя, какой сгорел предохранитель; сунул в гнездо подходящий «жучок». Включил, постоял, послушал: сеть гудела ровно.

Скотный двор встретил управляющего противной и теплой вонью. Коровы повернули в его сторону рогатые головы, на все лады затянули голодную, хоть святых выноси, песню.

Он стоял, как островок среди клокочущего моря, перебирал пальцы, ломал их, хрустя суставами. Как он проклинал всех и все!

Доярок все не было.

«По домам не пойду!» - твердо решил он. Поддал ногой сваленные кучей грязные мешки из-под муки, стиснул в бессилии зубы.

Теперь он окончательно решил уехать и ругал себя за утрешнюю слабость. Против него были все: и хитрый директор, и этот словесный консультант Сашка, и нахальные трактористы, и эти... женщины. Кто бы мог подумать в их ауле, что женщина может кричать на мужчину! Ночевать он надумал в нетопленной кочегарке, это для него было меньшей мукой, чем сидеть рядом с ненавистным Сашкой и слушать дурацкие поучения... и, подойдя к двери кочегарки, услышал смех и потом голос Сашки.

- Поняли, поняли в верхах, что загубили крестьянство, вот и закричали о возврате земли мужикам. А нам надо? А с другой стороны: берем двор, землю нашу дедовскую и хозяйничаем, как наш корень до несчастного колхоза жил...

- Женись-ко, Сашка, так этой дури в голове меньше будет.

«Не ушла в больницу?» - обрадовался Джабаров, узнав голос Настасьи.

- Я с мужиками толкую, нельзя так дальше. Леспромхоз до наших бань лес вывозил, а мы до того обленились, что сказать лень. В невольниках нас, бабы, держат, как на цепи сидим...

- Договоришь ты, смотри, упекут, куда ворон костей не носил.

- Договор заключим, например, на триста тонн молока, а надоили триста пятьдесят, - пятьдесят-то наши. Барыш налицо, как порешим- так и будет...

«Он не пустозвон» - Джабаров жадно слушал.

- А Джабарова-нацмена куда денешь? Тот барыш считать?

И взрыв хохота.

- Смех смехом, бабы, а он парень крепкий. Трудно ему с нами. А что, я бы его в артель взял, рука железная.

Джабаров восторженно, на цыпочках отошел от двери. Он почувствовал, как волны благодарности к Сашке расходятся по своему телу. Он вырос в одну минуту, окреп, почувствовал необыкновенный прилив сил.

Прошел в аппаратную, включил вакуум-насос, схватил из ванны первый попавшийся доильный аппарат и побежал с ним в край двора.

- Эй? - окричал его Сашка, вынырнув из-за угла. - Сначала накормить не мешает, потом за сиськи дергать?

- Гля, - изумленная Настасья остановила заспешивших баб, - статуй, а горит в нутрях-то... с понятием.

## БОЖЬЯ НИВА

Осень. Поздняя ночь. Ремир Шебалин откинул с себя теплое ватное одеяло, сел на кровати, обхватив голову руками. Не спится. Бежит от него сон, вроде и тревог особых нет, так, чепуха на постном масле. На улице шалит непогода, дом как пошатывается от резких толчков ветра, на крыше около печной трубы копошится безрукий, простуженный печник. В смежной комнате похрапывает во сне жена. «Выводит, - невольно завидует ей Ремир, - как же, уробилась, пустое мясо. Всей-то работы до магазина сбродить... Михайлов день скоро. Когда и приморозит, лихо на грязь да жижу смотреть стало. «Вспомнилось другая осень, такая же паршивая ночь... Только что умерла мать. Лежит холодная, худая, с посиневшими губами и веками, с головой неестественно пригнутой на грудь. Ремир с младшим братом стояли около матери, брат дрожал всем телом и щелкал зубами, устремив на мать большие испуганные глаза. Сидела за столом тетка, подперев голову кулаком... «Брата на кладбище так и не могли уговорить поцеловать маму в последний раз... Последний раз!» - как ножом по сердцу хватил этот «последний раз».

Перед смертью мать умоляла Ремира позаботиться о брате. «Всю жизнь я терпела, Ремирушко, здоровья на колхоз не берегла, одни остаешься... деревня в защиту не войдет, на себя надейтесь. Только не отчаивайся. Я не раз, бывало, о веревке думала, да Господь в последнюю минуту остановит, на вас, голубчики мои, укажет...»

Ремир подошел к окну, легонько отодвинул штору, стал смотреть в

темноту ночи, кожей чувствуя холод улицы. «Ровно кто-то кого-то со свету сживает». Едва промелькнуло такое сравнение, вздрогнул всем телом, руки раздернули шторы до косяков. «В такую погоду... взволнованно подумал он, пристальнее всматриваясь в левую сторону окна - по линии косяка проходит задний угол гаража, а в гараже «Девятка», радость под занавес жизни. - Да нет, струсят наши тюфяки. Завидуют, понятное дело. Еще бы: от матки с братом остались нищими, а нынче кто со мной потягается?» Вздохнув и задержав дыхание, медленно выпустил из легких воздух. Тут ему показалось, что угол гаража так осветился, точно огненная ящерка пробежала и хвостиком вильнула. Прищурил глаза. Свет пропал, но с улицы послышался тугой хлопок. «Выйду сейчас... - соображает он, чувствуя, как завлажнела голова. Он разом ослаб, что было не свойственно его натуре, рука искала на поясе охотничий нож, хотя стоял в одних трусах. - Выйду да сзади... Бутылки с бензином бьют... А если то свет от горлышка бутылки? Немало их сосед подлюжный за гараж мечет... Да нет, темно же, какое горлышко».

Ремир убеждает себя в том, что наши мужики храбры из кухни ухватом грозить банкирам да олигархам всякого пошива, сказать в открытую - кишка слаба. «Зря всполошился. Народ, конечно, никому не верит, власть клянет, но решиться на поджог? Чего они меня палить станут, палить надо Кремль». Ремир возвращается на кровать, сидя вслушивается в ночь. «Ровно битва идет, ровно кто-то кого-то сживает со свету и гонит, погибели ради. Голосок-то у беглеца какой-то писклявенький, разорванный, Васька Кудлашенок да и только! Ишь, жалобиться побежал районному прокурору. Так зря, Вася, и горло настудишь, и подошву стопчешь. Защитит тебя прокурор... Нас с братом защитил, собака! Замерзали, двести кирпичей председатель не дал на маленькую печку, кипятилку в свинарнике делать важнее... И погоняю я тебя, ох, погоняю, сын счетовода... Ты, поди-ка, ни сидел в тулупе перед печью, ноги в устье засунув. С большого ли ума перед корреспонденткой районной газетенки выпендриваться стал? Ничему-то тебя тюрьма не научила. И все потому, что вырос на белом хлебе, горе не знал. Я, видите ли, сор колхоза, враг. Дожили... мама как знала, что никто в защиту не пойдет, волки мы. Дожили, инженеры для них сором стали... Ну, чего встал, бежи, - понукает Ремир того, с улицы, голосом похожего на улепетывающего Ваську. - Желчь пошла? Или поджидаешь с колышком в руках?»

Включил на столике, рядом с кроватью лампу, поднес к лицу зеркало. «Пугачевы XI века...». «Жердину через рукава просунем, руки свяжем, слохнешь, не выйдешь из лесу!» Господа на босу ногу, своих баб страшайте...» - И улыбка благодушия, приправленная бусинками живых, располагающих к доброте и пониманию глаз, застыла на сытом, лоснящемся лице. Ремир разглаживает свои пышные усы, выпячивает и втягивает губы. «Суд, ребята, принимает во внимание многое. Вот ты оскорбил меня, Василий

Романович...». «Хрен докажешь. Нет свидетелей». «Это ты врешь, дорогуша. Сейчас заверну к твоему соседу, выпишу ему билетик на двадцать-тридцать кубиков лесу и все, с потрохами купил. Не успеешь ты трактор завести, как он на телефончик сядет, и брякнет в наш лесхоз... Ах, сразу в милицию? Зря, сто раз зря. Милиция отрывает задницу по нашему иску». «Ты! Ты!...» «Ну я, Ремир Анатольевич, лесничий, даже выше - мастер леса, а кто вы, пустые сотрясатели воздуха? Нынче парткомов нет, райкомов тоже, может, сразу обратитесь в Страсбургский суд? А зачем, вопрос, если вы одного слова «суд» боитесь как черт ладана?» «Сволочь!» «Что ж, тоже приобщается к заявлению. У кого еще что будет? Идите по домам, товарищи колхознички, и сидите тихо-тихо». Благодушные - вывеска побуждает Ремира быть искренним даже в суде. В мыслях он четко отвечает на вопросы, а Васька, держите меня, Васька вспоминает, как по такой-то год намолотил много зерна и занял третье место по району. Весь перепотел, озирается, уже просит защиты у Ремира, и Ремир... «Придется публично извиниться. Лучше всего в районной печати». Ремир улыбается, видит в своем отражении силу, волю, власть. «Наш суд...тьфу! Судья - старая непогрешимая галоша. Правовое государство... Когда нам родина матерью была? Она к простому человеку хуже мачехи. Родина вспоминает о нас, когда надо унавозить ее поля телами рабов...»

Ремир Шебалин «отвалтузил» на технических должностях четверть века. Был механиком по фермам, завмастерскими, завгаром. Работал с прохладцей, день к вечеру. Его величали титулом «инженер», хотя он закончил когда-то техникум и то заочно. Ленивый на подъем, злопамятный, но говорун! Диво дивное, как он складно мог говорить!.. Его репликой на заседании правления или на общем собрании не сшибешь с мысли, отбоярится от кого хочешь. У иного правдоискателя в груди холодеет как спокойно, уверенно отражает уколы и укусы Ремир Анатольевич. Пьяного тракториста он не облает, и видел да не видел его пьяным. Катись, дорогой мой, пока сам в яму не бухнешься. Ремир выкарабкаться из ямы поможет, но тракторист за эту помощь заплатит своей совестью: Ремиру охота знать все, о чем болтает народ. «Кусачий» - прильнуло к нему прозвище. Бывает, на собрании выскочит на трибуну нетерпеливый, обиженный механизатор, рубаху рванет и давай Ремира чихвостить, а Ремир и ухом не ведет, дождется, когда председатель собрания представит ему слово, книжечку вынет, усы продует, и начнет бомбить килограммами, гектарами, якобы сказанными речами паскудными. Много «хорошего» у него в книжке. «Неужели я, дорогой мой Иван Иванович, должен тебе на ремонте ключи подавать? Ты кто, хирург? А я медсестра?..» «У тебя велосипед оклад вырабатывает! К стене привалил и слинял в райцентр у сестры телевизор смотреть!» «Здравствуйте, а снабжение на ком, а фермы, а электричество, а отчеты?..» Не следует проникать глубоко в инженерные махинации, это добром не кончится, только лихо. Уж Ремир подберет случай сквитаться! И ломался

мужик, запил горькую, или с трактора ушел, а то из колхоза подался. Презирали мужики своего инженера, только ему от их презрения ни жарко, ни холодно. По весну сговорились в поле не выезжать, пока Ремирка-кусачего из начальников не уберут. Куда там, недовольных крепко обработали, выявили зачинщика, с трактора в шею прогнали. Оказалось, такие как Ремир - есть номенклатурный непотопляемый круг. Столько лет руками водит, сединка пробиваться стала, да хоть свал, хоть развал, хоть потоп вселенский - водица мутная. Начал колхоз на бок кренится - покойника свезти на кладбище литры топлива не сыскать, Ремир не растерялся, как другие растерялись. Видит он, как верхи деньги загребают, детям будущее обеспечивают, бюджеты рвут, как при царе нищие пирог не рвали, - сговорил Ваську готовить лес втихую. Рубят да новоявленным предпринимателям толкают, благо леса как заразы до горизонта синь. Выбирали ночи ненастные, урочища дальние; потом осмелели: среди бела дня машины с лесом катят. Кому топлива нет - у Васьки полон бак налит. Соломы на двор привезти трактора нет исправного, а Васька «в ремонте», под крышей инженера. Ропощут мужики, супротив скопом встать не могут. Психология у них жидкая: по одиночке мы герои, найдись кто-то посмелее жалобу накарять да попроси всех подписаться - тот болел, другой у тещи гостил, а третий вечером зайцем забежал, Ремиру доложил подробности. У Васьки кулачище будь здоров, под нос вчерашнему дружку сунул, у того и челюсть отвисла. Ремир с законами-плывунами на «ты», смекает, что законов этих не придумывали, ни с какой водкой не умять. Ремир доволен: Васька работает как каторжный. Другим стал Васька, заносчивым. Забыл, что когда-то по пьянке мужика трактором раздавил. Заправщица тетка Маня, дебелая, страдающая одышкой, подклинивает Ваську, про самолет спрашивает, который они с Ремирком купят на лесные деньги. Васька шланг топливный на место положит, гладит шершавой ладонью по женской спине да приговаривает: «Ох ты моя старенькая... горемыка ты моя. Капитализм пришел, подымай подол повыше, чтобы ляжки видели». Васька росту богатырского, в плечах сажень, вот голоском бог наградил, как посмеялся: тонюсенький, писклявый. «Ну ты, мамонт, - отбивается тетка. - Ужо... Вспомнишь ляжки на нарах». «Эх, тетушка, - шаловливо грозит перстом Васька, - говори да откусывай». «Сам-то не забывай откусывать, оглянись на народ, герой». Лезет Васька в кабину, а тетка Маня про себя молит: «Чтоб вас, паразитов, елью звездануло!»

Гадали мужики и понять не могли, как сошлись два таких разных человека. Думалось, что подмял Ремир Ваську, а когда да как - не видали. Может, и наоборот, лисит Ремир перед Васькой, силы его боится, а может, Васька держит в запасе карты козырные, против инженера... Купил Ремир новенькую «девятку», всем вызов бросил: утрите сопли, дорогие мои! Васька через Ремира колесный трактор заимел. Обнадежились мужики: своим давать

начал, видно, больше на сторону не берут. Как бы не так, будет Ремир мужиков тракторами одаривать! «Техника - основные фонды!» Проворонили: глядь, пришла ватага колхозный лес рубит. Председатель туда-сюда, то в одни двери лбом, то через порог в депортаменте запнется, мозгов не хватает, замотали. «Законы знать надо», - укоряют его. Брехня, демократия, олигархи какие-то, антимонопольщина и прочее; и забил мужиков страх перед непонятной силой, перед непонятной властью. Видит Ремир, скоро командовать в колхозе не кем будет, и подался в лесники. Вздохнули мужики полной грудью: слава-те, господи, избавились. Не тут-то было! Сунулись в лес, а Ремир зорко стоит на страже лесных богатств. Застукает лесонарушителя и насладится вволюшку. На солнышко посмотрит, усы продует, и ненавязчиво так предложит: «50 на 50». Попался - я не видел, сумел сбегать - мне половина. Лесонарушитель согласен и на половину. Толкнет он лесок, глядишь баба в магазин заходит с поднятой головой, ребенку «сникерс» купили. И Ремиру хорошо: не стресшал пупок. Выручку на столике разложит - разве это деньги? Хлам. Отвернется, телевизор весь вечер смотрит, потом нарочно удивленно спохватится. «Я и на «баксы» вас еще не обменял?» Хорошо было, пока не споткнулся на Ваське, подельнике прежнем.

Васька окрысился, слушать не хочет.

- Сойди с шального-то места, мастер сраный!

Ремир вымученно улыбается, испытывая отвращение к Ваське. Теперь, когда он стал кормильцем многих, повелителем ихних желудков, Васька ему не нужен. Васька - это вчерашний день, это тормоз, это тень. Потом Ремир начал присматриваться к директорскому креслу. Директор выпивоха, вун, у больших начальников не в почете. Ремир твердо решил показать себя непримиримым к нарушителям, теснее прижаться к лесникам, и главное, подчистить тыл. Постояв немного и помявшись, заявил явственно и решительно:

- Буду составлять протокол.

- Да ты! - налетел Васька, удивляется.

- Ну я, - спокойно встречает атаку Ремир, демонстративно сморкается.

- Не плачь, не надо.

Васька загорелся, по-новому оглядел Ремира, хмыкнул.

- На понт берешь?

Ненавистью отдались в душе Ремира эти арестанские словечки. Так хотелось одеть Ваську в полосатую робу и жалкого, с застенчивой почтительностью, провести мимо конвойного.

- Мы с тобой прошлый год одиннадцать машин, двести сорок кубов... - заговорил Васька.

- Что, что? - приложил руку к уху Ремир, весь вытянулся. - Не слышу, о каких машинах шепелявишь? Может быть о тех, что недавно во-он в чашу въехали?

Васька еще больше смялся, хотя на лице была прописана решимость, порывался сказать что-то, крайне нужное, и не мог. Чтобы скрыть неловкость и минутную слабость, начал керзачом пинать землю.

- О каких машинах плетешь? - переспросил Ремир.

Васька отвернулся от подобной наглости. Ремир стал ему противен.

Будто сиверком опахнуло - ель застряхывая хлопнулась о землю, облако снежное взорвалось под вершиной. Нет, не снежная пыль коснулась лица Васьки, то мужики, с которыми он стал держаться, с которыми прежде столько пыли переглотали, с кем водку пили, осуждающе плюнули ему в лицо. Плюнули и сказали: «По заслугам каждый награжден!». Душа наполнилась гнетущим стыдом.

- Л-ловко, - тихо произнес Васька. - Иди отсюда.

- Идти надо по пути наименьшего сопротивления, - сказал Ремир.

- Иди, говорю!

- Так чего нес про какие-то машины? - в третий раз вызывающе спросил Ремир.

- Заткни хайло, подлюга!

Васька провел рукой по глазам, и ему показалось, что рука стала мокрой. Сердито глянул на Ремира, на топор, в деревину воткнутой, Ремир не будь плох. Сиганул к топору, схватился, играет им и прибавляет:

- При исполнении я, Василий Романович.

Заскрипел зубами Васька, изо всей силы пнул сапогом землю, побрел к трактору.

Терпели-терпели мужики, насочиняли жалобу в область. Набрались смелости даже подписаться. Походила бумага по верхам, в свой лесхоз опустилась, устроили Ремиру проверку. Не нами сказано: ворон ворону глаз не выклюнет. Много водки выпили проверяющие на свежем воздухе, изъянов в работе Ремира Шебалина не нашли. Ремир воспрял духом, стал ябедников учить уму - разуму. Пригнали лесовоз, погрузили Васькин лес, увезли пропивать. На Ваську бумагу накатали куда следует, Ремир и добавочку сделал: «Грозится меня убить. Знает хороший способ удавить жердиной». Васька акт подписывать не стал, Ремир и не настаивал.

- А твоя подпись - тьфу.

...Выдохлась к утру непогодь, приустала, просит ветер прощения в голых вершинах берез, шепчет обнадеживающе обвесившиеся ледяными слезами рябинке.

Первым делом, проснувшись, Ремир выглянул на улицу, на свой гараж, блаженно потянулся. Прошли ночные страхи, да и страхов-то больших не было... «В район слетаю, сегодня в соседнем обходе будут врезать делянку одному богачу. Интересно, вдруг да председатель жертвенного колхознишка на дыбы встанет? А вдруг богач директору незаметно опустит в карман тяжелый

конвертик... Ремир ответит в сторону бедолагу председателя и упрекнет потешески: «Чего ушами-то хлопае? Ведь ваш же лес-то! Или наш пьянчужка вас облапошил?» И хочется Ремиру заглянуть вперед: какой, эффект получится от его забот? Верно, председатель спохватится, начнет искать защитников, а защита - Ремир Анатольевич, простой лесник. А когда подойдет пора отчетов да собраний и взойдут оброненные семена. Взойдут! Тот председатель первым заорет что надо сдернуть!.. Вот его, я думаю..."

Когда составляли акт, Васька очень просил Ремира не трогать его.

- Лес берите, меня не приминайте. Богом клянусь: ноги моей в лесу не будет, на дрова у старух постройки покупать стану.

- Давно ли таким петухом горластым скакал? - хладнокровно снисходительно спросил Ремир. - Суда боишься? Не дрейфь, я рядом.

Васька не вынес открытого издевательства, открыл рот, чтобы обматерить Ремира, но мучения переживаемого были слишком сильны даже для его могучего организма: вместо слов вырвался писклявый стон.

- Спой лучше, - добивает Ремир.

- Я суда не боюсь, не надо... - стал говорить Васька, сжимая кулаки. - Меня убить можно, обижать нельзя.

- Освинчат, грязью вымажут, и хвост поджали: «Прости, Ремир Анатольевич». Пойми, что в лесу хозяин лесник, в ментовке - мент, егерь - царь зверей, ангел - собутыльник сторожа на кладбище. В нашей державе законы пишут воры для воров, кто и ершится, тот должен им стать. А недотюнькал - на себя пеняй.

Васька дрожал от ярости. Раза два он порывался вцепиться в сытую рожу бывшего партнера, но что-то сдерживало.

- Кот у нас... - мучительно напрягаясь заговорил Васька. - Два кота, молодой да старый. Старый забижал молодого, тот в силу вошел - изорвал старого. Старый четыре дня на потолке отлеживался, зализал раны и молодого порвал. И ушел. Баба искать ходила. Грит бредет по наволоку, нежилую чует. Кискада, не оглянулся.

- Закон природы, - зевнул Ремир.

- Не тронь, а? - запросил Васька. В продолжительном взгляде его было мало чего мужского. - Богом прошу.

- Поздно. Заявление уже у прокурора. Суши сухари.

Васька натянул на голову рыжую лохматую шапку, пошел прочь. «Кот обиженный... Вот их обижать нельзя, они, видите ли, люди, депутаты Государственной Думы, а меня можно. Можно и рожу набить, и пожаром пострадать... Нет уж, нет уж! Прижму я тебя, пискун, так прижму, что другим неповадно будет в лес соваться».

Минул день. Напрасно Ремир осторожничал, суетился в чужой делянке. Богач оказался не очень богатым, а председатель колхоза еще не услышал в

своих лесах рев чужого трелевочника.

Ремир в гараже любовно наводил глянец своей «девятке». Настроение на миллион. На его «девяточку» нашёлся покупатель, Ремиру же приглянулся «Мерседес» у одного деляги.

Тут в гараж ввалился пьяный в дым Васька, узрел Ремира и заржал от удовольствия.

- Ку... Кусачая псина!

Ремир быстренько сунул под верстак ведро с тряпкой - хрястает им этот бадюга по машине и тю-тю «мерседесу». Васька сгреб Ремира притянул к себе. Видя, что тот не сопротивляется, зачем-то погладил ему шею рукой.

- Мякиш какой... Богом просил,- сказал, вода пьяным глазами, словно не веря, что Ремир попался ему в лапы. - Скотина... Скотина в законе!

В это время что-то упало на улице, послышался тонкий, охающий звук. Васька хотел обернуться, не устоял на ногах и упал, подминая под себя Ремира. Уселся на него верхом и почал молотить кулаками куда попало.

- Кот ушел... Грит, нежилую чует... Кот обиды не снес...

Был суд. На него явились все девять свидетелей, чьи заявления были приобщены к делу.

По бокам Васьки сидели два милиционера. Сильные Васькины плечи обвисли, на лице безмятжное оцепенение.

- Вот-те и загибай подол, - удовлетворенно хмыкнула дебелая тетка Маня, сейчас самому загнут.

Сидящая рядом с теткой Маней жена Васьки тяжело вздохнула, потупилось.

- Тебе-то какая радость? - тихо спросила тетку Маню.

- Дохапали! - огрызнулась тетка Маня.

Васька изрядно помял Ремира. Тот две недели обьезживал больничную койку, хотел задержаться еще да его выписали. И зря он пугал хирурга главврачом области. Когда Ремиру задали вопрос, он, опираясь на клюшку долго отрывал задницу от стула, кое-как распрямился, встретился глазами с глазами земляков. Всем приятно улыбался, начал отвечать на задаваемые вопросы. Мужики, сидевшие с серьезными, даже торжественными выражениями на лицах, оживились, в зале послышался скрип стульев, шарканье валенок по полу.

- Сука, как выпевает, - проворчал чей-то бас.

...Зачитали приговор. Замаялись мужики нерешительно, молчат, переглядываются; тетка Маня голос подала:

- Что, грызун, Ремир Анатолевич, видно отгрыз свое?

- Есть Бог на земле! Так, тетка Маня, так! - поддакнули мужики. - Всю жизнь грыз... Васька, с тебя горит!

## БОЛЬ

### 1

Одиноко кружит ворон...

Зов его разносится далеко окрест над мачтовым бором, пустынными опушками, давно заросшей и еле заметной дорогой, по буйному разноцветному лону речному. Кого он зовет, для кого он кричит? Описывает в небесной выси плавные круги или опустится над самые вершины и каркает заунывно: кру-у, кру-у. Непонятно и другое: зачем немилосердно палит солнце, куда торопится река с обвисшими до самой воды ветвями ив, зачем природа впустую расходует силу, коль вряд ли человек махнет косой на богатой ниве, утолит жажду родниковой влагой, прижмется к стволу лесины, от восхищения задирая голову. Ни жилья вокруг, ни следа ноги человеческой. На больших омутах всплеснет громадина щука и, как молот, идет ко дну. Долго вода колышется от берега к берегу, взбивая муть на илистых отмелях. На вечеру тянут вдоль реки утки, хрюкают в проточине одуревшие от жары кабаны, ни с того ни с сего заскрипит в поднимающемся по угору сосняке дерево и снова тишина; разомлевшие травы пахнут медом, дремота пеленает землю - у природы свои законы, своя поступь.

Одиноко парит ворон. Нет ему ответа, а кричит он настойчиво, призывно. Когда-то здесь стоял переселенческий поселок номер десять, закрытый для местных аборигенов. Сгнили остатки барачных, лес обратно прибрал некогда отторгнутые под поля площади, разошлись работные люди. Заросли муравьей могилы померших тут кулаков. Кто расскажет теперь, как не перемерли с голоду посреди зимы полураздетые люди, имея в расположении своем самую малость примитивных орудий труда, оговоренных Специальным постановлением СНК; как они выжили, гонимые, на шестистах граммах хлеба на взрослого едока в сутки? Не по ним ли справляет запоздалую панихиду ворон?

...Как-то утром на берегу реки слышалась людская речь, в небо взметнулся косматый столб дыму. Грохнул выстрел, и первая утка кувырнулась в воздухе с перешибленными крыльями. Азартный голос прокатился над водой:

- Дае-еешь трассу - ууу!

Кончилась дрема - пожаловал властелин вселенной. Благообразный, худой и угрюмый мужчина неодобрительно проворчал, перебивая посуду:

- Вам чего, жрать нечего?

- Мы ж Калумбы, Семеныч! - рявкнула луженая глотка заросшего

черным волосом здоровяка с бычьей шеей.

Фамилия здоровяка была Свистунов, звали Максимом или просто Максом. Его глаза, жадные до зверя, уже ощупывали лес. Он не стоял на месте, глаза понукали налитое отвагой тело, он, казалось, готов был оторвать голову всему живому, лишь бы утолить страсть.

К обеду пошел дождь с ветром. Природа как воспротивилась незваным пришельцам: шквальными, порывистыми ударами норовила сорвать брезентовые палатки; костер захлестнул водяной поток.

В одной из трех палаток четверо мужиков лежали на раскладушках. Говорить никому не хотелось. Все как бы прислушивались к тому, что творится за шаткой стеной. Напряжений было непереносимое: ветер будто вырывал из-под ног землю и гнал людей прочь. Повар Семеныч довольно притворно изрек:

- Заладят дожди - на кильку сядем.

- Сойдет и килька.

В хлопающую дверь просунулась взлохмаченная голова, растерянные глаза в свете малосенькой лампочки, качающейся на шпагате, отыскивали повара.

- Семеныч, беда!

- Что такое? - забеспокоился повар, садясь на раскладушке.

- Водку найти не могу. Ведь я тебя просил, а ты...

Семеныч пожал плечами, проворчал обыденным утрюмым тоном:

- Велика печаль.

- Захавал, да? Семеныч, ну скажи честно: захавал?

- У меня, бригадир, не лавка орсовская.

- Ну будь человеком, Семеныч...

- Не пью и вам того всем желаю, - сказал повар и отвернулся. Лохматая голова уважительно проговорила:

- Железный Феликс. Мне бы такую натуру - носил портфель у министра.

- Одеколон будешь? - спросил Макс.

- Тьфу! - плонула голова и кинула на место дверной клапан. Немного погодя в палатку забрался бригадир, присел на корточки.

- Какая без шнапсу работа, - отрешенно проговорил он.

- Никакой, - подтвердил Макс.

- Молодежь, - обратился бригадир к парню в солдатской гимнастерке, - слетай до ближайшей деревни, а? Понимаешь, разговеться надо, смотришь, и потянем трассу.

Рассматривающий с интересом бригадира «штурмовиков» Лешка рассмеялся:

- Спасибо, бригадир.

- Ну, прошу, понимаешь? Мне еще у трактора покопаться надо. Часа четыре для тебя не больше займет.

- Вот и лети, раз колосники трещат.

- Салага! - зло бросил бригадир и резко вывалился в дверь.
- Остряк, - пробурчал Макс.
- Ага, побегу. Нашли выпускника кулинарного техникума.
- Смотри, тебе жить.
- Подумаешь, - шмыгнул носом парень.

Полежали, помолчали. Резко затарахтел пусковой двигатель, все невольно сели на раскладушках. Макс закурил, начал натягивать сапоги.

- Не переждать, что ли? Опять на дармовщину, - промычал «ватный» артельщик.

- Тебя не спросили! - шумнул на того Макс. Семеныч стал разглаживать на коленях мокрую рубу.

- Угораздило же забыть... Всякий раз на новом месте у него изжога.
- Вызревает. Не может нахрапом лес ломать, вот такая трагедия.

## 2

Глубокой ночью бригадир дал «отбой». Над бывшим поселком номер десять огромным бледно-оранжевым шаром поднялась луна. Прозрачная, она склонилась над привалившимся без сил к стволу сосны Лешкой. Бригадир был зол на него, зол на весь мир, потому гонял его без передышки.

На вечеру вертолет доставил снабженца Мамедова. Обозрев девственную красоту, снабженец ошалел от восторга. Побросал Семенычу мешки, запчасти, схватил спиннинг Макса и нарезал вдоль реки, даже не подождав бежавшего к нему бригадира. Вертолетчик не стал задерживаться, тотчас поднялся. Позарез нужна была форсунка к трактору, снабженец обещался ее выхлопотать, только среди доставленных вещей ее не оказалось. Зато бригадир нашел фляжку спирту, сунул за пазуху и поспешил обратно к трактору.

Пришел Мамедов, сгибаясь под тяжестью метровых шук, увидел кайфующих у костра бригадира и Макса, пожалел, что плохо припрятал фляжку.

- Сколько? - с завистью спросил Макс.

Снабженец присел к костру, блаженно протянул ноги. Макс пододвинул ему котелок с остатками лапши с утятинной.

- Какие здесь места, о, Аллах!

Бригадир плеснул в кружку, поднял над головой руку, погрозил кому-то пальцем и протянул кружку Мамедову.

Мамедов втянул голову в плечи. Он был чужой среди этих диких варягов, готовых или умереть на работе или сутками валяться пьяными.

- Пей, - подтолкнул Макс.

Снабженец послушно опрокинул кружку, поперхнулся, справился с дыханием.

- Форсунка где? - спросил бригадир.

- Замотался, Николай Андреевич.

Бригадир налил себе, потом Макс. Оба выпили. Бригадир понюхал корочку хлеба и отложил в сторону. Макс дотянулся ложкой до котелка, зачерпнул мяска.

- Рассказал бы с себе, Мамед-углы, - чуточку кривя тонкие губы и сверля глазами снабженца, сказал бригадир, - ночь- штука нудная.

- Спартак - оглы, - поправил снабженец. - А чего? - немного насторожился. - Биография как у всех, ничего такого...

- Ну, чей ты, да откуда, за каким к нам занесло.

- Из Коканда, хотя родители из Баку. Вы слышали про Коканд, некогда богатое ханство!.. В нем еще товарищ Бабушкин устанавливал советскую власть...

- А товарищ Дедушкин не выполз из какой-нибудь норы в вашем ханстве? - перебил его бригадир.

- Коля, опять на грубость нарываешься, - мягко сказал Макс, улыбаясь.

- Ничуть. Ты говори-говори, Абдурахман-углы с загибом на оглы.

- Зачем?! - обидно вскричал Мамедов и вскочил на ноги. - Зачем вы оскорбляете меня? Вы можете меня убить, но унижать, унижать...

- Да чего ты, право, пьяно моргая сказал бригадир, - и пошутить нельзя. Ну не скрипи зубами, а лезгинку бацать - аул спит.

- Коля, да не пугай ты его, - сказал Макс.

- Пуганая ворона и куста боится... - бригадир налил в три кружки, подал снабженцу, Макс, взял себе. - Выпьем за драную Русь и Коканское ханство. Выпьем за всех, кто вскормился русской титькой. Ну, дай Бог армянам блох, евреям вшей, нам грошей. Неграм побелеть, нам - помолодеть. За тех, кто в море на вахте.

Мамедов сменил гнев на смех, похожий на птичий клекот, сел на свое место. Задиристо, исподлобья смотрел бригадир. Макс выкатил коровьи глаза, Мамедов икнул и залпом выпил. Долго бил себя по оттянутым губам.

- Ты вот скажи, Ишак - оглы, чего тут у нас вынохиваешь? Уж не ларек ли с помидорами приспособить думаешь или атомную станцию тиснуть?

- Па-ачему Вы оскорбляете меня? Па-ачему? Нужны мне эти помидоры.

- Коля, ну причем же здесь Спартак? - не согласился Макс.

- Да притом! Этих Спартаков за сохой не увидишь, им машину подавай да баб гарем! Ему столько поговорено, что форсунку надо, так? Ух, так бы и треснул. Вали, русский дурак, задирай подол матушке России, а мы тебе за твой труд медальку дадим. А как превратим Русь в Сахару, так твоих детишек на Луне в интернат пристроим. Вот они Спартаки!

- Николай Андреевич.

- Что "Николай Андреевич"? - передразнил бригадир, - ты мне скажи, в

мать бы всю вашу родню и весь Интернационал, мы хозяева на своей земле или мы индейцы в резервации? Па-ачему мы пьянь да рвань тюремная? Ты дай нам пожить, как на Западе живут, хоть посмотреть дай!

Крупные слезины покатались по щекам бригадира.

- Коля, пойдем спать, а?

- Нет! - замотал головой бригадир, - Все во мне горит!

- Ребята, - торжественно сказал Мамедов, - я люблю ваш народ! Вы - великая нация, загубленная войнами, перегибами, экспериментами, революциями. О, небеса! Но мы же все - винтики, пылинки огромной машины, которую нельзя остановить. И наш народ не на халве сидит, и мы такие же нищие.

- Любую машину остановить можно! - взорвался бригадир.

- Остановить и истоптать!

- Это верно, - поддакнул Макс. - Любой народ хороший, другое дело - кто погоняет этот народ. Черт его знает, и впрямь мы живем хуже всяких негров. Давно талоны были, ведь это смех на палочке! Раз ночевал у девки, так обнимаю ее, целовать лезу, а она мне талон под нос сует. Это, говорит, в сельсовете выдали вместо карамели, одноразового использования, аха-аа.

- А ты? - сурово спросил бригадир.

- Коля, честь мундира не замарал, вот тебе крест. Вот, говорю, девка, поедет на днях новую трассу гнать, так я столько лесу своей пилой свалю, что можно всю Расею окутать.

- И зачем нужна эта трасса - никто мне в управлении не сказал, - покачал головой Мамедов.

- Так у нас же КГБ не дремлет, что ты, - с сарказмом ответил бригадир.

- Это не Эфиопию в коммунизм толкать, и не Фиделя в бане парить, - это, брат, бо-ольшущая тайна. У нас всего много, вот спирту, жаль мало.

### 3

Семеныч гадал: ложился спать бригадир или нет? Когда засыпал, у костра еще пестрел пьяный разговор, а стал разводить костер - бригадир от реки идет, чуть пошатываясь, с полотенцем на шее. «Здоров же, - восхищенно думал Семеныч, - Макс свалился, а ему хоть бы хны. Так посмотреть - соплей зашибить можно, поди ж ты». Вот бригадир остановился, устремил взгляд на речную пойму, постоял, шурясь от слепящих лучей поднимающегося солнца, направился к палатке Макса.

- Максим, - тихонько позвал, не поднимая клапан, - Максим, дело есть. Вместо Макса вылез Лешка, потянулся, ежась от утренней прохлады.

- Ты где служил, Лешка? - по-доброму улыбаясь спросил бригадир, любуясь натренированным торсом.

- На границе.

- Каждый день купайся и будешь как Травкин, что на велосипеде вокруг СССР по всем границам колесил.

- Есть, командир! - шаловливо ответил Лешка и побежал вниз к реке.

Вылез Макс, широко зевнул.

- Лося оприходуем?

- Лося? Где, где лось?

- Не суетись. Вон у кустика, видишь? Молодого бери, Матку не тронь.

- Это мы сейчас... замочим.

Бригадир пошел будить снабженца: форсунку за ночь никто не родил. Поднять Мамедова не удалось. Бригадир сел на чурбак у костра, прикурил от уголька.

- Вам чего, опять жратвы мало? - угрюмо спросил Семеныч, поправляя сползающие синие кальсоны.

- Лось, старик, достояние народа.

- Зато совесть своя.

- Совесть... где была совесть, там лопух распустился. Совесть есть у тех евреев, что пригнали нас изводить такое богатство, а?

- Написать надо куда следует, чего винище хлестать.

- Чудило ты, Семеныч. Куда писать? В ООН? Так там рады-радешеньки, что мы сами себя под корень рубим, ведь и там наши же евреи сидят. Вон их сколько поперло нынче за рубеж, а ведь бежит не голь, сановники-рулевые. Наше дело телячье: давай, давай!..

## ФРАНЦУЗСКИЙ ВАЛЬС

### 1

С северной стороны овраги полны снегом. Но он скоро сойдет: отсеются люди, и пойдет на убыль. А пока ранней зарей еще гремит трактор по замерзшей дороге. И соловьи петь не смеют - лишь на обогретых уторах зацвели черемухи. Первый раз о чем - то вздыхают повзрослевшие девушки - весна, мечты, избыток молодой силы. Еще перемигиваются по утрам на лужах ледяные иглы, еще нелюдимо в лесу, глухо, пахнет размытыми почвами.

В пятницу на автобусе приехала Катюша, студентка пединститута.

Не успела со ступеньки ступить, подлетела родная тетка, Екатерина Романовна, как-то удивленно всплеснула руками, и ее чистое лицо в белом платке заискрилось радостью. Тетка крепко обняла гостью, поцеловала, отобрала сумку.

- Иди, иди, наносишься... Господи. Как я по тебе соскучилась, Катюша.

- Ты все такая же, - с нежностью говорит племянница, прижимаясь боком к тетке.

Катюша самая дорогая жемчужина в бездетном, вдовьем ожерелье. О чем бы с бабами на поселке речь не зашла, Екатерина Романовна не применит повернуть меленку на Катюшу. Всем девка взяла, и умом, и характером, а красотой - «Не знаю, бабы, есть ли в районе сравнима?» - такое мнение Екатерины Романовны. Верно, из себя Катюша стройная, сильная, как говорится кровь с молоком. Зря еще и тетка прибедняется: встанут рядом - как две ягоды, что разве одна постарше выглядит. Екатерина Романовна схоронила мужа шесть лет назад, живет честно. Дом на Катюшу переписала, сберкнижки, постоянно в магазине что-нибудь для нее покупает. «Да не износить! - сокрушается Сталина Комарова. - Попомни меня; выкинешь». «Уж как Бог положит, а чтоб не обижалась потом» - отвечает Екатерина Романовна.

В пятницу вечером Саша Комаров прохаживался под окнами Екатерины Романовны. Землю заволокали потемки. Засыпают кусты смородины, чтоб пораньше завтра проснуться и протянуть к солнцу подростские за ночь листья. На небе дремлют первые звездочки.

До отправки в армию осталось три дня.

Катюша, обладая в сильной степени кокетством, покорила сердце не одного парня. Прошлый год летом из-за нее вышла большая драка - наехали парни из райцентра. Местным ребятам досталось, а Катюша делает вид, что ничего не знает. Друг Сашки Колька Фофанцев тоже не мог противиться обаянию Катюши. Дарил духи, благо деньги у Кольки водились - работал вальщиком леса. Катюша была равнодушна к Кольке, но за Сашку хотела удержаться.

Она вышла на улицу, увидела прижавшегося к столбу Сашку, подошла. Посмотрела просто, без тени смущения, а улыбнулась так, как улыбалась и Кольке Фофанцеву и другим ребятам. Сашка молча обнял ее, прижал к себе.

- Проводить приехала?

- Стешке не отдам, - игриво ответила Катюша. Ей казалось, что без Сашки ее жизнь лишена всякого смысла. - Тетка говорит: «Дальние проводы - лишние слезы». - Знаешь Саш, - Катюша освободилась от рук ухажера. - Нам надо серьезно поговорить.

- Вроде зимой все переговорили...

Катюша резко вскидывает голову, смотрит в глаза парня, твердо произносит:

- Не ходи в армию!

- Вот те-нате, - хмыкает Сашка.

- Саш, еду и представляю себе огромную толпу народу у вашего дому, почетный караул... нехорошо мне от этой армии. Саш, все «косят», находят тысячи причин, ты же не дурнее паровоза, правда?

- Ну ты даешь; однако... тот «косит», другой «косит», кто за Москву стоять будет?

- Перестань ты со своей Москвой, кому она нужна?

Катюша нежно гладит ладонью по лицу Сашки, порывисто обнимает, целует.

- Ты это... - Сашку как обрезало, опершись на штaketник, легко прыгает через него, с другой стороны наклоняется, дурачится. - Жди меня и я вернусь.

- Ребенок, - ворчит Катюша.

Они говорят о погоде, о черемухах, Сашка рассказывает присказку, услышанную на днях от одного старика.

- А у него недавно случай тоже был... - говорит Катюша. Она рассказывает вполголоса что-то трогательное и смешное, но чем больше говорила, тем ей становилось скучнее, и поселок будто вымер, дороги - сплошная грязюка; она уже начинала жалеть, что приехала, и теперь вроде как хочет подговорить Сашку совершить подлость. Уйдет он в армию, она останется на правах девушки, ждущей его, а если за эти два года она повстречает парня куда привлекательнее, чем Сашка? Сашка тоже почувствовал перемену в настроении Катюши, спросил прямо:

- Неужели отговаривать меня приехала?

Катюша всхлипнула.

- Кругом война, кругом гробы... я тебе зла желаю?

- Не городи чушь! Все служили и я отслужу.

- Саш, а я? Обо мне ты подумал? Не пушу и все! Ты же знаешь, как я тебя люблю!

Катюша закрыла глаза и ждала, когда Сашка поцелует ее. Сашка стоит, потягиваясь, смотрит на звезды. То, к чему он привязывался последний год, о чем постоянно думал: верность, дружба, честность - все, что наполняло его, незаметно улетучилось, исчезло и пропало, смешалось с какой-то пошлятиной из жизни студентов пединститута.

Он притянул ее к себе, спросил:

- Пошли к Кольке Фофанцеву?

- Пошли, - вяло согласилась Катюша.

Тут послышались тяжелые шаги - по поселку прокинуты деревянные мостки и шаги отчетливо и далеко слышно; молодые люди поспешили спрятаться за поленицу, наложенную зимой Екатериной Романовной через всю улицу. Кто-то остановился у калитки, осторожно попинал сапогами в плоский камень, прошел, крадучись, на крыльцо. Стук железного кольца по дереву.

- Кать... Ка-ать!.. Катя, открой.

- Господи! - раздается из сеней голос Екатерины Романовны. - Уходи, ради истинного Христа уходи! Катюша приехала, господи!

С осторожностью, накопленной годами, мужчина идет обратно к калитке.

Сашка по голосу узнает визитера, но чтобы сильнее удостовериться, свешивается над поленицей: точно, его отец! Пьяненький, вытягивает ноги будто из всасывающего болота, весь виден, сгорбившийся, при свете электрического фонаря.

Сашка опустил на корточки, замер.

- Кто это? - шепотом спрашивает Катюша.

- Да так... Генка Каплюшин. За водкой приходил, не иначе.

Вроде не Генка... Генка - горилла, весь поселок на ноги поднимет.

- Генка, - твердо говорит Сашка. - Трезвый сегодня. Катюша потянулась к нему губами, он поцеловал. Говорить больше ни о чем не хотелось.

- Катюша, ты, наверно, устала с дороги? - спросил Сашка.

- Да нет, я торопилась к тебе...

- Катюша, пошли спать, а? Чего-то мне расхотелось идти до Кольки.

## 2

Сталина Григорьевна чувствовала слабость во всем теле и пала духом. Лежит на кровати под теплым одеялом, тихонько плачет. Посреди избы храпит пьяный муж. Не раздетый, в грязных сапогах. Мысли о загубленной жизни только усиливали ее страдания. Она думала о том, что прежде чем состариться и умереть, ей придется пережить много таких же серых, заштопанных водкой вечеров, что придется считаться с близостью мужа и дышать его перегаром, Прошлое осталось далеко-далеко, на берегу реки. Коля Удокин держал ее за талию, она, сама того не зная, что делает, положила руки ему на плечи и с восхищением ждет какого-то чуда. Она чувствует в себе невыразимую нежность к этому тихому, незаметному парню, дрожит от радости и страха и ждет. А чуда не случилось. Коля почему-то убрал руки с ее талии, поднял с земли плоский камушек и запустил им вверх по течению. Камушек попрыгал и ушел на дно. «Дура, - ругала себя Сталина Георгиевна. - Сама дура. Надо было смелее самой, ведь знала, что Коля телок... Родила бы я от него Сашку и жила-поживала. Такой парень хороший, не в тебя, - подняла голову, плюнула на мужа. - Подняла бы! Бабы по двое, по трое ребят одни подняли...» К мужу Валерию Сталина Георгиевна относится равнодушно, а порой с нескрываемым презрением. Он давно ей неинтересен, так и хочется наговорить много гадостей, собрать чемодан и уехать куда-нибудь. «Хвост долог, - вздыхает Сталина Георгиевна. - Изба, хозяйство, потом, раз замуж вышла, стало быть обязана до гробовой доски...» Вот проводит Сашку в армию, и тогда... «Брошу гада, уеду жить в город к сестре». Валерий говорит и то противно, растягивает слово, в нос. Когда приходит домой пьяный, в нем пробуждается жаждающий

крови палац. Он презирает власть, жену, сына, говорит высокомерно и грубо. Сталина Георгиевна боится за Сашку: только бы не сорвался!

Мало-помалу испуганное, недоумевающее выражение на лице отца делается еще испуганнее - Сашка обычно читает книгу и не обращает внимания; он теряется, начинает плакать и в плаче засыпает. Сталина Георгиевна никогда не укроет пьяного на полу одеялом: «Я ему в плотку не лила!»

Состукала дверь - пришел Сашка. Сталина Георгиевна смекнула: у Катюши был, не утерпел. Сын прошел на кухню, сел на стул. Сталина Георгиевна приподнялась на локте: Сашка сидел, опустив стриженную голову. «Три денечка!..» И слезы сами покатались из глаз.

Сашка подошел к матери, спросил:

- Выступал?

- Уйдешь в армию, а я бейся с этим паразитом.

- Зря ты с ним так, мама. Не такая уж он тряпка, как тебе видится.

- Защищай... помаялась я столько, один Бог видит.

Сашка взял с кровати подушку, приподнял с полу голову отца, подсунул.

- Шубой ноги-то укутай, как да простынет, - съязвила мать.

Вышел Сашка на улицу, стоит, тишину слушает. Пересыпала звездами тишину чуть отраженная небом заводь, кто-то невидимый выталкивает водное зеркало из темных излучин под самые свадебные подолы черемух. Много их разрослось на берегу. Что вверх, что вширь легкий волнующий запах.

Колька Фофанцев, друг и одноклассник Сашки, сидит в своем гараже на грифе самодельной штанги. Отец отдал Кольке гараж с единственным условием: только не спали. Ребята наносили в гараж всякого железа из мастерской, понаделали снарядов, со всего поселка пацаны редкий день не посетят «спортзал». У Кольки жесткое правило: курящим вход запрещен!

Присел Сашка рядом на гриф, спрашивает:

- Где пропадаешь? Стеша на костер зовет, пойдём?

- У Катюши был? - спрашивает Колька.

- Виделись, здоровались, - помолчав ответил Сашка.

- Ну как она?

- Как-как... Как есть, вся тут.

В сумерках бледное, худощавое, угреватое лицо Кольки казалось еще бледнее, а жиденькие усы - черными. Колька по натуре философ, глаза у него грустные, будто постоянно переживает какую-то неловкость.

- Добро. Пошли, коль зовут.

Крутом было пустынно и мрачно, лишь на берегу реки светился огонь. Костер горел ярко, с треском, осветляя глянцеватую ширь реки. Стояли парни и девчата, кто-то в раздумье глядел на огонь, кто-то тихо переговаривался. Ждали Катюшу и заведующую клубом толстушку Стешу. Стеша очень хорошо

играет на аккордеоне. Все знают, что Сашка и Колька Фофанцев любят музыку, особенно Сашка. Он становится нетерпеливым, возбужденным, может танцевать того дольше. «Что-то со мной бывает, - говорил Кольке, - меня как теплые ноги обжимают. Я вижу Париж, бульвары, засыпанные тополиным пухом, прогуливающиеся парочки по набережной Сены». «Пух - дух, Париж - летишь... Сочини, должно получиться» - говорил Колька.

Потемки стали сгущаться, поселок утонул во тьме. На угоре послышался хохот, потом девичий визг.

- Гена топает, - кисло сказал Колька Фофанцев.

- И, конечно, под форше.

- Мать чемодан собирает, одних конвертов сто штук положила. Отец вроде недоволен: почему от вечерины отказались? А чего, батя, спрашиваю, богат стал? Зачем этот водопоп? Ты лучше на эти деньги топлива купи, будет на чем сено заготавливать.

- А мои и рады, - вздохнул Сашка. - Отцу наши проводы так себе, а мать...

- Вот и мы! - громко сказал Генка Каплюшин, выходя к костру.

Девчонки, стоящие к нему ближе всех попятились. На груди у Генки висит Стешин аккордеон, сам одет в черную шубу и лохматую шапку. - Веселись, народ чухонский!

- Гена, ты не на Северный полюс собрался? - смеется Колька Фофанцев.

- Ага! - ржет Генка. - Медведям играть седьмую симфонию!

- Давай, давай! - бойкая Стеша стала отбирать у Генки аккордеон. - Ты только попорти музыку, я тебе, паразит...

Стеша отобрала аккордеон, прищурила глаза и показала Генке кончик языка.

Генка выхватил из костра горящую кокору, стал ей пугать девчат.

- Гена, шел бы ты в цирк работать, у тебя здорово получается, - говорит Колька Фофанцев.

- Сыно-ок, а ты на горшочек ходил? - Генка Каплюшин тычет кокорой в Кольку.

- Брось, - говорит Сашка, загораживая собой Кольку.

- О, еще один качок. Мы и этого качка поджарим.

Между Генкой и Сашкой растопырила руки Стеша.

- Не напирай, не напирай, бульдозер!

- Вот за это я люблю, - говорит Генка, бросает в реку кокору.

Стеша начала играть.

- Катюша что-то не пришла... - сказал Колька.

- Ты меня-то чего пытаешь который раз? Нет бы сходить проведать, так прусь сюда, еще и меня сманил. Домой я пойду.

- Пошли вместе. Все равно добром вечер не кончится, подеремся с

На другой день ближе к обеду Сашка вышел на улицу. Навалился на изгородь огорода, осматривается кругом.

Сколько хлопот принесла весна! Стены домов теплы от солнца, а в тени пахнет влажным снегом. Рыжий кот разлегся на досках, дремлет. Земля еще плотная, ранняя. Над поселком летят журавли.

Улицей идет из магазина Екатерина Романовна. Как-то незаметно подняла глаза, стрельнула по окнам и отпустила. Сашка поздоровался. Женщина как споткнулась, удивленная и испуганная.

- Фу, Сашок... Не заметила. Чего в гости не заходишь?

Сашка смеется.

- Чего и смешного, - говорит Екатерина Романовна и сама улыбается. - Значит, в армию уходишь? - Лицо становится серьезным. - Хорошие вы с Колькой ребята, все мы бабы на поселке вас жалеем. Без вас пустота будет, некому парней приструнить. Заходи, Сашок.

- Ужо... - Сашка провожает глазами журавлей. - Зайдем.

Чуть не добавляет: «с батей».

Идет в избу. В простенке у шкафа белым пятном застыла мать. Не двигаясь, безмолвно. На лице ее, освещенном лучом солнца, ни растерянности, ни страха. Сашка думает о том, что зря мать на работе взяла отгул, на работе ей было бы легче. Вот уйдет он в армию, а трудностей у матери прибавится. «Видно давненько отец до Романовны приворачивает... Баба в соку, а мать как зачихла, подогревает себя, изводит».

- Надо было вечер устроить. Примета бытует, чтоб служилось хорошо, - говорит мать, страдальчески смотрит в одну точку на полу.

- Перестань, мама, - сказал Сашка.

Сашка идет к Кольке Фофанцеву, дома того не находит. И что-то затрепетало в нем, запело жалобно. Он представил себе, что лицо Катюши у самого лица Кольки, она смеется, а Колька смотрит открыто и ясно... «Колька он такой настырный. С виду мягкий, а как до настоящего дела дойдет - своего не упустит». Сашка идет домой, ему не хочется сейчас встретить Кольку веселого, счастливого. Ясно, что сейчас он у Катюши.

Солнце на закате.

Сашка тропинкой вышел к огороду Екатерины Романовны - пришлось спуститься в ложок и им подниматься, бесшумно отодвинув доски изгороди, прокрался к самой стене, слился с землей. Кругом ни души. В доме нет-нет да

простучат босые ступни хозяйки - Екатерина Романовна в избе всегда босая. Сашке стыдно: пришел подкараулить друга Кольку. За углом слышится шорох. Весь подобрравшись, Сашка хочет встать, вытягивает шею и... встречается лицом к лицу с отцом. Оба немеют от стыда и удивления. Отец сплывает слюну, шепчет:

- Ты это... Ладно?

- Ладно.

Расходятся.

За ужином молчание. Отец и сын сидят напротив друг друга, не поднимают глаза от столешницы.

- Завтра уж... - Сталина Георгиевна отодвигает от себя тарелку со щами.

- Мать Кольке сто конвертов положила, будем писать часто, - говорит

Сашка.

Вдруг отец раздраженно говорит:

- Давай я за тебя отслужу, один черт... - И бросает ложку.

- Ты что, батя? - пытается рассмеяться Сашка. - Ты дома служи.

Последний вечер Сашка, Катюша и Колька проводят вместе. Спрятались у Кольки в гараже. Парни добродушно подшучивают друг над другом, смех, короткие рассказы. В поселке поют девчата. Стеша знает, что Сашка с Колькой слышат ее, играет сегодня особенно сильно.

Утро слепое. Мелкий дождик кропит землю. Поселок провожает своих парней. Скуластый Колькин отец подруливает на колесном тракторе. Он повезет ребят и провожающих до военкомата. В сутолоке Сталина Георгиевна делает Сашке последние наставления, а Сашка не слышит мать, он слышит биение своего сердца, хочет запомнить свою малую родину до мелочей.

Катюша между Колькой и Сашкой. Это ничего, что женщины поселка видят ее игривой, они не осудят - сегодня особенный день!

Прибежал Генка Каплюшин, достает из-за пазухи бутылку водки, из кармана стаканчик, неуклюже, расплескивая водку, наливает.

- На дорожку посошок, - протягивает Сашке.

- Спасибо, Гена, - отказывается Сашка. На сухую легче попрощаться.

- А ты? - Генка тянется со стаканчиком к Кольке. - Хлопнешь?

- А мы как все, - смеется Колька Фофанцев.

- Ну, народ! - Генка презрительно вытягивает губы, с вызовом выливает из стаканчика водку на землю. - Хохлушник сосновый! Нерусь! - Сует бутылку за пазуху, отходит, кричит уже издали. - Служите так, как мы служили!

- Спасибо, Гена! - машет ему рукой Колька.

- Что, ребята, в путь? - спрашивает Колькин отец.

Сталина Георгиевна хватается за крепкую шею сына. Сколько поколений оставили здесь свои радости, песни, слезы!.. - все проходит и все остается.

- Стеша, - Сашка подходит к заведующей клубом. Поиграй, пока мы

через поселок идем.

- Сашенька, - заплакала Стеша, - поиграю... Я с вами поеду, я всю дорогу вам буду играть.

- Батя! - Сашка зовет отца, стоящего немного в стороне от всего народа.  
- Иди прощаться станем.

Отец смущенно кашляет в кулак, семенит как ребенок.

Дождик кончается, в прореху неба втиснулся солнечный клин. И обожгло солнце прясло новой изгороди у околицы поселка, дальнюю дорогу, омытые водой крыши домов...

## МИЛАЯ МОЯ...

### 1

Иван очнулся ото сна с ощущением новизны. В доме стояла привычная предрассветная тишина. Глубоко и ровно дышала рядом жена, уткнувшись носом в подушку, тикали настенные часы; зашевелился на печке кот и тяжело спрыгнул на пол. Молчало радио, лишь со двора доносились редкие и глухие петушиные крики.

Ощущение новизны не проходило. Иван открыл глаза и сразу понял, в чем дело. В комнате было светлее обычного в эту пору, и поэтому, наверное, Иван пробудился до времени. Осторожно сел на кровати, посмотрел в окно. На штaketинах ограды белело развешенное с вечера женой белье, матовым отливом светилась соседская крыша, серебрилась земля, устланная опавшими листьями, темной кучкой поникли сдавшиеся от заморозка астры.

«Вот и зима скоро, - с каким-то сожалением подумал Иван. Еще, одного, году нет. Прокатилось лето красное...»

Чтобы не будить жену, тихонько встал, шагнул к окну и открыл форточку. Сразу пахнуло свежим, знобящим воздухом.

«Крепонько видать, прихватило! Не зря вчера с звездило. Ладно, я картошку на погребнице прикрыл, а то бы точно запотела ...»

- Ты чего это? - спросила жена.

- Зиму встречаю, - ответил Иван, потягиваясь, - знатно морозит. Глядишь, подвытянет лишнее из земли, дорога провянет... Намаялись с грязищей.

- Дома? - тихо спросила жена, кивнув начавшей сесть головой в сторону горницы.

- А черт его знает! - ответил Иван и закрыл форточку. Лег на кровать, натянул ватное одеяло до подбородка и застыл не мигая, уставившись в потолок.

- Зря ты, Ваня, на парня звериной смотришь. Поговорил бы когда, - вздохнув, сказала жена.

- Говорено, - сказал Иван, не меняя позы. - Да что с пнем говорить!..

Новый день принес с собой новые радости и заботы, но забыл по пути прихватить шепотку душевного покоя для Ивана с Марией.

Сыном, которого продолжал любить, он считал того четырехлетнего вихрастого постреленка, бегающего с вицей в руках вокруг дома и гоняющего кур, а не теперешнего угрюмого, с тяжелым взглядом из-под насупленных бровей широкоплечего человека.

- Пап-каа! Бабкин петух опять делется!

Почему-то этот крик до сих пор стоит в ушах, и все на свете променял бы Иван за возможность услышать его снова чистым, родным...

... В то далекое лето сидел Иван дома со сломанной ногой, домовничал и как умел, играл с сынишкой. Мария управлялась на ферме, приходила домой вечерами поздно, уставшая, но стоило Ивану рассказать, как проказил Витька, усталость, точно ношу с ее плеч, снимало. А парнишка гомонил целыми днями, катался на батьковой шее, колотя ножонками куда попало, готом прятался и восторженно визжал, когда приковылявший отец отыскивал его. Иван сам варил на плитке немудрящую похлебку, а после обеда укладывал убежавшегося сына на полу недостроенной избы, в которой крепко пахло смолой и лесом; на досуге мастерили игрушки из опилышей половиц.

- Папп-каа!..

Витя вкладывал в это заветное слово всю свою нежность и, точно скворушка, летел ему на колени, счастливым комочком затихал на руках, обнимая отцовскую шею. Как хотелось тогда Ивану быть другом сына всю жизнь, смеяться и переживать вместе... Когда все это было!.. А, может, не было? Может быть, спутал он младшего сына со старшими, которые, подрастая, становились менее заметными в его душе? Но разве не с Витькой, угловатым, не по годам крепким парнишкой, он рубил дрова с ощущением радости и отцовского счастья!..

Никогда не думал Иван, что на смену любви однажды придет тревога за сына, потом - щемящая боль; боль затихнет, придушенная злостью, а злость переплавится в ненависть.

За полгода до призыва на службу сын первый раз притащился под утро домой пьяный. Мария охала, стаскивая с сына выпачканную в грязи одежду, потом принялась укладывать его спать.

Оханья жены тревогой отозвались в Ивановом сердце, но смолчал, не дал воли чувствам. Он понимал, что молодость есть молодость, но неужели самоутверждение взрослости надо начинать с выпивки и явления перед родителями «во всей красе?»

Слова не обронил и днем, когда Мария отчитывала Витьку. Сын кивал лохматой головой, оправдывался и каялся, лишь бы мать скорее оставила его в покое. За первой выпивкой последовала вторая, а дальше - хуже. Тогда Иван

сам попробовал усовестить сына. Мог бы он в ярости и издубасить Витьку, здоровья и силы хватило бы, но удержал себя в руках и, как сумел, объяснил, что водка никого никогда в люди не выводила. Не помогло. Витька держался независимо и развязно. И чем дальше, тем хуже. Про себя Иван винил парней-перестарков, под чье влияние попал сын, но и его не оправдывал: если разобратся, кто кому в рот насильно льет?

Из уважения к отцу руководство колхоза сквозь пальцы посмотрело на перевернутый Витькой новенький «Беларусь», и даже на драку с закарпатцами, где Витька был заводилой, замяли. Всем хотелось отправить его в армию «чистым», а там, может быть, «вымнут кислую шерсть».

Перед отправкой сына Иван с соседом Борисом резали свинью. Пивший только по большим праздникам Иван поднабрался под завязку. Когда речь зашла про Витьку, ненавидяще произнес:

- Кабы знатье, вот этими руками в колыбалке задавил бы!..

Витька призвался благополучно, в тюрьму не угодил, и родители облегченно вздохнули. Два старших сына не причинили столько хлопот, сколько подвалил младший. Мария, как и старшим сыновьям, когда те служили, письма писала сама. За тех она не боялась, те были с головами, а Витьке постоянно напоминала, чтобы слушался командиров, не своевольничал. На примере вернувшихся из армии парней вразумляла, как надо жить, просила глядеть не в один сегодняшний день, позаботиться о завтрашнем. Она верила, что армия перевоспитает сына и что вернется он хорошим человеком. Иван, читая короткие солдатские письма, зримо представлял Витьку в шинели, но с женой частенько спорил и своим мужицким умом в исправление его не особенно верил. Перед самой демобилизацией написал прямо, что о нем думает, и посоветовал подбирать место на какой-нибудь стройке. А если нигде не устроится, то пусть домой выезжает.

А Витька и не думал искать счастья на чужой стороне, прямым ходом после службы домой прикатил. И... пошло-поехало да все по старой колее. Снова схлестнулся с прежними друзьями. Гоп-компания кутила неизвестно на какие деньги, ночевала дома редко.

В колхозе Витьке поначалу дали колесный трактор, в надежде, что армия сделала из него человека, но через месяц он трактор утопил, возвращаясь с гулянки из другого сельсовета. Еще два месяца «бурлачил» около мастерских, потом его перевели на рядовые работы до «прояснения головы». Иван попробовал было помочь сыну, да отступился, плюнул, - живи, как хочешь.

Давно уже Мария не получает денег в колхозной кассе за Витьку: во-первых, все равно отберет, во-вторых, стыдно получать каких-то полсотни рублей, когда ровесники по триста зашибают.

Третий год Витька работает ни шатко, ни валко - сколько сработается, а не сработается, и бог с ним. Тяжко переживает Мария падение Витьки,

тревожным ожиданием какой-нибудь новой его выходки переполнено материнское сердце, да и перед людьми стыдно, свои, деревенские, все глаза вытыкали: родители работающие, с доски Почета не сходят, а сына дурака вырастили. Где спит, где бывает, про то не всегда и знает, хоть и все новости на слуху держит.

- Да что ты, Витя, - совестит Мария вернувшегося утром, чтобы поесть, сына, - да когда по-людски работать-то станешь? Стыдобушка...

- Работа не Алитет, в горы не уйдет. Собери-ка пожевать.

«Эх, дай бог детей, да как у людей...»

- Как думаешь, Иван, нешто вправду зима? Рано ведь...

- С Богом чаю не пил, - черство ответил тот. - Осень на «семере» ездит, всяко бывает...

- А еще на Витьку обижаешься, - упрекнула Мария, - не сам ли в нем? Ты с боку к себе присмотришься...

- Такой свиньей не был, - точно перекусив зубами травинку, сказал Иван.

- Вот кажинный раз с утра надо настроение мне портить! - резко сказала Мария. - И себя распаляешь...

- Ты сходи в горницу, посмотри. Если в сапогах, то стащи сапоги-то, пусть ноги отдохнут, если ублевался, то оботри рожу рукотерником, если в озере плавает...

- Хватит! - оборвала Мария. - Хоть бы раз поговорил с парнем по-людски, идол окаанный! Для тебя все едино, есть он или нет! Может, через тебя он такой.

- А через кого больше? Ясное дело, через меня. Я всегда одной дури его учил.

- Помолчи!

«Разве не было поговорено? - вздохнул Иван. - А толку...»

Как-то в начале лета Витька сам подошел к Ивану и сказал:

- Дело у меня к тебе...

- Дело - говори, - ответил Иван, а у самого сердце так и заколотилось: неужели, поворот? Может, это - первая ласточка, пусть и стороной промелькнувшая, которая покажет дорогу к взаимопониманию и, наконец - то, соединит их.

- Колеса бы не мешало купить, - нагло-весело сказал сын. - Вся наша кодла на колесах, я один пешедралом.

- Купи, кто не дает, - разом сник отец.

- Пятьсот рэ надо.

- Заробь.

- Сам, что ли? А вы? Что, у вас с матерью валюты нет?

- Без денег не жили. А ты не подсчитал, сколько нам с матерью за

три года тунеядства задолжал? Прикинь, верняком тыщи две наберешь.

- Озверел?! С родного сына гребешь!..

- А я разве отец?

- Вроде.

- Вот и смотрю - вроде... С отцом тюремным языком не говорят.

- Ладно, проживем без ваших монет. А то из кабалы не выйти.

- Милости просим - на все четыре.

- И уеду!

- Счастливо. Обрадуешь несказанно.

Вот и поговорили... Отец в одну сторону пошел, сын - в другую.

Нет, не взял бы Иван с сына и пяти копеек, да злость толкнула сказать обидное. Он бы отдал сыну все, жизни бы не пожалел, если бы тот стал порядочным человеком...

- А вот что, Мария, - вставая с кровати, сказал Иван, - урод он у нас. Хоть меня вини, хоть школу, хоть весь белый свет - урод. Сама посчитай, сколько таких в нашем колхозе наберется? А пятеро. И тоже уроды. Лиха они не знали? Нет. Клеверные лепешки ели? Нет. В мешковине хаживали? Трижды нет!.. Они за сохой ходили? Опять нет!

- Не знаю, Ваня. Только ведь другие-то парни, как люди: живут, и работа им в радость, а ведь тоже за сохой не бывали.

- Знать тут. - Иван постучал пальцем по широкой лысине, - им больше положено.

- Не знаю, - сокрушенно сказала Мария. - А в нашем как сломалось что-то...

- Там ломаться-то нечему; в голове - жижа навозная, и в мешке с опилками, водкой пропитанном, ничто не сломится... Вот витнем бы отчесать хорошим да в плуг запрячь, тогда бы...

- Эх, Ваня, Ваня!.. Давай-ко вставать...

А в эту пору Витька лежал в горнице на своей кровати и смотрел в потолок. Сброшенные сапоги валялись посреди пола.

Домой он пришел под утро и, не раздеваясь, бухнулся в постель. Он и в самом деле был пьян, но не от вина, а от счастья и боли близкой разлуки, от надежды и безнадёжности. Минула последняя ночь перед отъездом из колхоза шёфов-студенток.

## 2

Ни отец, ни мать не ведали, что тот самый стержень, который держит человека в жизни, не давая в лихой час согнуться, начал в Витьке тяжело и медленно выправляться, обретать силу и крепость. Толчком к этому послужила Она...

В сентябре вывозил Витька с пожилой колхозницей Евстолией навоз из телятника. Евстоля кидала тяжелые навильники, а Витька правил лошадей. Пока он ездил до поля, женщина отдыхала, привалившись к столбу: она недомогала, но виду не показывала.

- Евстоля, говорят, девок к тебе вагон наехало? - спросил Витька.

- Наехало, одна к одной, что ягоды боровые.

- Так уж и боровые... Ужо наведуясь. Не худо бы подколоться к какой синьорине.

- Нужен ты им, как собаке пятая нога. Такого, как ты, товару - от Москвы до Харькова.

- Ты чего, или меня за мужика не считаешь?

- А чего в тебе мужицкого-то? Шелуха одна. Бог образину сотворил, а про голову забыл. Была бы голова к месту пришта, не возил бы со старухой на кобыле навоз.

- Слушай, ты зря не обижай. Голова как у людей. Пятьдесят седьмой кепку ношу.

- А под кепкой-то что? Хоть пестерь на голову натяни, ума не прибудет.

С Евстолей Витька работал давно, с тех пор, как его перевели в рядовые. В некотором смысле эта добрая, работающая и прямая женщина заменила ему ноющую по делу и без дела мать. Он запросто мог, не стесняясь, говорить с Евстолей обо всем на свете. Ради шутки, иногда напоминал, что обидится на прямогу, с которой Евстоля крыла его, не жалея. Но - уважал, уважал не меньше, чем Михайловича, колхозного бригадира. Тот тоже, вроде Евстоля, при случае бил не в бровь, а в глаз. Едко бил, но всегда справедливо.

Евстоле, казалось, не будет износу. Куда бы ее бригадир ни послал, идет и делает. Делает на совесть, иному мужику так не сработать.

- Так слышь, Евстоля, эта черненькая, еще кофточка с вышитыми кармашками... Ну, волосы такие, косами... Как она, по-твоему?

- А так! Ты, я уже говорила, не лезь со свиным рылом в калашный ряд.

- Ты чего это взбунтилась? - спросил ошарашенный Витька.

- А ничего! И близь не ходи! У тебя одна блажь на уме, а замахишься не по себе. Нинка-блудница тебе самая пара.

- Нужна мне эта Нинка... Слышь, Евстоля, а как ее звать-то, черненькую-то?

- Витька! Последний раз говорю - умолкни! Вы вчера чего надумали? Ломиться в двери? Да среди ночи? Я велю девкам вашу шайку-лейку кипятком, что тараканов, шпарить. Еще побуяньте...

Но в Витьку точно бес вселился. Чем-то необычным, ласковым и трепетным, чего он никогда раньше не испытывал в общении хоть с той же Нинкой, повеяло от васильковых глаз городской студентки. И как ни бережно охраняла Евстоля свой девишник, он добился-таки своего, вызвал

длиннокосую на улицу. Вызвал и... будто всю душу враз заклинило. Он привык действовать по проверенному шаблону - где руками, где словами, а чуть расслабилась, - не зевал. На этот раз шаблон сбился с углов, его сплюснуло о возникшее в груди необыкновенное, новое чувство. Вот она, рядом, стройная, свежая, не похожая ни на одну ранее встречавшуюся ему девушку. И ноги остолбенели, руки свело за спиной. Попробовал было замять наступившую неловкость неуклюжей попыткой обнять, но девушка просто сказала, легонько отстранив руку:

- Ну зачем лезешь? Ведь сдуру.

Встретив ее взгляд, Витька опустил глаза. В короткий миг он вдруг почувствовал, какая пропасть разделяет эту чистую божественную девушку от Нинки, молодой бездетной вдовы, с которой он путался последние месяцы и постель у которой до мелочей обшарил не только он один. Еще неделю назад он испытывал удовольствие, глядя, как Нинка, кокетливо поиграв плечиками, без стеснения по-деловому снимала платье, кидала его на стул и, обнаженная, мигом оказывалась рядом. И вся твоя! «Тысяча и одна ночь», таким прозвищем была она «засекречена» в Витькиной компании... Мимолетное воспоминание об этом вызвало сейчас в душе Витьки омерзение...

- Тебя... как звать? - пролепетал вконец растерявшийся Витька.

- Таня, - ответила девушка, чуть улыбнувшись, и на ее нежных щеках обозначились крохотные ямочки. - А тебя!..

Таким было начало...

Месяц жили студентки в летней избе тетки Евстолии. Парни всей компанией не раз пытались штурмом взять девишник и стать здесь хозяевами, но были с позором выдворены. Девчонки не стеснялись влить хорошую пощечину по чересчур наглой пьяной физиономии.

А Витька, на зависть остальным парням, гулял ночи напролет с красавицей Татьянкой. Ей, городской, в деревне все было ново и интересно. Погода стояла теплая. Вечерами после работы шли на речку ловить рыбу, в дождь прятались под крышей колхозного амбара. Иногда катались на мотоцикле брата по сосновому бору, дурачились в лесу.

Витькины друзья, чувствуя, что он откалывается от них, подзуживали, травили душу сомнениями:

- Тебя же председатель с позором вытурил из конторы, когда трактор пришел просить. Так и она, придет время, от ворот поворот даст. У тебя же рожа к прилавку намастилась. Облапошить захотел... Это не по тебе товар, только зря лапти рвешь.

Со слов охочих до болтовни деревенских баб Таня очень скоро все узнала про Витьку. Бабы жалели ее, что связалась с «пропойцей». Каждый раз, услышав очередную историю из Витькиной жизни, Таня спрашивала:

- И это было?

Краснел, но не врал, признавался - было... Таня грустно усмехалась, и в глазах ее появлялась печаль. В такие минуты Витька ненавидел свою беспутную жизнь, готов был клясться, что ничего подобного больше никогда не допустит, но - молчал, понимая, что не слова, не клятва нужны милой Татьянке...

Верила ли эта девушка, что Витька сможет взять себя в руки и из серого прожигателя жизни превратиться в настоящего человека? Трудно сказать. Но она не отшатнулась, узнав о нем всю правду. Больше того, она исподволь заполняла собою Витькину душу, вытесняя из парня грязь и пошлость, безволие и бездушность. А тут еще произошел случай, о котором через два дня никто в деревне и не вспоминал, но который жестко столкнул Витьку с самим собой.

Тетку Евстолю, не переступавшую порог больницы, кроме роддома, за прожитые пятьдесят четыре года, крепко прихватила какая-то лихоманка. Витька пришел к девочкам вечером, и не услышав привычного щебетания в комнате, отодвинул протянутую на проволоке через всю избу матерчатую занавеску, Евстоля лежала на своей кровати, закрыв глаза. Испуганные девчонки с тревогой смотрели на ее скуластое некрасивое лицо с разъехавшимся, будто стоптанный каблук, носом. Это лицо неестественно желтело на синей подушке... Мертво лежали на одеяле обнаженные жилистые руки, цветом напоминающие необожженую глину.

Витьку будто кто колом опоясал: умирает? Да как же так? Ведь еще вчера возили они жерди для изгороди, и Евстоля все про сына рассказывала... И еще сказала: «Назад не оглянешься - впереди не увидишь». Сразу не понял, а теперь...

Вот когда заворочалась Витькина шея. И не от материнских слез, не от отцовского черствого взгляда.

Дошел, наконец, до Витьки смысл теткиных слов. Но на что оглянуться? За спиной - годы, истлевшие в гулянках, выпивках, случайных встречах... Кому в радость? Ни себе, ни людям. А дальше - что? Вот умрет тетка, и всего-то ей три аршина земли понадобится, а живой было - подавай все сполна, пока глаза видят, руки делают. Ее-то вспомнят не раз, а его, перекасти-поле кто вспомнит?

Современность уходит в минувшее, минувшее живет в нас. Зубчатый шов времени получается. Один край споднизу изношен и истерт, другой, верхний, золотится острыми гранями познаваемого. И этот шов начал медленно стегаться, выдавливая из постной Витькиной души злость на всех с краю: на бесстыдную Нинку, на кампанию своих дружков, на алкаша-механика, на отца, на серость собственной жизни...

Отрешенно смотрел Витька на безжизненное лицо женщины и впервые не воротил рыло от чужой беды...

Евстоля выздоровела, Витька же «забродил», точно застоявшееся пиво. Серdito стонали матрасные пружины, глубокой ночью, принимавшие

возвращающегося со свиданья Витьку. Лежал, по полочкам раскладывал свою жизнь, но слышал голос Татьяны, рассказывающей о красивой и великой жизни простых людей, таких, как Евстоля, об удивительных книгах, о прекрасной Мадонне Рафаэля... Да не может такого быть, что сам он годится только в обоз на заднюю повозку!..

В последний вечер перед отъездом студенток Витька, преодолев робость и сомнения, решился сказать Татьяне то главное, что мучило его чуть ли не с первой их встречи. Не нашлось подходящих слов - не умел он красиво говорить, как Таня, - и неуклюже, сбивчиво сказал, что лучшей жены себе, чем она, не желал бы и что вообще не представляет свою будущую жизнь без нее.

Затаенно, с замиранием сердца ждал, что ответит. Стыла кровь при мысли, что будет отвергнут.

- А года два подождашь можешь? - спросила она, сочувственно улыбнувшись.

- Могу. Только... зачем?

- Ты же понимаешь... Вот я уеду, а ты, может, опять станешь жить, как раньше.

Кровь ударила в лицо Витьке.

- Никогда!

- Я очень хочу тебе верить, но... мне надо убедиться.

- Понимаю, - помрачнел Витька. - Только за два года и ты.

- Я!.. - васильковые глаза Тани удивленно расширились. - Я буду ждать только тебя... - тихо сказала она. - Может, и не два года, а меньше. Пойми, все будет зависеть от тебя...

Витьке хотелось без конца целовать это дорогое лицо с ямочками на щеках, как драгоценнейшую вещь, пронести девушку на руках через всю деревню и кричать, чтоб все слышали:

- Пить брошу! Че-ло-ве-ком буду!..

Он готов был пасть перед ней на колени, покаяться во всех грехах; но, уняв бушующую радость, веско пообещал:

- Зимой приеду сдавать экзамены в институт.

- Правда? - обрадовалась она, но в глазах - сомнение.

- Чтоб не видеть мне больше твоего лица, если обману!..

### 3

И вот она уезжает.

Высокая девчонка с пухлыми алыми губами тихо плакала, прислонившись к липе. Ее подружки студентки сидели в кузове бортовой машины на широких скамейках и пели. Пели, как заправские артисты, голос к голосу, изящно.

*... милая моя,  
взял бы я тебя-аа,  
но там, в краю далеко-ам,  
есть у меня сестра-аа...*

Витька держал в своих лапах Танину руку и, пытаясь успокоить девушку, опять говорил об институте, о том, что начнет новую жизнь, что с прошлым навсегда покончено. Говорил он сбивчиво, волнуясь, а у самого все кипело внутри от такого, что до него и, конечно, до Тани, долетали обрывки фраз судачивших у колонки женщин:

- Экая-то красавица!.. А нашла сокровище...

- Да он и ее пропьет, баламут и пустозвон...

- А, может, чего искала, то и нашла... Оне, городские... Обличье одно, а в середине...

«Да замолчите вы, дуры!.. - хотелось крикнуть Витьке. - Что вы знаете, что понимаете!?» Но на чужой роток не накинешь платок, и он терпел, в душе кляня бригадира, не велевшего шоферу отъезжать без его команды и задержавшегося черт знает где.

Наконец Михайлович появился из-за угла клуба с большим ящиком в руках. Опустив его на землю, он замахал руками, дескать, давай сюда. Витька со всех ног бросился к нему.

- Да какого ты... едрена вошь!.. - бригадир тяжело дышал. - Самому-то не домыслить пособить...

Вдвоем притащили ящик, подняли в кузов.

- Дочки, - сказал Михайлович отдышавшись, - спасибо вам огромное!.

- Оглядел всех, укоризненно посмотрел на Витьку, который держал Татьяну за руку. - Много вы сделали, много, едрен... гмы-мы, так, говорю, спасибо вам. В ящике - наша благодарность вам. От колхоза. От всей души. Сашок! - крикнул шоферу. - Заводи! Да осторожней, едр... осторожнее, понял?

Витька подхватил Таню на руки и легко поднял на уровень досок заднего борта. Девчонки со смехом затолкали ее в середину и запели. Сначала в два голоса, потом дружно все:

*Миленький ты мой,  
возьми меня с собо-ой...*

Когда машина скрылась за поворотом, Витька повернулся к бригадиру.

- Ты на меня, Михайлович, так взглянул, ровно на вертел надел. Думаю, сейчас жарить начнешь при всем честном народе.

- Стоило бы, - ответил тот, буравя Витьку глазами. - Липнешь к девке. Это тебе, едрена вошь, не «тысяча и одна ночь»...

- Зря, Михайлович, - открыто засмеялся Витька. - Все честно. Уж тебе я

прямо скажу. Таковую обидеть - лучше не жить.

- А красивая, едрена вошь. Раньше с таких иконы писали, так дедко мой говаривал... Добра девка, всем взяла. Только по тебе не эту хрупкую девчущку надо, а бабу-державу, как жернов стопудовый, чтобы давила и давила, едрена вошь, учила уму-разуму.

- Ты, Михайлович, брось комиссарить, скажи прямо: потерянным человеком меня считаешь?

- Не считаю, а... Человек сам себе судьбу делает. Все, милоч, от себя зависит.

Витька нахлобучил на глаза кепку, долгим взглядом проводил отправившегося по своим дедам Михайловича и пошел домой.

Отца в избе уже не было, знать, подался с утра пораньше молотить зерно на ДКУ. Мать мельком взглянула на сына и бесцветно спросила:

- Сыт или поешь?

- Поем, - потом поднял глаза на мать и как отрубил: - Все, мама, кончаю свою непутевую жизнь. На той неделе пойду на тракториста пересдавать.

- Делай, как знаешь, - мать уже не верила обещаниям сына. Столько переживала за Витьку, столько слез пролила, столько наслушалась от людей обидного и горького, что вся вера давно высохла, как утренняя роса.

Наливала в тарелку суп и вдруг почему-то вспомнила, что и Иван в молодости не сахар был. Как-то в Покров всех мужиков разогнал, да еще с ружьем... Буйный был в молодости, а потом остепенился...

#### 4

Уже полтора месяца Витька безотказно работает на тракторе. Его гусеничник с бульдозерной навеской перемесил всю осеннюю грязь и месил бы дальше, да помешали морозы. Будто мстя самому себе за загубленные в пьянке годы, Витька не знает покою ни днем, ни ночью. День работает на колхозной работе, вечером везет кому-нибудь то сено, то дрова, а ночью, пока усталость не свалит, сидит за книгами. Бригадир теперь частый гость в доме Булычевых. Чуть свет, уже у ворот. Не нарадуется он Витькиной работой, даже Ивану высказывался, что прорвало Витьку, будто гнойный пузырь, и здоровая плоть верх взяла.

С матерью отношения тоже стали налаживаться, только отец был прежним, хмурым, колючим. О чем бы сын ни завел речь, он или угрюмо отмалчивался, или отвечал кратко, будто через силу.

Оставаясь наедине с мужем, Мария точила Ивана:

- Доколь ты на парня звериной-то смотреть будешь? Поговорил бы о чем, ведь видишь, что он к тебе тянется, дак какого лешева надо? Перебесился он, неужели непонятно?

- Поживем - увидим, - невозмутимо отвечал Иван.

За два дня до Нового года Витькин дружок Серега с пьяных глаз выпустил весь суточный навоз фермы мимо тележки. Навозом расперло ворота, остальное доделал мороз.

- Ты только выпей, - жалостливо, по-собачьи глядя на Витьку, просил Серега. - Завтра праздник, а у меня видишь...

- Послал бог помощника, - съязвил Витька. Но как дружку не поможешь?

Полдня грызли парни бульдозером смерзшийся крепче цемента навоз, долбили ломиками по кусочку, оттаивали колеса тележки горячей водой. По окончании трудов, уже поздним вечером, Серега мигом куда-то слетал и возвратился с двумя «бомбами». Витька заколебался: после отъезда Тани он позволил себе выпить только раз, в Октябрьские праздники. Но с мороза, с устатку, да еще перед Новым годом Серега сумел уговорить его. Только расположились в красном уголке фермы, благо доярки разошлись по домам и никто не мешает, как пришла Нинка. Она будто нюхом чуяла выпивку и расселась на диване, как пайщик кооператива на собрании.

Пили наспех, закусывая конфетами.

- Ты чего не заходишь? - толкнув в бок Витьку и пьяненько улыбнувшись, спросила Нинка. - Или дорогу ко мне забыл? Могу показать, под ручку уведу.

- Не липни, - Витька стиснул зубы и отодвинулся от Нинки.

- Па-думаешь, какой стал! Умник... Шефка, что ли перевоспитала? Она-то, небось, время там не теряет, крутит хвостом...

- Дура! - Витька вскочил. - Пока, Серега!.. Я - домой, - и вышел, хлопнув дверью.

«Ну, стерва! - мысленно обругал Витька свою бывшую подругу. - И с кем это я спутался...»

Подошел к трактору, чтобы заглушить двигатель, и вдруг увидел стоящего у гусеницы Михайловича.

- Кончил работу, сразу глушить надо, ёдрена вошь. А он у тебя полчаса на холостых барабанит... Все сделали?

- Под метелочку, - пыхтя папироской, ответил Витька и полез к движку.

- В другой раз пусть Серега один ломиком долбит. Паразит какой, все ему до лампочки.

Они шли по накатанной, будто стекольной, дороге, один в замасленной фуфайке и в валенках со смерзшимися галошами, другой в шубе с поднятым воротником. По сугробам колыхались волокна снега, звезды роились в морозной выси. Небо чертила белая нитка летящего с севера на юг реактивного самолета с мигающим красным светлячком.

- Студенточка-то как, пишет? - вдруг спросил Михайлович.

- Пишет, - Витька широко улыбнулся. - И сегодня письмо было. К сессии

готовится...

В воскресенье после Нового года Витька собрался заготавливать лес. Отцу ничего не сказал, нанял двух мужиков: жилистого Петра Ермолина да меланхоличного, медлительного Андрея Диева. Задумка была простая: как можно больше свалить лесин с корня, подготовить к трелевке, а уж выдернуть - не проблема: трактор в руках.

Невезенье началось с самого утра. Побежал к заправщику, а тот на дыбы: нет талонов - не дам горючего, лимит выбран.

Ругнулся в сердцах, но делать нечего, пришлось идти к механику, у которого характер не лучше отцовского.

- Техуход трактору сделал? - спросил механик.

- Когда делать-то? Каждый день по нарядам с утра до вечера молочу.

Скажи бригадиру, чтобы в понедельник на работу не наряжал.

- Ничего говорить не буду. И талонов не дам, пока техуход не сделаешь.

- Да люди у меня наняты, пойми ты!..

Ему было противно стоять и просить этот несчастный талон, а без талона срывалась поездка.

- До твоих людей мне дела нет. А за самовольную поездку я докладную в правление напишу. Заранее предупреждаю.

Из горницы в прихожую вышла жена механика, дородная, белолицая. Скосив на мужа красивые серые глаза, она неодобрительно сказала:

- Тебе что, жаль бумажки для человека?

- Не лезь не в свое дело! - рявкнул механик.

- Плюнъ ты на него, Витька, и поезжай. С ним, как с пнем, не договоришься, - и ушла, покачивая полными бедрами.

Плевать Витька не стал, просто немного хлопнул дверью и выскочил на улицу. Подошел к трактору, позвал сидящих в кабине мужиков.

- Видно зря, мужики, оторвал вас от дел. Не заправляют.

- А много ли надо-то? - спросил Ермолин.

- Ведер пять.

- Ладно, ждите, я до бригадира слетаю, - сказал Ермолин. Не успел Витька покурить, Ермолин вернулся.

- Михайловича встретил, - пояснил он. - Ругается, что заранее не предупредил. Велит заправляться на скотном дворе из цистерны.

В кабине современного гусеничного трактора не надо кричать друг другу, наклоняясь к самому уху. Тихая кабина, уютная и, если вынут кондиционер, троим вполне хватает места.

- А что, Витя, ребята бают, скоро в институт поедешь? - спросил Ермолин: ездить молча он не любил.

- Буду пробовать на заочное.

- Давай, давай. Глядишь, и остальные олухи за ум возьмутся. Серега-то,

друг-то твой закадычный, сватом к Шурке Дапенковой подгрёб, а та от ворот поворот дала. Этого, говорит, пьяного товара сплошь да рядом. А еще, было, к моей дочке клинья подбивал...

Ровно, с подвывом работал двигатель. Сильные Витькины руки уверенно и плавно выжимали рычаги. Навстречу трактору летели засыпанные снегом ели. На дороге резвились ронжи, взбивая снежную пыль и летая перед самой гудящей машиной.

Если бы знать, где упасть, соломки подстелил, гласит народная поговорка. Не знал Витька, что первая ель, спиленная им для своего, уже выстроенного в голове нарядного пятистенка с резными наличниками на окнах, не ляжет бревном в стену и не будет распилена на доски для веранды; и веранды, на которой Витька с Татьянкой пили бы чай в жаркий июльский вечер, тоже не будет. Ничего не будет!..

Ель, прощаясь с подружками, качнулась верхушкой в поднебесье, и стала медленно разворачиваться на пне. Она валилась плавно, однако совсем не туда, куда вальщики рассчитывали ее уронить. Мужики шарахнулись в разные стороны. Бросился и Витька, но оглянулся и увидел - пилу деревинкой раздавит. Метнулся обратно, выхватил «дружбу» из реза и уже отскочил, но падающая ель вдруг задрала комель над подвернувшейся сушиной и стремительно, тараном, скользнула вниз. Не успел Витька понять что за страшная сила ткнула его между лопаток и с хрустом раздавила тело о ствол косматого с вильчатой вершиной соседнего дерева.

Потрясенные мужики стояли над Витькой, лежащим на розовом снегу и суеверно переглядывались. Почему, как так - первой же деревинкой насмерть зашибло? Кто гнал сегодня Витьку в лес, как теперь смотреть в глаза отцу с матерью!.. Совладали с собой, перетянули окровавленное тело брючными ремнями, затащили в кабину, и Ермолин, немного умевший управлять трактором, повез Витьку домой. Днев то бежал сзади, то устав, пристраивался на прицепной серье...

... Холодный ветер выбивал из красных глаз слезы, трещала в вершинах кладбищенских деревьев одинокая сорока, дымилась еще не успевшая смерзнуться выброшенная из ямы глина.

Над раскрытым гробом скорбно стояли родственники покойного, знакомые и друзья, да прокопченная механизаторская братия.

В сторонке от всех плакала Татьяна. Мария телеграммой сообщила ей страшную весть. Материнское сердце подсказало: придет она или нет, но грех не известить о случившейся беде незнакомую городскую девчонку, чья фотокарточка с надписью: «Твоя навеки. Татьяна» была вделана сыном в рамочку и висела над его кроватью, а под подушкой нашлись ее ласковые теплые письма.

Клял себя Иван, что не поехал в лес вместе с сыном - вдруг бы да

отвело, казнил себя за чрезмерную строгость. Глядя в темный провал могилы, удивлялся природной несправедливости: ведь по всем законам он должен лечь в сырую землю раньше сына, а вышло...

На лице Витьки застыла страдальческая улыбка, будто просил он не помнить зла, что причинил многим из тех, кто пришел проводить его в последний путь. Черная прядка непослушных волос призакрыла правую бровь.

Может быть, и вышел бы из Витьки толковый мужик, да, видно, не суждено...

## СНЕГ

Вино было холодное, отдавало горелой цветочной пылью. Пили из горла, передавая бутылку, хлопали один другого по плечам и говорили, говорили торопливо и путанно, перескакивая с пятого на десятое и опять возвращаясь к изначальному. Скуластый с оттопыренными ушами, жадно курил, воспоминания щипали ему глаза; отводил взор в сторону, будто рассматривает толпящийся народ; дергал рукавом гимнастерки по лицу, виновато хлопал ресницами. Ему так много хотелось сказать...

Другой, с черной повязкой на глазу, то молчал, стиснув зубы, то начинал громко ругаться срывающимся голосом. Дул слабый прохладный ветер, гнал с далеких гор чуть уловимый, по-вечернему душистый дымок. Последние багряные копы дырявили и без того дырявые тучи, медленно и неохотно закат остывающего дня опускался на землю. Уже месяц боднул рожками восток, вызывая на поединок ночь. За спиной визжали и непрестанно хлопали вокзальные двери; шум, гам, надрывный плач ишаков.

По привокзальной площади бродила девица. Остановится, будто любит умиравшим днем, повертит головой и опять вышагивает. Девица была хрупким, перетянутым в поясе созданием, юбка - одно название что юбка; под ней длинные и тощие ходули. Взгляды ее делались все пристальнее - высокие, кражистые солдаты, по обрывкам фраз недовольные на всех и вся, накачивались вином. Передернув плечиками - вечерняя свежесть не располагала к пляжному костюму, - девица уже сделала решительный шаг к «солдатикам», но дорогу загородила подрулившая военная машина. Из кабины выскочил бойкий водило, принял с другого боку на руки маленькую белокурую девочку, за девочкой ступила на землю заплаканная женщина в черном. Из кузова выпрыгнули два десантника, третий подал им по чемодану.

Вагоны дернулись, пассажиры и провожающие засуетились. Солдат с черной повязкой на глазу почувствовал такую смертельную, измученную, тяжелую тоску, смешанную со злобой, что покрутил в руке пустую бутылку и хотел хватить ее об асфальт, но скуластый удержал, сказал:

- Ну их в баню. Иди, обживай место.

Солдаты обнялись, одноглазый, не оборачиваясь, пошел в вагон, кинул на плечо тощий вешмешок, второй покачался, побрел по пыльному асфальту. Девица мигом атаковала его, бесцеремонно подхватила под руку, и он преглупо удивился, покорно побрел под конвоем.

Солдат оказался в одном купе с женщиной в черном. Она сидела у окна и, приложив к губам ладонь, смотрела туда, откуда явилась. На вошедшего попутчика она оглянулась только потому, что тот сильно задернул за собой дверь, и снова отвернулась. Провожавший ее десантник подвинулся на полке, приглашая вошедшего садиться, небрежно посмотрел на него, потом встал, взял за локоть, мотнул головой: выйдем.

- Земеля, - сказал десантник, прикрывая собой дверь - это жена нашего комбата.

- Ну и что? - зло спросил солдат, пьяно ворочая головой и опираясь на стенку соседнего купе.

- Земеля, без этого самого, - десантник неопределенно покрутил расщеперенной пятерней, - из-под земли достанем.

- Дурнее себя ищешь, - засопел солдат. - Ты не пугай, мы сами кого хочешь напугаем!

- Комбат... здесь он остался.

- Это ничего, Россия большая, есть кем удобрять ихние поля.

- Ты!..

- Отвали, понял? Чего тебе от меня надо?

- Не ори. Чего в шишку лезешь?

Тут вагоны задержались, из купе вышел второй десантник, махнул рукой товарищу: пошли.

- Смотри, земля... - погрозил пальцем десантник и пошел на выход. .

Мутный чужой ручей журчит между камней, как кинжал точит. Злые женщины пинают окровавленные, неподвижные тела ребят: он силится подняться, отогнать их... Схватился за кусты, свисающие с берега возле рва, промытого вешней водой.

Показались старые глубокие галоши, между галошами тыкала землю ореховая палка. Иван кое-как сел, зажимая рукой лицо, поднял голову. Перед ним присел на корточки старик, рукой оттянул подбородок, невесело усмехнулся. Прибежала рыжая собака, залаяла остервенело, старик зыркнул на нее. Собака легла рядом, вывалив язык. Старик что-то говорил, или жалел его, или ругал - во рту непреходящая горечь, слух чуток, как у зверя. Женщины с бранью сгрудились около них, растрепанные, распаленные. Колотилось сердце: добыют или нет!.. Поджарая, с провалившимся животом женщина кричала сильнее других. Старик поднял руку, крики прекратились. По его команде к Ивану подошли двое. Поджарая с злобно радостными глазами, с ощущением «он наш!» хотела, было, схватить Ивана, но старик ударил ее по

рукам палкой.

Его оставили жить. Он был молодой и сильный, правда, одноглазый. Едва затянулась рана, как старик привел его к поджарой ведьме, показал, быстро семеня ногами, что если убежит - его прирежут. Работал паршиво - кормили скверно, работал хорошо - кормили так же. Лежа на облезлом бараньем тулупе, вспоминал быль Толстого «Кавказский пленник» и удивлялся: столько лет прошло с той поры, а надо же...

Его держали в дощатом сарае, на ночь сарай запирали на замок. Каждую ночь что-нибудь мешало ему спать. То рыжая собака начинала гавкать, то по обрывистым стропилам бегали крысы и, случалось, падали на него, а раз в полночь залетевший филин испустил такой вопль...

Иван опамятовался, запустил на крик камнем, птица через дыру выпорхнула на волю. Здесь даже птицы издеваются над чужаками.

Сторожем Ивана был хитрый, но неинтересный малец. Никогда ни о чем не говорил с русским, хотя Иван догадывался, что русский язык он знает. Сторож носил рваную засаленную рубаху, под полу ветхого пиджачка прятал изуродованную руку. Стоило поджарой волчице показаться на горизонте, как малец стрелой летел к русскому, верещал, замахивался хворостиной. Едва хозяйка пропадает с глаз - сторож воровато прячется куда-нибудь.

Грустно и радостно трогали мысли о близкой свободе. Жить! Ему хотелось жить. Покорный по натуре, с каждым днем становился нетерпеливее, жить как собака, ради куска хлеба становилось невмоготу. Бежать было бесполезно.

Стоило тому же мальцу поднять шум, как сбежится пол-аула. Горцы - не русские, за себя постоять могут. Русского одного бьют - семеро соотечественников рты разели, даже посоветуют недругу, как побольнее сопатку своротить. И надо всем семерым рожи набить да для храбрости в глотки по стакану залить, чтобы из этих семерых вышел ядреный кулак.

Наведывался старик-ревизор, что спас его когда-то. Строго и напряженно смотрит на русского - Иван молчит - сверлит его глазом, сухим пальцем теревит сторожу ухо и уходит. В смертельной тоске коротал ночи, бредил снегом. Обет положил: вырвется из плена, обязательно из райцентра до деревни пешком пойдет. И, какая бы погода ни изладилась, все равно пойдет эти тридцать два километра. И обязательно раним утром дома будет. Прильнет к стеклу кухонной рамы, а за рамой мать у печки хлопочет. Раскраснелась, отца зовет свежих пирогов отведать. Лицо скривит как от зубной боли, причину найдет. То она жар упустила, то дрожжи худые, то проспала - неудачно пироги вышли. Отец, как всегда, засмеется: «Вода воды не гуще, сноха снохи не лучше: умнем и на удачу». Знает Иван все эти присказульки...

Однажды слышал рядом стрельбу, затрепетало сердечко: наши! Кинул мотыгу черту на довесок, только хотел дать деру, как увидел свою хозяйку с

охотничьим ружьем в руках. Она шагала к нему и целилась, отчего стволина качалась из стороны в сторону. Иван не стал ждать, когда вышибут второй глаз, упал в кустарник и покатился. Был выстрел, хозяйка смазала.

Сутулый, лысоватый прапорщик хмурил брови, череп его блестел от пота, прикопченные усы то поднимались, то опускались. А Иван смеялся, перебегая глазом по лицам окруживших его родных ребят, говорил, размазывая по лицу счастливые слезы, про Кольку Питерского и Серегу Скобского...

- Дядечка, ну дя-де-чка! - тормозила Ивана белокурая девочка. - Рано спать, еще так рано... У вас головка болит, да?

Иван сел. Перед ним стояла красивенькая девочка-куколка, изучала его. Ему захотелось потрогать рукой завитушки на прекрасной головке, он уже начал поднимать руку, как низкий, открытый чистый голос сказал:

- Лена, не приставай к дяде.

- А он не дядя, он - солдат. У него, мамочка, такой же орден, как у нашего папы.

- Леночка, это медаль.

- Я злой Бармалей, - забасил Иван. - Я ем маленьких детей!

- Неправда, неправда! У Бармалея большие кривые зубы и во-от такой нож.

- Лена...

- Будем знакомы, - протянул девочке руку Иван, - дядя Ваня, бывший оккупант. Горел, тонул, с голоду пух, награда мешок, удачи вершок.

С девочкой он играл минут десять. Сраженный вином, усталостью, впечатлениями, уснул, не раздеваясь. Ночью проснулся под перестук колес, не раскрывая глаз, лежал и блаженствовал: домой! Из сладкой дремоты вывел плач. Плакала соседка по купе, уткнувшись головой в подушку.

Иван не стал ее успокаивать. «Пусть проревится, - решил он, - баба сильная. - Что я ей скажу? Что я испытал? Нужно ей очень, мужа тут оставила гнить, вот оно горе горькое. Кавказ, Кавказ... Обмарались, продались, а хвалились, бахвалились... обидно!»

За Москвой уже хлопала рукавицами зима. В сизую даль бежали и бежали столбы. Кавказ... Неприбранные трупы наших ребят на улицах Грозного, стаи голодных собак, злоба, кровь, кровь, кровь...

Мать увидит повязку и обольется слезами, отец прислонится к косяку и будет ждать, когда сын заговорит первым...

Попутчица сошла в Ярославле. Перед Вологдой он начал волноваться, нетерпеливый зуд торопил поезд. Понеслись дачи в сумеречном затерянном свете, облепленные снегом деревья, путевые будки обходчиков, наконец, проплыл белый вокзал. Вышел в тамбур, распахнул дверь,дохнул морозный запах родины. «Господи, как я соскучился по снегу...»

До райцентра добрался на рейсовом автобусе. Не успел ступить на родную землю, как попал в лапы стоящего в шубе с поднятым воротником однокурсника Шурки. Шурка встречал мать, продрог, автобус пришел уже темно, а мать и не приехала.

- Ухват! - грубым голосом закричал Шурка, хватая и прижимая к пахнувшей холодом шубе замешкавшегося солдата. - Дембельнулся?

Глухое раздражение против самодовольного Шурки, увильнувшего от армии, против школьного прозвища, против всех, равнодушно сидящих у телевизоров и равнодушно слушающих сообщения диктора "к событиям в Чечне", заставило Ивана сначала оттолкнуться от шубы, потом досадливо толкнуть Шурку.

- Ты чего. Ухват? Угорел?

- Не суйся. Мухомор, - процедил Иван.

Шурку зовут Мухомором за нос с большими открытыми ноздрями.

- Ну я... чего ты, право...

- Нет твоего права, - захрипел Иван. - Нет, понял?

Кинул на плечо мешок, пошел по загаженной окурками, пробками и прочим дерьмом тропинке в здание автостанции.

В старом, перестроенном из пятистенка здании было студено, пахло тем особенным, кислым, прокуренным и похмельным запахом, коим пахнут все вокзалы России. Огляделся, сел на колченогий стул, протянул к железной печке руки. "Как всегда, - усмехнулся про себя, - дым пропущен и ладно".

На широкой лавке сидели две цыганки. Пожилая, темнелица хлопала нога об ногу в белых разбитых валенках. Молодая, навалилась боком на узел барахла, куталась в вязаную шаль, дуя в ладошки. Горела маленькая электрическая лампочка, тускло освещая черные, исписанные и изрезанные ножами стены. Натаявшая за день вода блестела в колодах рам застывшим оловом. Пожилая цыганка вытащила из многочисленных карманов трубку и кисет, принялась булавкой усердно колдовать, дуть, прочищая канал. Молодая хихикнула - чмокание пожилой ее забавляло; закурила сигаретку. Затягивалась маленькими, озорными глоточками и выдувала дым, разглядывая на свет лампочки сизые струйки.

- Покури, касатик, полегчает, - кашлянув, сказала пожилая Ивану.

- Не тяжело.

- Напрасно.

Цыганка набила трубку, закурила. Посидела, подошла к солдату.

- Давай я тебе погадаю, а?

- Все гадано-перегадано, - отмахнулся Иван.

- Все да не все... Посмотри на меня... Скажу то, что мне ведомо, а как ты примешь мой сказ - не знаю. Сердце твое домой спешит, а нельзя тебе домой, колодит. Горе ты с собой несешь, боль великую...

- Чего ты мелешь? - крикнул Иван сорвавшимся голосом.

- Не горячись, солдат, не горячись. Горе за тобой следом приползет, знать судьба у тебя такая.

Иван потянул носом: черт знает какую заразу набивает цыганка в свою трубку. Кинул мешок на плечо, выскочил из помещения. Брел по райцентру наобум. Можно бы идти ночевать к двоюродному брату, да брат в тюрьме, а жена начнет причитать, ныть, на судьбу жалиться.

Ноги принесли к общежитию СПТУ, удивился: а куда еще? В общежитии дежурил высокий костистый старик с крупными чертами морщинистого лица.

- А баба Зоя как, жива? - спросил дежурного.

Дежурный утвердительно кивнул головой. Бежали незнакомые ребята, косились на расположившегося на диване солдата с черной повязкой на лице. Давно ли и он так беззаботно бегал... Дежурный принес валенки, подал Ивану:

- Пусть ноги отдохнут.

Переобулся, поставил сапоги на батарею, посидел и незаметно задремал.

Рано утром, стараясь не разбудить старика, откинувшегося на стуле, натянул сапоги, валенки поставил на батарею, вышел на улицу. Вечером вчера был небольшой ветерок, сейчас он стих. Морозный воздух захватил дыхание. Оглянулся - стоит старик у окна, силится рассмотреть его на улице. Помахал рукой - вряд ли увидит, развязал шапку, пошел. Вышел из поселка, постоял на росстани: летней неезжалой дорогой напрямик или зимняком правиться? Пошел наезженной, как ни говори, снегу местами до колена и выше будет. В двух шагах мгла дикая. Хоть бы птичка какая цвиркнула, хоть бы деревина какая скрипнула, нет звезд на небе, тишина мертвая. Хрустит снег под сапогами, что ни шаг, то ближе родной порог.

Два снопа света прорезали утреннюю темноту. Посторонился, пропуская машину. Та остановилась, водитель открыл дверку, закричал:

- Эгей, служба, залезай!

Машет рукой Иван, дескать, поезжай, пешком пойду. Водитель выскочил, к нему бежит. Мать честная, Пашка, двоюродник! Ванька, елки-мotalки, ты, что ли?

Нарушил обет Иван, забрался в кабину. Оказалось, что двоюродник полгода как освободился из заключения, теперь в лесопункте работает.

- Сейчас я тебя дядьке Петру и тетке Марье доставлю! Эх, елки-мotalки, с тебя причитается!

Уговорил все же двоюродника не ехать в деревню, высадился, километра два не доезжая. Сдернул шапку на краю деревни, почерпнул пригоршни снега, умылся. Воздух слегка затуманился тысячами причудливых иголок и крестиков - засерел рассвет. Замерцало окно в доме дядьки Прокопия, рано тетка Андрониха встает, да мать все равно раньше. Думают ли дома, что он

возвращается!..

До чего же любя родная сторонущка! Под низким белесым небом убегает в даль безбрежную снежное поле. Для кого-то снег - скука адская, для него - радость выстраданная, хмель. Поспешил он, рано заправился, мать только что печь затопляет. Будто вчера из дому, все на своих местах. Мать в задумчивости смотрела на огонек и машинально гладила рукой платок, что подарил ей сын с искренним желанием порадовать перед отправкой в армию.

Легонько постучал в нижний подлисточек рамы, обернулась мать, перекрестилась, коснулась лицом стекла и закричала, всплескивая руками. Выскочил из спальни отец в одних трусах, пробормотал что-то и тоже к окну. Наполнился дом хлопаньем дверей, смехом, стуком босых ног, рассказами.

- Чуть от ума не отстала, - все качала головой мать, - надо же как учудить.

Ближе к полудню, как и положено исстари, пришли дядька Прокопий с теткой Андронихой, ближние и дальние соседи, потом собралась почти вся деревня. Дядька Прокопий, мужик, что промежок сена, сметанный второпях перед дождем, всегда ходит по гостям с заморским магнитофоном. Гости удивлялись: как это Иван домой прошел, что никто на деревне и не заметил? Счастливая мать с тихой улыбкой низко кланялась, заставляла есть; не обессудьте что стол беден, да времена нынче шатовитые, и сын не известил о возвращении. Ей отвечали почтенно, что не самое главное стол собрать, самое главное - сын дома. Поранен немного - не беда, у Ваньки из рук ничего не ушло. Вон как перед армией хлеб убирал, отцу Петру завидно было.

Сбегала Мария раз-другой на двор, донесла до гостей радостную весть: корова телиться надумала.

- Уж коль повезет, так повезет, - сказал на то дядька Прокопий.

- Надо же, надо же, - качала седеющей головой тетка Андрониха, - ни раньше, ни позже.

Устало-грустные глаза у тетки Андронихи, худые ключицы выпирают из ворота шерстяной кофты. Она постоянно подтыкает в бок «дедка»: не пей, колхозная вачина! А дядьке как не нальют, так на лоб да на лоб.

Дальше, дальше что было?

Рассказывает Иван про дружков верных - Кольку Питерского и Серегу Скобского, до сих пор не верит, что жив остался...

Последний раз вернулась Мария со двора с хорошей новостью: копытца показались, подошло корове время опростаться. Для гостей это был сигнал к отправке. У Меньшиковых сей год первотелок, что да как - хлопот много. Стоит Мария у коровьей головы, гладит шею, наговаривает, что радость у них сегодня превеликая, сын вернулся нежданно-негаданно, еще и ты, Лысеха, радости добавляешь. Ничего, ничего, все образуется. Бог, он все видит. Бог поможет. Да и батько вон на пороге сидит, коль тяжело тебе будет, он подмогнет. И тут случилось страшное: кумелькой вывалился из избы дядька Прокопий,

уже лежа врубил свой магнитофон на всю катушку и сам заорал не своим голосом. От избы до двора один коридор. Рванулась корова грудью в кормушку, как шарахнет рогами Марию...

Вскочил Петр, сразу и не понял, что случилось. Откинулась жена на кормушку, и падать не падает и не распрямляется. Подошел, схватил в охапку, она дернулась всем телом и повалилась. Занес в избу прямо в унавоженных валенках, положил на диван. Нигде ни кровинки, жива не была... Выбежал Петр на коридор, давай пинать магнитофон дядьки Прокопия, раз-другой и дядьке по лицу съездил.

Заголосила тетка Андрониха, и тут Иван вспомнил цыганку. Прижался губами к руке матери, зарыдал.

## ЧЕРЕМУХИ

### 1

Автобус еще раз натужно взревел, наматывая на колеса тестообразную грязь, потом облегченно выдохнул и остановился на том самом месте, где ему и предписывала остановиться болтающаяся на столбе ржавая жестянка с полинявшей надписью.

Из автобуса вышла молоденькая, такая чистенькая и ухоженная, в белоснежных лодочках девчушка, ступила в красную глину, ойкнула и растерянно оглянулась на шофера. Тот вышел из кабины, помог перенести чемодан.

- Не продувает? - спросил, показывая глазами на тонкий плащик.

- Спасибо за заботу. Не продувает.

Девушка смело шагнула к мосткам, сняла поочередно туфельки и, стоя на одной ноге, выбила из них грязь о штакетину ограды. Проходившая мимо старушка остановилась: не каждый день приезжают незнакомые люди в эту забытую богом деревню.

- Ты чья, девушка? В гости, чай?

- Работать к вам приехала, фельдшером. Вот дальше куда, не знаю.

- Фершалом? Да ведь околиешь тут, хоть бы в избу к кому шла, ой, да как теперь...

- Я звонила в контору, но почему-то никто не встретил. Сказали, что бригадир знает...

- Да вон он, долгоногий, бежит. Эй, Васятка! Да сюды иди-то!

Васяткой оказался высокий крепкий мужчина лет сорока. Он приветливо улыбнулся, протянув девушке руку.

- Виноват, милая, замотался... Багаж весь в этом бауле? Ну, пошли.

- Куды она пойдет, бестолковая голова? Ты на ноги-то взгляни, -

заворчала старушка.

- Так и это дело поправимое. Но смотри, Семеновна, если натреплешь чевю... Оп-па! - бригадир ловко подхватил девушку на руки и шагнул в самую грязюку. - Вот так, красавица, обними меня крепче, авось помолодею.

- Да не задави девку-то, медведко! Ишь, облапил...

- Так я, Семеновна, свою Марусю носил лет двадцать назад. Теперь ее, шестипудовую, не упрешь...

Добрались до дома, где предстояло жить медичке.

- Дядя, а как хозяйку звать?

- Да Анной. На деревне Опилихой кличут. Ну, живи, санчасть, утром заскочу. Старуха рада будет, устроишься, отогреешься.

И пошел по улице, шлепая сапожищами по грязи.

«Какие странные имена раньше давали. Опал или Опил!.. Нет, скорее Опил», - поднимаясь на крыльцо, думала медичка. Постучалась, зашла в избу.

Опрятная старушка в белой кофте и синем цветастом сарафане сидела за самоваром и пила с блюдца чай, шумно отдуваясь.

- Здравствуйте, Анна Опиловна. А я к вам на квартиру.

Старушка повернула голову, как-то странно посмотрела на вошедшую, поставила блюдце и ответила:

- Добро, коли так. Разболокайся да садись со мной чай пить. Настыла небось!.. Рано осень началась в этот год, ведро стало наступать, приморозит скоро.

Целый вечер расспрашивала Опилиха про Великий Устюг, где родилась и выросла девушка, интересовалась работой церкви, занятием родителей и всем, чем может интересоваться старый человек.

- Ты уж, Нина, не величай меня, старую. Зови просто «баушка». И никакая я не Опиловна, а Тимофеевна. Это Васятка бухнул тебе, не подумавши. Опилихой зовут - это вроде прозвище... Да наволоки ты одеяло-то на ноги, погрейся хорошенько!.. У нас в деревне, почитай, у всех прозвища. Напротив мово дому Костречи живут, Костречом прозвали еще бабку нонешной Манефы, а вот поди ты, до сих пор Костречи. Любо не любо, а робята - Костречата, старик - Костреч. А по леву руку от нашего дома - Удача. У них всегда все ладно, большого расстройства ни бабы, ни мужики не показывают...

Долго бы могла Опилиха рассказывать были и небыли про своих деревенских жителей, да глядя на слипающиеся глаза квартирантки, достала из комода простыни и приготовила ей на широком, домашней работы диване постель.

- Спи. Завтра кровать из той избы принесем да толком все сделаем. А я помолось немного и тоже улягусь...

Утром бригадир зашел узнать, как приняла бабка постоялку.

- Вы меня, дядя Вася, в такое неловкое положение поставили... Я

баушку Опиловной назвала, а она - Тимофеевна...

- Эка беда!.. Мы так привыкли - Опилиха да Опилиха... Ты уж извини. Она сейчас где? Молится, наверно, в своей горенке? Набожная. Поди, непривычно? Зато аккуратная, добрая старушка, и в доме у нее всегда порядок. Ну ладно, устраивайся. И не спеши дела быстро вершить, сразу всех не вылечишь. Сходи к бывшей фельдшерице, чаю с ней попей. Женщина она больная, ногами мается, но души - ангельской. Ну, не унывай, санчасть.

Вскоре в большую половину избы вернулась хозяйка.

- Никак Васятка забегал? - Морщины на лице шевелятся, когда бабка начинает говорить. - То-то, чую, сапожищи пробухали да в избе табачищем запахло... Пойдем-ко кровать-то принесем да и чаевничать станем.

В летней избе хранилось у Опилихи все, что ей не требовалось в повседневной жизни: кросна для тканья, две деревянные кровати, зимняя одежда, тюфяки, рулоны нарядных половиков, старинные сарафаны. В красном углу висела богатая икона. Нина подошла ближе, чтобы хорошенько ее разглядеть.

- Мать Христова, - важно пояснила бабка. - За народ пострадала... Пошли в горенку, так самого Христа покажу.

В горенке, уютной комнатке, тоже в красном углу, за стеклом, находилась старинная скульптура распятого Христа.

- Ой, бабушка! Красота-то какая! - воскликнула Нина. - Только место ему не здесь, а в большом музее.

- Нельзя. Память от мово батюшки. Где взял, не знаю, а сколь себя помню, он все тут стоит... Во, гвозди-то слуги Ирода куда забили, вишь, кровь выступила. Только Христос боли не почуял, к бессмертию готовился... Ты, смотри, не говори широко, - спохватилась бабка, - а то упрут. Когда церкви-то ломали да зорили, ни о чем не думали, теперь спохватились. В нашей часовне какие иконы были! Дак все сожгли, не надо стало заступников в домах, - Опилиха широко перекрестилась. - Ты уж не чурайся меня в моей вере. Молодая и я в церкви больше по сторонам глазела, чем молилась. Тебе, может, смешно, а уж не хохочи... Пошли за кроватью-то. Жить у меня будешь, дак успеешь, насмотришься...

## 2

Еще с первых послевоенных лет повелось, что просторная изба Опилихи была для деревенских вдов постоянным местом вечерних бесед. На огонек тянулись сюда одинокие солдатки с незаживающими душевными ранами, а теперь приходили старые и пожилые женщины просто так посидеть, посудачить о жите-бытье. Стягивались со всей деревни, рассаживались по лавкам, как когда-то сиживали в молодости на посиделках, и вели нескончаемое

жизнеплетенное кружево из доколхозной жизни, вспоминали о своих красивых ухажерах, говорили о покойниках и обо всем, чем жив человек, пока дышит. Смеху, слез - хоть отбавляй.

- Вчерась ходила я, бабы, на скотный двор. Ну и срам - глаза бы не смотрели, столько-то силосу бульдозером в кучи сгребают!.. Спрашиваю сноху Петьки-ревы, пошто, мол, так? А она боками-кругляками закачала да говорит: «Гнильем кормить прикажешь?». Эх, думаю, девка, зарылись вы! Соломы коровам - до брюха, муки по четыре кило на корову, а дойте меньше, чем Настюшка от козы. А помнишь, Анна, как тот же силос мы в бураках на горбу носили? Сами и по соломку на лошадях съездим, да привезем, да на потолок сволочим... У двора-то завсегда чистота была, травка зеленела, теперь всю землю сквозь колесами измеси́ли, осенью до хвостов конавы...

- А выганивали как? Да неужели до обеда валандались, как нынешние молодки? Идут коровы по деревне грязнушие, будто в аду побывали, лепяки навоза на боках. Да раньше Яков со стыда бы нас стравил...

- И Ваську хвалить не за што, нет бы прикрикнуть да приструнить которых. Ишь, королевщины какие, только и чуть - мы да мы, а што «мы» сделали, спросить бы их? А бригадир теляшится с ними - как да уйдет которая, тут хоть сам под корову садись.

- Это нынче-то тяжело?! На титьки корове железяки накинута да кнопку-то нажать? А как вот этими-то руками... Не зря они на навозный крюк похожи стали, извело персты-то. Вот где заревели бы-то, запричитали-то. Та же сноха Петьки-ревы про какой-то фронт толкует, на фронте она была. Тьфу!..

- В каком доме как ведется, такое и берется. Сам-то Петька-рева чуть что слезу пускает, будто сирота казанская, такую и сноху выбрали. Вон летом как меня окозвонила: пришибленная, говорит про меня. Останься попробуй-ко одна на хозяйстве, когда робят шестеро на руках, дак будешь пришибленной. А ведь и налог надо было сдать, и на облигации подписаться...

И нет конца таким разговорам и воспоминаниям...

Как-то Опилиха сказала:

- Зима уже на пороге. Всем дров возят. Ты бы напомнила Васятке-бригадиру. Конечно, без дров не оставит, он у нас мужик заботливый, только в такую пору и не беремьянной да роди, всем дрова надо, когда-то до нас очередь дойдет.

Дня через три повстречала медичка бригадира, как всегда спешащего по своим делам, и, вспомнив наказ Опилихи, заикнулась о дровах.

- Во где эти все калымы у меня! - бригадир резанул ребром руки по горлу. - Всем дрова надо, да еще и школе, и садику, и твоей санчасти. Привезут дровишек и до блевотины пьют, - утром опохмеляться к тому хозяину едут. А на телятнике сена второй день нет, понимаешь? Разговорами телят не накормишь, им сенцо дай да получше... Прочитала бы ты лекцию трактористам

про этот самый алкоголь. Может, меньше пьяни будет. Вон Толька Дон-Кихот вторую неделю не просыхает. Так ты, специально для него, в лекции-то намеки, что, мол, слабость через вино может получиться по бабьей части. Ну самая десятка выйдет!.. Выступи на собрании, ладно? Вот и хорошо. А дровишки достанем. Пусть бабка Григорию Пестереву скажет, что я ему редуктор к пиле дам. Тогда он с братом Федькой это дельце мигом провернет...

Вечером рассказала бабке про встречу с бригадиром.

- Дак што, Пестеренки - мужики хорошие, работающие. И батько у их золотой был. Дюжиком звали. Ох и силен! Жалко, в лесу деревинкой задавило, царство ему небесное. Меньшой-то, Федька, еще совсем молоденький, а в кости тоже широк, в батьку. Кажинный год о святках двери мне заваливает чем попало. Лонись, ладно, Манефа отперла, а то хоть через окно вылезай... Ладно, сползаю к Пестеренкам, Васятка дело предлагает.

- А зачем он, бабушка, хулиганит?

- Федька-то? А все вызвать хочет, умею я ворожить или нет. Вот придет рождество, и тебя научу.

- Спасибо, бабушка, только я...

- Смешная, да я сама не больше твоего в той ворожбе понимаю.

Опилиха легко договорилась со старшим Пестеревым. Едва сказала, что Васятка отдаст за такое дело железяку к пиле, как глаза Гришки-пестеряка засверкали довольными искрами. Еще бы, не раз он канючил этот редуктор у бригадира, а теперь нужная деталь сама в руки идет.

- Все сделаем, Тимофеевна, какой разговор?! С дровами будешь. В воскресенье меньшак с учебы придет, и сделаем. Только тракториста еще уговорю, он мне два дня в отработку должен - я ему баню рубил весной. Иди и пеки пироги, через день святки, - сама понимаешь...

...Наступил вечер седьмого января. Когда Нина пришла с работы, бабка уже нетерпеливо поджидала ее.

- Что припозднилась, ягода моя? Вызывали куда? Снова к фельдшарице? Пособи, господи, на ноги ей стать, не ее черед на погосте быть, - Опилиха истово перекрестилась. - Садись-ко поужинай, да и пошли ворожить. Оболакайся теплее, ворожить, может, и долго придется. Месяц дымится, заметила? А звезд на небе, я уж смотреть выходила, полная чаша, перемигиваются, на мороз зовут потоптаться...

- Бабушка, ты так складно говоришь, - сказала Нина.

- Ягода моя, думаешь одна ты молодая да красивая? Мы, думаешь, хуже в свое время были? А как наряжонками-то ходили!.. Ну, это всякий оболокается кто во што и пошли народ по избам смешить. Шубу вывернешь, домотканик с колокольцами натянешь, лицо замотаешь куделькой, вот и ходишь страшилой. Парни подкараулят нас, наряжух, да давай голым местом в снег совать, реву-то, смеху-то!..

В летнюю избу Опилиха заходит первой, кладет поклон в сторону иконы, крестится. Стоит Нина за ее спиной, боясь шелохнуться, даже дыхание затаила. Сквозь стекла рам видно, как серебром блещет снег при ослепительном сиянии луны, широкие тени от простенков лежат через всю избу.

- Садись вон в простенок, - таинственно - говорит Опилиха, - чтобы оба окошка хорошо видать, и на улицу смотри.

- А чего смотреть-то, бабушка? - шепотом спрашивает Нина.

- Садись, садись, увидишь.

В нежилой избе стекла не украшены морозными узорами, хорошо видно пустынную улицу и разгребенные от снега дорожки между соседними домами. Люди сидят в тепле, а вот кошкам, видно, не сидится дома, носит их по тропинкам. Нина переводит взгляд внутрь избы и чуть не хватается в испуге за бабуку: дверь в избу слегка приоткрылась. «Все, - затрепетала в ней каждая жилка, - все, идет...»

- Вишь, стужа какая, ходуном двери заходили, - молвила Опилиха.

Нина перевела дух. Прошло с полчаса. Бабуку, видимо, стал донимать холод, она заерзала на скамейке.

- Неужто не придут, охальники? Федьки дома нет или отдумал, дьявол долговязый? Замерзну тут, простыну... А, явились, голубчики. Смотри, вишь, из-за поленицы показались? А-а-а, один побежал узнавать, в избе ли сидим. Я свет нарошно не выключила.

Из-за соседней через дорогу поленицы дров вышли четыре подростка, оглянувшись, они нырнули к задворкам дома Опилихи.

- Сейчас дрова начнут таскать, на крыльцо. Видишь первого-то? Это и есть Федька Пестеренок. Лапицы-то какие, нош десять моих забирает...

Парни совершили по три оборота, потом один из них присел на тропинку и стал сотворять известное отправление во славу рождества Христова у дома самой богомольной старухи в деревне. Нина отвернулась от окна - и возмущенно зашептала:

- Прогнать их надо! Что это, в самом деле, бессовестные какие...

- погоди ты! Счас сами уйдут, - прошелестела в ответ Опилиха.

Федька пихнул парня, не успевшего натянуть штаны, в снег, тот оглашенно закричал, и вся ватага убежала озорничать к другим избам.

- Теперь пошли, наворожили. Завтра всем расскажу, как дело было и кто на дорогу нагадил. Вот и все мои секреты, ягода. А поленьев-то недели на три наносили. Утром в сенцы складем, и на улицу ходить не надо...

### 3

Привезли Опилихе дрова. Как именитых гостей, угощала бабка мужиков, вся убежалась около печи. Принесла любимое кушанье выпивающего

люда - слабосоленые рыжики, не пожалела и куска копченой колбасы, присланной одним из сыновей. Нина ужаснулась, войдя в избу после работы: старший Пестерев и тракторист Толька Дон-Кихот, обняв друг друга, мычали непонятную песню, табачный дым плавал синими кругами по всей избе. «Вот они, мои выступления...» - горько подумала медичка.

- Бабушка, да как же они домой-то уйдут? - спросила Опилиху.

- Уйдут. Гришка Пестеренок утащит Тольку. Он дюжий, не столь хмельной, сколь прикидывается.

При появлении медички мужики и в самом деле быстренько убрались из избы.

- Вот ведь времена пошли, - покачала головой Опилиха, - до реву поить надо, а то в другой раз не зазовешь. Батоном бы хорошим всех, да трактористов мало, любому рады. Отодвинь, ягода, засторонок, голова от дыму гудит... Раньше о большом празднике только по две стопки наливали, а теперь по одной белого только для приходу. Другого аж трясет всего, где уже об семье думать, о робятишках? Мухи, не мужики. Склепают кое-как по одному цыпленку и все. И бабы такие. А я вот двенадцать принесла, правда, в живых четверо осталось, дак и то, последнего-то на сорок четвертом родила, даром что мужик инвалидом был... Только пять годочков после войны и пожил, царство ему небесное!..

Было о чем вспоминать Опилихе за семьдесят восемь лет своей трудной жизни...

...Пилили дрова оба Пестерева. Старший только покрикивал на младшего, чтобы не зевал, проворней оттаскивал чурки и меньше глазел на медичку. Федька и Нина старались от всей души. Федьке что, играючи кинет чурку на плечо и не охнет, а Нина едва с места ее стронет. Федька второй год учился в СПТУ на тракториста и, понятное дело, не прочь был лишний раз показать перед девушкой свою удаль и силу.

- Федя, - наклоняясь к парню, сказала Нина, - ты далеко не носи чурки, в другой раз ближе будет на крылечко таскать.

Краска залила лицо Федьки.

- Да ведь это... шутки, - смущенно отозвался он, - у нас так заведено... Завязался разговор.

- И у нас ведь не каждый год такая грязюка бывает, как прошлой осенью, - говорил Федька, вытирая рукавицей пот со лба. - А весной как красиво! Вон туда, до самой речки, целая аллея из черемух. Белым-бело. Идешь, смотришь, аж дух зашибает.

- А у нас сирень по всей улице, домой идти не хочется, мама кричит в окно, а мы с подружкой как угорелые носимся...

После распиловки бабка не могла назвать Пестеревых в дом никакими уговорами. Старший ссылался на прошлую выпивку, а младшему было не до

ужина. Он колол дрова, глядел на веселое раскрасневшееся лицо девушки и готов был работать для нее бесконечно.

4

Вот так просто и окончательно сгорел Федька. Бывало, месяцами не появлялся дома - не близкий путь от райцентра до родного села, - а тут стал приезжать на каждое воскресенье и маячил возле колхозного клуба, лишь бы встретиться с медичкой. Он и на медпункт навевывался, и к Опилыхе домой, словом, пасся около Нины как надежный охранник, не позволял приблизиться к ней никому из деревенских парней. В кино Федька обязательно садился за Ниной и молча и неотрывно смотрел на нее в течение всего сеанса, а потом провожал домой.

Юной медичке нравилась такая опека: по крайней мере, даже хмельные колхозные парни перестали досаждать ей своими грубыми ухаживаниями - побаивались тяжелых Федькиных кулаков.

Приближалась весна. В своих мечтах Федька только и видел, как он с ветерком катает на мотоцикле Нину по аллее цветущих черемух. Но вот где взять мотоцикл? Попробовал договориться с братом, но тот как отрезал:

- Мотоцикла не дам. И не надейся. Сам заработай.

- Ну где, где заработать? Летом - другое дело, а теперь, если я учусь...

- Не горит. Успеешь, накатаешься.

Со старшим не поспоришь. Стал Федька собирать у знакомых парней всевозможный хлам. Завалил им весь предбанник, ломал голову над разработкой мотоцикла своей конструкции. Брат приходил иногда смотреть, плевался и грозил «истоптать» весь этот утиль гусеницами трактора.

- Купи новый, тогда и топчи! - беззлобно огрызался Федька. - А я такой смастерю, деревня ахнет!

И смастерил. Как-то воскресным вечером вылетел из калитки яркосиний «дракон» с лохматым сиденьем из старого тулупа!

- У, шалый!... - заматерился Гришка, увидя такой цирковой номер младшего брата.

Однако покататься на своем «драконе» Федьке не пришлось: наступило время полевых работ, и его, практиканта, определили во вторую смену с братом.

- Ну так, меньшак, - прочитал старший Пестеренок вводную лекцию, - если флажок от нас отберут, можешь идти на все четыре. Успнешь ночью или заедешь куда сослепу - с потрохами съест.

И Федька старался. Он знал, что приятно медичке слышать про его успехи от собравшихся вечерами к Опилыхе «божьих одуванчиков». Да и то сказать: это была его первая самостоятельная весенняя страда, и они с братом

- победители!

Буйно расцвели черемухи. Венька Ермолин всю ночь катает свою краюлю на новеньком мотоцикле, а Федька - в угол рожей? Только кончилась весновспашка, выкатил своего «дракона» и пошел писать круги по деревне. Дождался, дождался, когда же выйдет к нему Нина, а ее нет и нет.

«Ну, чертовы монашки, я вас все равно потревожу!». Снял глушитель, и давай летать по деревне с перегазовками. Пять раз с оглушительным треском пролетел в клубах пыли, а на шестой брат уже подждал его с ломиком в руках, имея твердое намерение разбить все, что можно разбить. Но Федька не доехал до брата: с полного хода свернул в проулок, зацепился за сарай с дровами и... очутился в крапиве в горизонтальном положении. Утром поплелся в медпункт.

- Перебесился? - встретила его расстроенная Нина. - О, боже, как ободрался-то весь. Больно?

- Так себе, - ответил Федька, пряча глаза.

- Эх, Федя, Федя. Ведь меня и дома-то не было, мог бы зайти, спросить, а зачем бабушку-то пугать? Глупый, вчера я роженицу в больницу отвозила, а ты расчиховался...

- Правда? - удивился и обрадовался Федька. - А я думал...

- Думал... Давай, гонщик, держись... Ну, как, больно?

- Мне?! Да режь, слова не выдавлю!

Залепила медичка Федьке все лицо пластырями.

- Ну, - встретил дома старший, - где твоя колымага?

- В старой бане, - не глядя на брата, ответил Федька.

- Еще раз увижу на этой тарахтелке, ноги оторву, понял?

- Понял, - буркнул Федька и пошел в избу.

А вечером... медичка сама пришла к Пестеревым с букетиком из цветущих черемух.

- Вот те на, - только и смог сказать старший Пестерев, глядя вслед уходящей паре. - Ты смотри, Анна, фельшерлица-то с нашим телком пошла... Ну надо же!

- Экая новость! Он за нею уже полгода бегает, - отозвалась из кухни жена.

- Да я не про то. Федька-то, Федька-то наш, видно, вправду вырос. Женихается...

- А ты думал, он все ребенок? Кричишь на парня, а он вон какой детинушка, терпит, терпит да как опустит кутюшку, и жаловаться не на кого.

- Ну, это ты зря. Я ему за батька всю жизнь, слушаться надо... Правильно, горячусь разами, да уж такой есть.

Цветут черемухи шальным дурманиющим цветом - единственный и неповторимый свадебный наряд неброской северной природы. В такую пору

даже черствая к поэзии душа заворуженно смотрит на ниспадающие белоснежные кисти богатого убранства, вздыхает и расслабляется.

## ТРИ ПОМОЩНИКА

Иван Третьяков с милой женушкой своей свет-Васильевной едут из гостей на тракторе. Дорога дальняя, где-то под тридцать километров в одну сторону, скорость езды - покойников возят ходчее. Племяннику сегодня стукнуло двадцать пять годочков - давненько племянника Иван не видал, потом год как племянник женат, потом тесть ему подарил подержанную иномарку - «запорожца», так что уважительных причин много. На замечания Васильевны Иван улыбался с выражением превосходства, которое всегда бесит Васильевну. Ее мораль проста: нажрался, так будь человеком, нечего надо мной фуфыриться. Кабина трактора Т-40 сконструирована так, что рука пассажира обязана лежать на шее водителя; одну ногу пассажир задирает на щиток приборов, другую - правую, может засунуть куда угодно, лишь бы водитель сумел переключить рычаг передач. Хорошо возить худых, длинных пассажиров; упитанных и нервных тряская дорога выжимает из кабины, им душно, они молят конструктору самому испытать все прелести проклятого трактора. Природа подарила Васильевне билет на проезд в лимузине с откидным верхом, но бытие...бытие выползет из дремучей чащи.

- Господи-и! Рули ты как нибудь, дьявол, рули!

Из гостей не принято возвращаться трезвыми. Даже родственники усматривают в трезвом поведении высокомерие и спесь. Фары излучали такой хилый световой поток, а ночь была так черна, что Иван едва в кабине отличал руку жены от ее ноги. Хотя это и не важно, они оба уже в таком возрасте, что будь то нога, будь то рука, большой разницы нет. Он видел на дороге выбоины, различал бесформенные камни на обочинах, и рассказывал, как вчера в мастерской давал концерт заезжий артист. Левая рука жены - штурмана постоянно настороже: только трактор сделал отклонение от нулевого меридиана в сторону Аляски, как рука ложится на баранку рядом с рукой мужа и делает поправку. Ночь темна, чернее сапогов самого черного цыгана. Трактор все въезжал и въезжал в узкое голенище, двигатель, как усталый стригаль, снимал с темноты шерсть и бережно толкал в носки сапогов. Едущему из гостей вовсе не обязательно держаться большой дороги, на асфальте злые гаишники норовят содрать с бедного колхозника последнюю рубашку. Они могут придрататься не только к красным глазам водителя и характерному запаху из его глотки; вибрирующие колеса, мятая облицовка, отсутствие документов и прочие факторы могут стать причиной ночевки в «клоповнике». Пассажиров на «сороковке» возить не полагается, но, товарищи

блустители порядка, сидящая рядом не какая-то там шлюха, жена она!.. При Брежневе за полтора рубля приобретенная в сельсовете, чтоб провалиться на этом месте! Иван знал свою родину ощупью. Станет он с пьяных глаз да нарываться на неприятности; только выехали с улицы родственников, и пошел петлять, никакой гаишник догонять не бросится. Для кого-то несколько поваленных и оглоданных бобрами осин прямой путь на больничную койку, для опытного колхозного тракториста - единственное спасение, которое надо преодолеть, если дорожишь механизаторскими корочками.

Вылезли оба у такой хлипкой переправы, потоптались около колеса - в туфельках в грязи пачкаться даже в темноте не хочется, говорит Иван:

- Берег левый, берег правый, пушки бьют в туманной мгле.

Напрасно Васильевна пыталась отговорить: залезает в кабину, прицелился, газу поддал и только стук-бряк, ошметки дернины на кустах висят, трактор уже на другом берегу в твердую землю вгрызается.

Перебралась Васильевна, правда туфельки пришлось снять, облегченно смеется, говорит покуривающему чуть в стороне от трактора мужу:

- Ну и собака-а! Уж думала тут ночевать будем, а ты...ловок.

Едут дальше. Иван пытается рассказать, как заезжий артист давал концерт в мастерской. Иван и трезвый-то любит поговорить, а уж выпивши - несносный болтун, колоколит и колоколит. Ему не нужен живой собеседник: вещи умеют прекрасно слушать. Случись поломка, прежде, чем за ключ гаечный взяться, Иван как бы прислушивается ко-всему, советуется сам с собой, словно подслушав, отвечает мыслям, родившимся в его мозгу.

- Отшельник. Ты видала отшельников? Монах тибетский или аскет индийский. А на плакате намалевали, что поющая душа, какой хрен поющая, ему богат в руки да по миру идти...

- Рули, Ваня, рули.

В ладу живут Третьяковы. Васильевне на деревне тайно завидуют все бабы, ее уважают за прямоту и честность. Большая, теплая, покорная, часто смиренная и молчаливая; но бывают случаи, заиграет беспокойная кровь, в тихих мерцающих глазах вспыхивают огоньки пламени: это Васильевна пошла в наступление. Не пощадит авторитет самого председателя, товарищам из верхнего пояса власти выскажет все наболевшее. Раз «отчистила» главного зоотехника из управления сельского хозяйства, так после того приезжает зоотехник в колхоз и первым делом спрашивает: «Та большая баба все еще работает?» Не по сердцу Васильевне люди тоскующие. Ходила с ней в напарницах молоденькая невзрачная бабочка, сильно любила мужика замужнего. Ребенка от него родила, к себе зазывала, только мужик трезвый своей бабы держался, а подопьет - на сторону потащился. Редкий день Васильевна слез не видит. Надоела ей такая канитель, в магазине отхлестала мужика по щекам. Напарница как кошка, которой хвост прищемили, на

Васильевну шипит, тяпкой замахивается. «Дура ты, дура,- говорит Васильевна. - Не лихо ли каждый день помоями умыться? Поезжай-ко ты куда подальше, переломи судьбу свою. Поверь, пропадешь тут». Послушалась бабочка, уехала, теперь с редким праздником Васильевну не поздравит. И мужика нашла трезвенника, и живут с ним хорошо.

После мостика Васильевна стала помягче, прониклась духом уважения к мужу. «Вот ведь леший какой... говорят, пьян да умен два угодыя в нем».

- Очки у него большущие. Выскочил из автобуса и съезжился весь, живот руками зажимает. Я сначала подумал, может покушать хочет, специально артисту повариха язык бычий жарила...

- Тише, Ваня, все кишки вытрясло.

- А он ко мне. Где, грит, товарищ дорогой, туалет... Мы сидим с мужиками кто как, будто воробьи... Как он запел, как заорал, с балки мне на голову гнездо голубиное упало, мужики хохочут - морда у меня сама понимаешь... Яйцо-то, яйцо-то на нос угодило, разбилось...

- Ой!.. Веком пока жива не сяду в эту колымагу.

- Понимаешь, трактор, допустим, заводишь, ведь гнездо с балки не упало ни разу, а тут... Ну и голосина, мой пускач пересилит. Минут десять нас глушил. Он в автобус, а мы еще с полчаса сидели, в себя приходили. Двигатель не мог на раму поставить, руки трясутся...

Высветили фары мотоцикл «Урал», по номерам - Пашки электрика. Стоит поперек дороги. Кругом поле клеверное. Посигналил Иван - нет, не показывается никто. Объехали его стороной, подались метров полсотни, как кинет трактор с боку на бок! Васильевна сначала охнула - головой о чего-то ударилась, потом закричала не своим голосом:

- Заехали! Пашку заехали!

Иван остановил трактор, испуганно спрашивает Васильевну:

- К-когда?

- Сейчас, - шепотом отвечает Васильевна.

Вышли из кабины, натываясь один на другого, обшарили колеи от обоих задних колес, ничего не нашли. А Васильевна одно твердит:

- Пашкина голова, Пашкина. Вон как бросило...Пашка! Змей ты подколодный!

Молчит ночь. Глуха ночь, как баранья шапка.

- Ой, молчи. Молчи ради истянного Христа... Тюрьма теперь, тюрьма, - причитает Васильевна.

- С чего ты взяла, что задавили?

- Ты что Пашку не знаешь? Экаяловища...После мостика тоже трясло, может, там лежит...Не перенесу.

Закурил Иван сигарету, а Васильевна пуще разорется:

- Искру не зарони, вишь сухмень какой!

Вдруг в черном небе возникло красное свечение, раскустилось - подкова да и только! И стала подкова то вперед заезжать, то назад сдавать, будто ее кузнец клещами шевелит по наковальне, а свечение все ярче да ярче. И вдруг пропал свет, будто ничего не было.

- Самолет, - говорит попыхивая сигаретой Иван.

А подкова загорелась над самой головой, неожиданно, будто выключателем щелкнули. Заплясал от нее свет чудесными разливами, будто бежит издали человек с фонариком в руке, и выхватывает из тьмы белые пятна.

- Планетяне!.. Да брось сигарету, заметят! Затопчи, затопчи скорее!

Это Васильевна подбежала к Ивану, зашипела на него яростно, Поплясала подкова над головами и круто понеслась прочь, к самой земле прижимаясь.

Васильевна перевела дух.

- От ума отстать можно...Пашка-а!

- Улетели, - протянул Иван. - Вот бы на чем прокатиться, а, душа моя?

- Молчи, Ваня, молчи. Ведь тюрьма...

- Да не было никакого Пашки, с чего ты взяла?

- А тряхнуло? У Пашки голова вон какая... Отполз, может быть?

- Я поеду, а ты ищи своего Пашку.

Едва домой приехали, побежала Васильевна узнавать, дома Пашка или нет. Иван присел у конуры, собаке про инопланетян рассказал, попросил ответить, пьян он или не пьян? А то Васильевна...Собака проигнорировала; ясное дело, кому нравится, если тебе в морду дышат пьяным перегаром? Ушел в баню и завалился спать в предбаннике на тулупе.

Достукалась Васильевна, открыли ей дверь Пашкины родители. Удивления у них, удивления...И сам Пашка вышел на крыльцо, небритый, неспавший, в майке и трусах, скребет рукой шерсть на груди. Как увидела его Васильевна, и давай ругать. Обозвала мамонтом шерстнатым. Пашка рот скривил, не понимает:

- А че я сделал?

- Че-че, женись, да жрать кончи!

Бежит домой, Ивана хватилась - нет Ивана! И обмерла: как да на худое решился ее Иванушко, как да и впрямь подумал, что Пашку задавил!..Заметалась туда-сюда, едва не закричала на всю деревню, да догадалась до бани добежать. Прибежала в баню, а спит ее Иванушко на тулупе, и опустила рядом без сил. Платок с головы сдернула, растрепала волосы.

«Давненько я настоящую ночь не видела, - предается воспоминаниям Васильевна. - Сошлись мы с тобой, Ваня, не случайно, вместе выросли, и кусок пополам, и горе общее... Тогда весной пахло. Снег серебрился, месяц рожок выставил и дремлет...Тишина как сейчас была, - Перебирает в памяти

подробности, кои помнит, и радуют ее воспоминания, - это ее жизнь, ее радости и печали. Весьма обыденные подробности, даже смешные сами по себе. К чему обиды вспоминать. Пусть они, насупясь, просятся в душу, да их пускать не надо. - Пока ребята малы были, - ноздри Васильевны как ощущают запах мокрых пеленок, - до ночей ли было, выспаться толком не могла. Потом наша Ксюша заневестилась, - Васильевна подпирает рукой щеку, глаза ее будто видят в темноте расцвевшую у дома черемуху, выйду доченьку встречать - не догуляла свои-то ночи, рано в оглобли завели...» Как всегда после переживаний, во всем было какое-то особенное умиротворение. Все казалось ясным, даже смешным, кротким.

Рано осиротела Васильевна, родила ее мать в лихой послевоенный год и с белым светом рассталась. Голод был страшный. Отца убили на войне. Добрые чужие руки не бросили ее, воспитали как родную, поставили на ноги, и она была за это благодарна не только приемным родителям, всей деревне. Мир, в котором выросла Васильевна, был не всегда добр к людям. Этот мир - колхоз; внутри каждой семьи жили свои боги, незаметные, уживчивые, пришедшие откуда-то из веков, снаружи жили злые боги, выдуманные, назначенные кем-то; злые боги смеялись над домашними богами, это были всесильные, они могли карать и миловать, посылать на смерть и одаривать вниманием. Мать Васильевны воспитывалась тоже в чужой семье. Когда раскулаченного Флегонта Ловгиновича увозили на Печеру, кашляющую от простуды четырехлетнюю Марию намеренно забыли - отнесли ночью к одинокой старушке: далека неведомая Печера, не перенесет волок, а коль суждено умереть, так пускай умрет дома. И мать, и Васильевна в этом страшном мире брели ощупью. Страхи окружали их со всех сторон. Мать боялась, что когда нибудь сильные злые боги вспомнят о ней и умертвят, ее дочь много раз касалась чего-то таинственного и неосознанного, разлитого вокруг ее: всех принимают в пионеры, ее приняли попозже, хотя примерно училась и дрова у школы пилила лучше других; всех принимают в комсомол, ее не принимают, ссылаются на какие-то указания, после восьмого класса подружки в девятый класс пошли да в техникумы поехали поступать, ей директор аттестат не выдает: работай на скотном дворе, потом...

Опустело родительское гнездо, улетели доченьки по разным городам.

Иван все парня хотел, а Бог одну за другой четырех дочерей дал. Старшая Ксюша жаловилась в письме, что не может прижиться в этом городе Мурманске, и погода скверная, и люди тяжелые, и заработки маленькие, и муж начал за воротник закладывать крепонько... Иван тогда и сказал: «Пиши, пускай к нам выезжают. Мужик против - и хрен с ним. Без него подыдем. Мы с тобой... Вот ведь незадача какая: тоже девку родила. Напиши, пускай парня рожает».

Васильевна не заметила, как сон сморил ее. Легла рядом с Иваном на

тулуп, как в молодые годы под бок носом потыкалась и забылась.

Снится на утре Ивану сон. Будто послал его бригадир трамбовать силос в траншее, а топлива нет, и пошел он рыбачить от нечего делать. Зашел в реку почти по самую грудь, хочет закинуть удочку на течение, под обрыв, а удилище коротко. Только шаг сделает, течение аж разворачивает всего, на глубину тянет. Опять выйдет на отмель, вода прозрачная, песок медленно засыпает босые ступни. Около ног снуют маленькие рыбешки. Оглянется Иван на заветное местечко- эх, не достать, а ведь только бы закинуть, вылетит из воды голавль...Топлива нет, председатель уехал христарadniчать к газовикам. Силосную траншею набивают двадцать дней, еще половины не набили, уж начала подванивать масса... Смотрит, у самого берега бутылка из-под пива плавает. Удилищем пригреб к себе, а она тряпицей заткнута. Понюхал - дегтем пахнет. Вытащил тряпицу, как повалит из бутылки синий дым, и в каком-то вихре старик опустился на песок. Иван аж сел от дива дивного прямо в воду, удилище из рук выпустил. Удочку так и понесло под берег течением. Знает он сказки, но чтобы самому... Старик из себя гибкий, стройный, сильный, портяные штаны раздуваются на ногах. «Що, брат, не признал? - спрашивает Ивана. - Флегонт Ловгинович, первый хозяин деревни!». «А как ты в бутылку попал? - спрашивает Иван. - Не представляю...» «Просто: со Смертью в карты играл и бестелесную жизнь у нее выиграл. Условие она поставила: если власть Сатаны продержится дольше, чем праправнук мой родится, пойдет Смерть ходатаем к самому ключнику Петру. Родился мой праправнук! Власть Сатана в руках держит, да близок час падения ее. О, Родина моя!..Какой воздух, какое солнце!.. Скажи, родня моя самая близкая, чем помочь тебе? Хочешь, я подниму весь род наш загубленный и отвоюем пашню у леса? Хочешь, новую деревню в две линии срубим?» «Топлива бы, Флегонт Ловгинович. Силос сопрел, яму силосную кончить не можем», - попросил Иван. «Топлива для голодранцев? - закричал Флегонт Ловгинович. Схватил бутылку, в которой был недавно заточен, и с такой силой запустил в Ивана, что у того создалось впечатление, будто она вышибла ему мозги. - Топлива им! У человека три помощника: терпение, доброта, упрямство. Не будет тебе топлива. В такую пору кто рыбу ловит!? Середина августа, озимой ржи десятины не посеяли. Веком вам из нищеты не вылезти, не хозяева вы, пролетарьи кособокие. Эх, долго терпел и ждал, пробежусь-ко я по родной земле-матушке, крестам подивлюсь новоявленным на церкви!...»

Подтянула Васильевна ноги под себя - зябко, глаза раскрыла - батюшки, день начинается, время корову доить. С любопытством посмотрела на Ивана, рассмеялась, толкает в бок:

- На новом месте приснись жених невесте.
- Васильевна!..Иван!.. Да где вы сидни?
- Кому это мы понадобились...

Сели на тулупе Иван со своей свет - Васильевной, переглянулись и рассмеялись. Легко у обоих стало на душе. Давненько вместе не спали да еще под цыганским одеялом. Смотрят, торопится межой к бане почтальонка Галя, листочком бумаги машет. Увидела Третьяковых.

- Размолодились! Телеграмма от Ксюши! Парень у вас родился!.. Иван порывисто вскочил на ноги, на дверной косяк оперся обоими руками, как озарением охваченный, кричит навстречу почтальонке:

- Флегонтом назвали?

- Ага, им! Еле выговоришь имечко... Еще жить сюда выезжают.

Возбужденный Иван повернулся к Васильевне, указательным пальцем погрозил кому-то, воскликнул:

- Флегонт! По деду твоему однако, надо же?

Васильевна взяла телеграмму, прочитала, некоторое время оставалась неподвижной и слабым дрожащим голосом подозрительно спросила:

- Ты... знал? Скрывал от меня радость?

- Обижает, Васильевна... Сейчас сползаю на потолок, икону достану. Ту, матери твоей. Лица на ней не разглядеть, да то не важно, икону на божницу по ставим...

## ВЕСЕЛЫЙ БРОД

У Ефремовых гостит тетка Клавдия, сестра Танькиной матери. На этот раз привезла пузатенького полковника Клавдия - жгучая брюнетка, у нее усы растут - детишек пугать можно. Глаза необыкновенной красоты и мягкости. Подводит нос, несколько сдвинутый в сторону. Такой нос у Таньки, знать, родовая отметина. Целые дни Клавдия ходит полуголая, в соломенной шляпе. Местный народ уже не охает, завидя полуголую бабу, за последние годы насмотрелись на районных шефов. Их как высыплет в сенокос под деревней, всякого калибра: и худых и толстых, кривоногих и волосатых, хоть картину пиши. На что Вавила Строгов, чудило по женской части, любитель из-за кустов поглазеть на чужих баб, и тот нынче успокоился.

- Я, - говорит деревенским Клавдия, - до того дожила в прокоптелом глухом череповецком переулке, до того мое сердце досжималось от страха поздними вечерами, что на родимой стороншке каждой пчелке жужжащей рада, каждому кустику поклониться хочу, реку бы до дна выпила, а в лес зайду - не отпускает, жаворонок тюрликает, а слезы бегут и бегут, нет им удержу, - все, с чем умирать собираюсь, променяла на пыль да гнилую колбасу; придет час - умру, а лежать хотелось бы рядом с дедушкой. Годы-то, бабы, под угор несутся, а мне по угору побегать охота, вот и радуюсь дню божьему, ветру радуюсь, спокойной минутке; и вы радуйтесь, не отдавайте свою молодость.

А полковник тот с карабином не расстается. Нашел за деревней худой газовый баллон, намалевал на нем белой краской свирепую рожу и знай, палит. Дневная норма - два кармана патронов.

Пошла Клавдия в магазин. У продавщицы радость: внучка родилась. Таковую радость на килограммнике не перевесишь! Кричит по телефону, захлебывается всей родне, всем знакомым, от Клавдии рукой загородилась.

Сидит Клавдия у магазина на водочном ящике. Кругом зелень - преобладают крапива и лопухи, в полдень дождик собирался покропить землю, да тучки расползлись, и теперь над синью и далью колдует тишина. Пахнет... - нет, не морем, пахнет кислятиной - за углом магазина свалка из банок с разносолами, штабеля ящиков, табуны мух. Колченогая старушонка Парменовна тычет батожком что-то и приговаривает:

- Э, дурак толсторожий.

За подол бабкиного сарафана обеими ручонками вцепился малец лет четырех, на Клавдию глаза выпучил. На парнишке кумачовая рубашка, во рту свисток.

Интересно Клавдии, чего бабка делает, кого выжимает из-за ящиков. Подошла, глянула, смех одолевает лежат в обнимку двое парней, у обоих на лицах капустные листья.

- Пашкудники, - шамкает Парменовна, - ишь, до чего сыты.

- Женька? - спрашивает Клавдия.

- Он. Ну-у, вставай! - бабка сердито тычет рыжего парня куда попало. Парни расцепились. Рыжий подергался всем телом, сел, уперся руками в землю. Под левым глазом фингал, брюки по ширинке разорваны.

- Басок, басок, - неодобрительно говорит Парменовна.

- Чунга-чанга, белый пароход! Чунга-чан-га, праздник круглый год! - вдруг дико заорал парень.

Малец с перепугу чуть не повалил бабку - еле жива стала Парменовна.

- Не шави, иди домой... Скажу матке, паш-кудник.

- Вавила-то ваш на пенсии? - спрашивает Клавдия.

- Шкоро первую принесут, - говорит Парменовна и медленно осматривает свежую пышущую здоровьем горожанку и медленно спрашивает:

- Сама-то как?

- Как медному котелку, служить да служить...

Пришла Клавдия домой, племянница Танька окрошку хлебает. Прибежала с наволоку перехватить чего-нибудь.

- Садись, садись, тетя Клава!

- Чего так торопишься-то?

- Да некогда!

- Все некогда... - Клавдия присаживается, берет тарелку, наливает из

кастрюли крошку. - Охотника моего не видела!.. Как дите малое, не настрелялся еще... За магазином сейчас лежит Женька, хахаль твой, с ним еще один, коротышка, рожи у обоих в капустных салатах...

- А ну их к черту, всех хахалей. То ли дело жить вольной птахой! Танька в первый год поступала в пединститут - провалилась на экзаменах, на другой год пыталась счастье в мединститут - забоялась крови, сей год хочет учиться заочно на бухгалтера.

- Давай, завтра за тебя коров попасу? Хочу весь наволоок пройти от Ближних покосов до Дальних.

- Комаров - ужас! - выразительно говорит Танька.

- Ничего, потравимся... Смотрю я, Таня, на свою деревню и не признаю. Тоска какая-то на деревню напала, народ как не живой. Раньше веселее жили, не шарахались... Помню, в твои годы, раз проснулась ночью, тесно мне, жарко, за окном птичка щебечет. И так щебечет, будто на улицу меня вызывает. Вышла, от реки гармонь душу рвет - Вавила Строгов играл, месяц белый, ясный, высокий, золотисто блестит крыша конюшни... И камней закладных от конюшни теперь не нашла... Бегу к реке под угор, остановлюсь, гляну на небо, и радость во мне разливается, и нежность... Быстро, Таня, годы летят.

Танька не выдержала, расхохоталась, сорвалась с места, кинулась на грудь тетки.

- Чего ты старишься?! Ты такая молодая, такая подвижная, мужем новым обзавелась...

- Замуж вышла, - наставительно поправила Клавдия. - Муж - не чемодан. А ты пример с меня не бери, худая примета на переменных ездить.

Наутро Клавдия, под неодобрительные речи сестры, побежала на ферму. Ее племянница звонко кричала на своих буренок.

Клавдия, сегодня одетая в платье с вышивками на груди, стоит против дверей, оттопырила локти, чтобы ветер освежил вспотевшие бока.

Кругом крики, мычание, собачий брех.

- Наперед, Клавдия, заходи! - надломанно кричит ровесница Клавдии Тамара, сочная толстуха, махая белым платком.

Клавдия в ответ поднимает руку.

Пестрое стадо неохотно поплелось на пастбище.

Вышли женщины на Ближние покосы, уселись на камни-валуны.

- Помнишь? - говорит Тамара и замирает.

- Помню, - глухо говорит Клавдия, - и елочки были малюсенькие, и наволоки как бритвой выбриты. А теперь? Теперь и ели черту до уха, и наволоки кустами затянуло...

- Стоим нетерпеливые, взволнованные, а гармонь Вавилы наяривает... А пели как... - говорит Тамара.

- А плясали!.. - подхватывает Клавдия нить воспоминаний. - Парни

нас выхватят из круга, волокут к реке, смеху-то, визгу-то...

- Тогда, Клавдия, красива же ты была. Головку заопрокинешь, загляденье...

- Здорово, девки-матушки! - Неожиданный мужской голос заставил обеих женщин вздрогнуть.

- Фу, подкрадется всякий раз, - пробормотала Тамара.

Из кустов выступил сухопарый мужик с живыми блестящими глазами.

- Будто и напугалась, - хохотнул он. - Здравствуй, Клавдеюшка! Клавдия сразу признала Вавилу Строгова, был он все таким же, как четыре года назад, разве что на висках седины, как серебра накладного, стало больше.

- Вавила-а, - потянулась к мужику Клавдия. - Хоть бы в гости когда зашел... Иди к нам, присядь. Куда разбежался-то?

- Да бригадир послал изгородь подновить, а то, говорит, любят эти бабы на теплой земельке поваляться, а коровы на потравах.

- Ага, на потравах, будто вы с бригадиром-то выгоняли когда, - нарочно сердится Тамара. - Подновил уж, а?

- Какое, еще только правлюсь... - Вавила присел на землю рядом с валуном, на котором сидела Клавдия, достал портсигар. - Дай, думаю, приворочу к Веселому броду. Петров день на носу... Вот, бабы, старею я, что ли? Сижу, бывает, здесь, и гул под собой чую, как в сон проваливаюсь, а девки поют, поют...

- Шампанское не прокисло, пенсионер?

Вавила, располагающий к себе, сметливый, добродушный, беззвучно смеется.

- Доколотился, девки-матушки... Чего греха таить, и рад этой пенсии, и не очень. Рад, что отныне денежки каждый месяц принесут, и я казак вольный, а не рад - вчистую меня списывают.

- Полно, Вавила, - Клавдия хочет показаться беспечной, но в голосе слышались ностальгические нотки. Ресницы бросили тень на дрогнувшую щеку.

Вавила пристально посмотрел на Клавдию.

- Редко ездить стала, Клавдеюшка... - Помял в пальцах сигарету. - Хотя времена стали... Вот решил я, девки-матушки, первую пенсию пропить!

- Хаа-ха, пропьешь, тебе Павловна проплет!

- Омману, ей-богу, омману, Тамара! Пошлю мать получать, а сам за магазином спрятаюсь.

- Да ей до почты не добрести, сочинитель.

- Добредет... Мы нынче, девки-матушки, с хозяйкой национальность поменяли, - начинает бухтить Вавила. - Мы нынче россияне. Президент обращается к нации, а мы-то русские - стало быть не к нам. Начали с того, что

я к кровати скамейку приставил и спать начали двуглавым орлом. Хребтина вроде общая, а ноги каждый под себя жмет. Мода у нее одеяло на себя тащить, так живо отучил. Как суну кулаком своим костлявым под жирный бок! Не черноморский флот, хоть ты и россиянка! Пугать стала Соросом. Дескать, дочь-то премию этого Сороса получила, теперь мы с ним чуть не кумовья. Давай-давай, лучше в ООН обратись...

Вавила резко оборвал свои басни, спросил:

- Долго погостишь-то, Клавдеюшка?

Клавдия пожала плечами, криво улыбнулась.

- Настреляется мой полковник, тогда и...

Смутный, нарастающий шум едва уловимо шел лесом. Слабый поток достиг мшистых валунов, чутко наклонил и расклонил сочные лопухи, дохнуло свежестью; гул накатился следом и пропал на высоком, пологом уторе.

Вавила добродушно засмеялся.

- Не спешите, девки-матушки, дождик будет да ближе к вечеру и то не сильнее вчерашнего.

- Дождь тебе бы на руку, оправдался бы перед бригадиром, что потюкал хреновенько, - говорит Тамара.

Вышла из кустов белая корова, поприветствовала каким-то сорвавшимся кашлем. Тамара хлестнула по земле вицей, прикрикнула:

- Опять меня пасешь!.. Иди, иди к стаду, не смущай.

- Племянш-то твой не женился, Вавила? - спрашивает Клавдия.

- Не говори, - Вавила устало махнул рукой. - Какая женитьба, как дума одна: нажраться? Винит вашу Таньку, мол, она с рельсов его спустила после армии. А какие рельсы, коль прошлой зимой собак бродячих с дружкой Андрюхой ловить стали да китайцу какому-то загонять? Стыд. Иди, говорю, контрактником в армию, так ни в какую: чтобы подохнуть черт знает за кого? Эх, Клавдеюшка, кажется мне порой, что жизнь катится в тар-тарары. Как себя помню, все время о Петровадни здесь песни пели, хороводы водили, а теперь...

Некоторое время Клавдия молчала, понутив голову: слова Вавилы подействовали на нее угнетающе. Вавила покуривал, обновлять изгородь он явно не торопился. Наконец Клавдия подняла голову и лукаво посмотрела на Тамару. Бросив на Вавилу еще более лукавый взгляд, робко спросила:

- А если собраться всей деревней, как раньше собирались?

- Что ты, Клавдия... - засомневалась Тамара.

Вавила затоптал сигарету.

- Отстала ты от нашей жизни, девка. На собрание никто идти не желает, разве сюда... Заросло все, костер запалить и тот негде.

- Вырубить! - Клавдия вскочила, пробежала по кромке леса и обратно. - Вырубить все до самой реки! И ни грамма спиртного! - Подскочила к Вавиле, жарко сказала: - Пока живы!

- Интересно, конечно, - протянул Вавила, почесывая за ухом. - Ленив народ на подъем...

- Собрать можно, - сказала Тамара, - расшевелить бы...

- Мой полковник с карабином придет - стрельба по мишеням!

- Пострелять и я не прочь, - засмеялся Вавила.

- Ты играть будешь, Вавила, да так играть, чтобы эти ели разбудились!  
- воскликнула Клавдия. Подбежала к Тамаре, обняла ее: - Назло старости!

- Тогда, девки-матушки, начну-ко я благословяся кустики рубить, - Вавила поплевал в горсть, поднялся.

И правда, не успела Клавдия сменить платье - как и предсказывал Вавила, дождь настиг дорогой. Клавдия велит Таньке, как коров бабы подоят, не расходиться.

- Новый лектор-международник? - заливается смехом Танька.

Ушли бабы за коровьими хвостами, рубит Вавила кусты, в кучи кладет, нет-нет да усмехнется себе под нос, головой покачает: и изумление, и недоверие будущему празднику оказывает. Ведь как порой раскрывается сердце человеческое? Вот живет Клавдия в городе, раз в три-пять лет в отпуск придет. Что он про нее знает? Только то, что каждый раз нового мужа привозит. Манит ее деревня, хлебнула вот щедрого солнца, родного чистого воздуха, и взбунтовалась кровь. Не хочет Клавдия стариться, хочет подольше молодой пожить. «А мы окисли, - вздыхает Вавила. - В водке утонули...»

Сказано - сделано: на другой день Клавдия пошла со своим полковником на Ближние покосы. Вместо карабина несет полковник два топора.

На дверях магазина красуется свежее объявление: «Земляки! Веселый брод собирает тех, кто сердцем молод! Ни капли спиртного! Песни, пляски, как в прежние времена!»

Интересуется народ свежей бумагой. Кто смеется, кто неодобрительно покачивает головой: эко втемяшилось некоторым, будто в сенокос нечего делать.

Идет Парменовна со своим правнучком, тычется подслеповатыми глазами в объявление. Пока бабка шамкает, малец свистит в свисток.

- Пойдешь на пляски-то? - спрашивает в магазине старуху бойкая на язык продавщица.

- Не дойти. Кабы повезли, чего не побывать, - спокойно отвечает Парменовна. Продавщица резко вздернула плечами.

- Век свой с одним идиотом маешься! Вон у Клахи мужиков перебивало как сельдей в бочке, а все не перебесится!

В глазах продавщицы сверкала обида за свою загубленную жизнь.

- Что ты, Валя, внука родилась... - дрогнувшим голосом говорит Парменовна, но продавщица одергивает:

- Бери да уходи! - ткнула пальцем по направлению окна, добавила:

- Ну-у, гусь еще тот этот полковник!

- Капризная ты стала, Валя.

Ближе к вечеру сарафанная почта разнесет по деревне новость: зять продавщицы на радостях задурил, истоптал три стула и снес заморскую люстру. Приворачивает в магазин рыжий хулиганистый Женька с дружкой, и тоже объявление читают.

- Брод-сброд... - хмыкает Женька. - «Ни капли спиртного!». А на хрена нам нужны такие посиделки? Танькина рука. Берегли, мы ее, Андрюха, всем классом, берегли, никому не досталась. Помнишь, как на богиню молились... Испортит ее усатая тетка, вот с места мне не сойти.

Лохматый, широкоплечий и маленького ростику Андрюха со взрытым оспой лицом молчит, перекладывает во рту незажженную сигарету.

Андрюха не имеет своего голоса, он привык во всем подчиняться Женьке.

- Отношения у нас аховские, - продолжает Женька. - А почему?

Андрюха молчит.

- Во! - выразительно щелкает себя по горлу. - Увлеклись не в меру. - Женька схватил дружку за руку: - Как да увезет Таньку, а?

Андрюха пожимает плечами.

- Увезет... Усищи видел какие!.. А если с теткой поговорить?

- Лучше с полковником, - неожиданно говорит Андрюха.

- Умница! - Женька треплет дружку по шее. - Молоток, Андрюха! И мы не рыжие - давай к Веселому броду!

## БОЕЦ МУТОВКИН

Деревня охвачена пожаром осени, ветер разносит серебряные нити паутины. На озадках, возле бань Мutowкиных и Захарьиных, багрянцем пламенеют несколько дрожащих осин, перед окнами домов в золотистом сверкании тихо роняют листья березы. Несколько дождей отделили лето от осени; радужно отсвечивают стекла в рамах, дома сразу как засиротели, чувствуя холодок; вечерами по низинам курится вкрадчивый туман, и замирает сердце от неведомого торжественного зова. Растревожится душа о такую пору, распахнется памятью прожитых лет, перед мысленным взором промелькнет молодость, и придет душа в совершенное беспокойство, пустится себя казнить, станет искать в ночном куполе свои звезды, на вечеру слушать своих журавлей...

Суетливый, подвижный Филипп Паромонович Мutowкин был в таком возрасте, когда уже не стареют. Этот возраст каждому из нас определяет прожитая жизнь; как агроном отводит поля под посев тех или иных культур,

так и годы наши распашут чело морщинами, засеют мудростью, а сожнут урожай для людей пригодный или нет, то одному Богу ведомо.

Филипп Паромонович Мutowкин внимательно читает газету. Воротник рубахи расстегнут, дышит хрипло, судорожно. Очки то и дело соскальзывают на нос, Филипп Паромонович имеет привычку водворять их на место точечным ударом указательного пальца.

- Перехлест, - ворчит Филипп Паромонович.

Послужной список Филиппа Паромоновича начался от бочек со спиртом около ветбаклаборатории, потом была учеба в совпартшколе, был агроном, председатель сельсовета так далее; одним словом, затычка в номенклатурной бочке. Он вечно балагурил, знал много анекдотов, на редком собрании просидел молча. Он рвался в бой. Мог говорить подолгу на любую тему, врал (ему не верили: не может нормальный человек запомнить все решения партийных съездов, пленумов, конференций; мало своей трескотни, попутно прихватывал и французских коммунистов, и английских горняков) да подмигивал правым глазом под взерошенной бровью. Председательствующие на собрании выпускали Филиппа Паромоновича тогда, когда говорить было не о чем (вчера молоко да навоз, и сегодня навоз да молоко, а идеологии нет, а ленинская всепобеждающая философия дремлет, а уполномоченный райкома партии сердито ерзает на месте!), уже в зале нарочно раздается похрапывание да посвистывание, в протоколе собрания секретарь рисует женские головки, вот тут и вступал в бой коммунист Мutowкин, вдохновитель масс. И ведь отыщется зерно во всей мutowкинской шелухе, или уполномоченный райкома партии за что-то зацепится, или сам Мutowкин запнется, но протокол собрания начинает вырисовываться с позиций основного вопроса.

- Гля, хихикает над ухом Филиппа Паромоновича жена, ссохшаяся, сутулая Александра, - у соседей опять спектакль.

Филипп Паромонович сдергивает надоевшие очки, смотрит через стекла на улицу. Из собачьей конуры выползает Гришка Захарьин и не может выползти. Рядом с конурой стоит Гришкина теща, толстушая Павла Сергеевна, уперла короткие руки в крутые жирные бока. Хохоchet. Мutowкины слышат ее зычный голос:

- Маринка! Тащи кол покрепче!

Большой черный пес обрадовался освобождаемой жилплощади, прыгает, то лизнет Гришку, то отскочит, весь изгибаясь как циркач.

На зов Павлы Сергеевны мгновенно появилась Марина, наклонилась над мужем, чего-то сказала, распрямилась, зло сверкнули ее глаза. Мutowкины отпрянули от окна.

- Тесновата дырка-то? Господи, совсем же ты шальная багула!

Трещит собачья конура, отлетают доски, вылезает на свет Гришка,

огромный, хмурый, присел над конурой, ищет в ней рукой штаны, а Марина как пнет под задницу, Гришка головой опять в конуре. Вскочил, с кулаками кинулся на жену, а теща - Павла Сергеевна сама режет скотину, с топора валит лес на дрова приходит на помощь дочери, дубасит зятя по спине кулаками. Пустился Гришка бежать, прикрывая срам руками, собака с лаем за ним.

- Ну их, - махнул рукой Филипп Паромонович. - Не привыкать. Сами и виноваты. Сегодня прогнали, завтра зовут. Гришка этот ровно короед, пока замерз - смирен да тих, а отогрелся и почал их грызть. Ужо я прочитаю ему...

- Не надоело, батко, горло-то в пустую рвать?

Смотрит Александра на мужа, по выражению лица пытается понять, угодила ли своей речью. Хотя и делает Филипп Паромонович вид, что озабочен соседями, но жена чутьем понимает, что начитался опять ее Филиппушко газетных статей и надо ему выговориться. Жить не может без бесед поучительных. Собраний давно нет ни партийных, ни колхозных, и народу в деревне умного убыль заметная...

- Ну не гоже так!

- Не гоже, - вздыхает Александра. - На деревне бают, Клавдия Овечкина из Мурашина мужика из города выписала. Военный. Тихий, культурный, Клавдию под руку водит, называет Клавдией Мартыновной.

- Зато первые два мужика орлами были. Детишек настрогали и по тюрьмам ушли.

Опять вкрадчиво шелестит газета. Вот новость так новость: Селезнева Зюганов попер из партии! С бешенством разлившейся реки в сердце Филиппа Паромоновича вернулась та почти забытая мука, с которой он глядел на Шестакова: - тракторист Шестаков написал заявление о выходе из партии. И это в самый разгар перестройки! Минуло то время, пререстройка кроме вреда и глупости, потери доверия власти, не дала ничего. Мутная пелена, окутавшая страну, рассеялась, все встало на свои места. Нет прежней ярости, нет войны за талоны на водку, на продукты, на саму жизнь, рев перешел в ворчание, в денежную сытость. Нужно немедленно принять необходимые меры, жаль Москва далеко... Не любит Филипп Паромонович уединения.

- Саня, слышь-ко...Саня!..По гостям утянула. Это надо же!..

Слепые! Зачем дробить партию, зачем?! Разве не видят в Москве, что ошетинился народ, вовсе никому не верит. Аж в ухах зазвенело от такой новости. «Доисключают, начнется заварушка... Уж не измена ли? Надо написать письмо товарищу Зюганову. Да как можно, товарищ Зюганов? Сейчас каждое слово, каждый необдуманный поворот в политике чреват тяжелыми последствиями».

Филипп Паромонович сидит на крыльце. За спиной раздается скрип шагов: вернулась из гостей Александра. Все замерло на деревне, утомонилось, во всем лад и покой - неправдоподобно кроткий покой.

Правится домой Гришка Захарьин. Вроде трезвый.

- Григорий, приворачивай, - зовет Филипп Паромонович соседа. Сосед украдкой глядит на свой дом; он даже головы не поднимает, он скорее слушает свой дом.

Соседи сидят на крыльце. Разговаривают. Больше говорил Филипп Паромонович, оглядывался на вздыхающего Гришку, почти физически чувствовал, как того будто кто мучительно сотрясает изнутри. Филиппу Паромоновичу было хорошо подле Гришки. Не важно, понимал слушатель или нет, главное - молчал. Ох и досталось в этот раз товарищу Зюганову!

- Григорий, который год спросить тебя хочу: зачем ты пьешь столько? - негромко спросил Филипп Паромонович.

Сосед как-то удивленно взглянул на Филиппа Паромоновича и что-то прошептал.

- Не понял, Григорий, не понял, - обрадовался Филипп Паромонович. - Ты скажи, тебе легче... - запнулся и растерянно добавил. - Бывает.

- Чего говорить, - глухо сказал Гришка. - Так. - Стиснул зубы, весь подался вперед. - Ведьмы.

Гришка поднялся с крыльца и, ссутулившись, не стал выходить через калитку, оперся рукой на штакетины, пошатал, присел и прыгнул на свою территорию. «Ничего-то не вошло в его крутолобую башку. Черт побери!»

С приближением ночи интерес Филиппа Паромоновича к соседям усилился, ибо теперь в доме Захарьиных происходило что-то серьезное.

Какой-то глухой шум, похожий на затяжную возню ребятишек издавал дом Захарьиных. Крепкая баба Павла Сергеевна, не любит, когда надо всем смеются. Она смеялась только над чем-то своим, но над чужим - стыдно. Нередки у нее стычки с деревенскими бабами. Может быть, сейчас она необычайно серьезна, бледная от волнения, распекает Гришку? На деревне ее не любят, скорее боятся. Филиппом Паромоновичем овладело странное любопытство: вроде, раньше и не такой шум да грохот бывал, теперь... Торопливо накинул на плечи фуфайку, вышел на улицу, прижался к стене. Было немного холодно, от бань слышались шелестящие звуки переговаривающихся осин. Постепенно у соседей все стихло, и напрасно Филипп Паромонович прядал ушами, он ничего не вызнал. «Раньше я с пользой жил, - думал Филипп Паромонович, ворочаясь на кровати, - предназначение у меня было в жизни. Случись бы раньше раскол в верхних эшелонах власти, да это «ЧП», да мы бы в каждой парторганизации принципиально подошли к этому вопросу...вон Шестаков...» Вздохнул Филипп Паромонович: с Шестакова все началось, он сам себя на заклятие отдал, а уж дурной пример заразителен; что ни собрание, то заявления о выходе из партии. Высокий, мускулистый, с таким видом, словно черт ему не брат, вышел перед собранием Димка Шестаков и говорит:

- Надумал я покинуть вас, дорогие мои единомышленники.

Модным тогда это слово было «единомышленники». И секретарь райкома собирал свою команду из них, и генсек Горбачев опирался на язвенников и трезвенников, и даже свой секретарь парторганизации - стрелочник, дул в ту же дуду, Филиппа Паромоновича звал единомышленником. Все затаенно ждали от этих "единомышленников" каких-то кардинальных перемен, да в какой бочке деготь был, в ту мед не льют: потолкали единомышленники друг дружку под бока, на том и перестройка кончилась.

Стали Шестакова стыдить, он как плечи крепкие расправляет, развязным тоном отвечает:

- Не могу, пьющий я. Баба совестит, уходи, грит, из партии, не позорь и себя, и меня. Потому и покидаю.

Тогда и вскочил с места Филипп Паромонович, лицо его побагровело, казалось, он борется с удушьем. Схватился руками за спинку впереди стоящего стула, дрожит всем телом, сам смертельно бледный. Сидящая на том стуле краснощекая доярка Азарова перешла на другое место. В зале засмеялись, посыпались шуточки в адрес Азаровой. Филипп Паромонович не произнес не слова, он рухнул на стул. При всей благосклонности к Филиппу Паромоновичу секретарь парторганизации не скрыл своего разочарования по случаю такого конфуза, отпустил намек-шпильку:

- Вот, Дмитрий, каковы последствия твоего верхоглядства.

Просьбу Шестакова не удовлетворили, от членства в партии не освободили. Страшно стало мужикам, не знали они, горевать или радоваться. Из партии исключали только в самых крайних случаях, обычно до последнего вздоха коммунисты числились коммунистами, их и хоронили в гробах, обитых красной материей. И начали Димку Шестакова склонять по всем падежам, то на бюро райкома партии, то экстренное партсобрание: исключили с формулировкой: «... как осквернившего светлые идеи...». Еще и в районной газете пропечатали. Забыли в газете помянуть, что Димка Шестаков дважды орденоносец.

Встречает Димка Шестаков Филиппа Паромоновича, руку жмет, благодарит, что от ярма позорного освободили.

- А так бы третий орден дали, - укоризненно говорит Филипп Паромонович. - Беспартийному да с таким волчьим паспортом кто теперь даст?

- Звезд этих в небе как рыбы в прудах, хватит на всех с лихвою, - неподражаемым голосом самого Высоцкого пропел Димка. - Боец ты, дядька Филипп, но... с обозной повозки. Я ведь в пику власти.

Месяц побледнел и слился с мутным небом, потухли звезды. Восток был холоден. У соседей около конуры приبلудная пестрая собака жадно рвет зубами коровий мосол, воровато озирается кругом. Бойтся. Как да налетит

хозяин!.. Сырые ключья тумана в логу начали незаметно таять, вместе с зарей на осины у бань слетелись три сороки, резко и тревожно застрекотали. Почти у самого нижней ступеньки крыльца невидимый крот выдавил черный ком земли.

Какое-то отстранение от всего чувствует Филипп Паромонович. От утра, от кошкиного мяуканья, от свежего воздуха, от беспокойных сорок и от самого себя; прожит еще день, а сколько еще таких дней он проживет? Если раньше в нем жила надежда, то день за днем она пропадала; он становился все более свободным и эта свобода холодила всего. Самое серьезное, самое настоящее наступало именно теперь; он боялся больше всего теперь показаться беспомощным, жалким; не исчезает полностью никто и ничто, не может исчезнуть - память людская тому порука, он еще не дошел до грани страха исчезновения, было порой обидно, что много не доделал, много не подумал; каждый раз вот он задумывался о чем-то важном для себя - то, и что важнее этого нет ничего на земле, он догадывался по какому-то внутреннему голосу: ни о какой суете, ни о каком тщеславии не думал он, просто пожить бы еще подольше, вернувшись к самым истокам жизни, - когда-то семеня он, уцепившись за подол материнского сарафана, - мир был огромным, мир был добрым, счастливым...

Филипп Паромонович неторопливо достает из футляра очки, напяливает их на нос. С утра пораньше шелестят газеты. На плитке запел чайник.

Александра ставит его перед мужем, и оба принимаются за чаепитие. Филипп Паромонович как-то растерянно бормочет:

- Надо бы дойти...

- Куда пойдешь- то? - интересуется Александра.

- До Димки. До месье Шестакова. Нечего было обещать, раз сделать не может. Морозы не за горами.

Нынче Дмитрий Шестаков глава сельской администрации. Когда назначали, вспомнили, что в свое время Димка выступил против коммунистов и был ими бит. Его нынче даже в газете называют « демократ Шестаков», а мужики прозвали «месье», каким-то ветром занесло в здешние края богатого француза, интересовался лесозаготовками и к Димке все «месье» да «месье». Ничего у француза не получилось, далеко его Франция от нашего района, и народ наш на подъем тяжелый. Особенно по утрам.

Обещался демократ Шестаков завалить ямы по деревне, сделать дорогу как «Москва-Варшава», да что-то застопорилось у месье Шестакова, скорее всего нет денег.

- Хвастуны эти демократы. Только и слышно, мы да мы, да как живем хорошо, как дышим глубоко, - ворчит Филипп Паромонович. - Дойду.

- Зря.

- Знаю, что зря...Подторопить надо.

- Раньше-то не кланялись. Вспомни-ко, как ты последний мост через реку делал? А выстилку от скотного двора?

- Тогда народику-то сколько было?

- Ну-ну, народу и сейчас много. Отчего тот же Гришка пьян? - качает головой Александра, - делать нечего.

Странное дело, но когда Филипп Паромонович вышел на улицу, он радостно, тихонько засмеялся, вглядываясь из-под руки в сторону осин у бань, он теперь знал, что ему делать. Он должен быть там, около ям на дороге, потому что мир в его глазах окончательно перевернулся, и все ценности поменялись полюсами. Он должен быть там, где нет границ в огромном человеческом пространстве; ведь начала же в новой жизни просматриваться некая прозрачность, начали складываться новые отношения, почему же он должен жить если не изгоем, то отщепенцем?

Шестаков назвал его бойцом с обозной повозки, только... поторопился.

И, стучась в дом Захарьиных, он все больше убеждал себя, что поступает правильно, он предвидел новые изменения в своей жизни. Вышла Павла Сергеевна. Лицо припухло. Только заикнулся Филипп Паромонович про Гришку и перехватил ненавидящий взгляд женщины. Он бессознательно почувствовал, что не зря ближе к ночи в доме был шум. Ненависть постепенно ушла из ее глаз, она даже постаралась улыбнуться соседу, как бы говоря: «У всех все бывает».

- Зову Григория ямы латать на дороге. Зима скоро, приспичивает.

- Сколько? - спросила Павла Сергеевна, потирая ладонью подбородок.

- Чего «сколько»? - спросил Филипп Паромонович, хотя ясно понимал, что соседка спрашивает, сколько платить будут зятю за работу.

- Держим как кабана на откорме... Принесет сколько домой?

- А ни сколько. Не все ли равно, и так целыми днями ничего не делает, - откровенно сказал Филипп Паромонович.

- Эво как! Раскатал губу. Одно дело сам по себе, другое - на дядю. Тебе что, у тя пенсия, а ему? Месяе платить будет?

Сказала Павла Сергеевна зло, с застарелой болезненностью, глаза отвела в сторону. Постояла так, распахивает двери и кричит:

- Гришка-а! Какого лешева!

Стоят Гришка с Филиппом Паромоновичем у Захарьиных посреди улицы: Филипп Паромонович говорит, Гришка молча прикидывает. То, что предлагал Филипп Паромонович, было несколько непривычным, забытым, с другой стороны, как на смех выйдет с лопатой. Кое-кто с ехидцей спросит, много ли в день «заколачивают» на субботнике.

Запрягли лошадок - всего их четыре осталось в колхозе. Поехали в местный карьерчик за песком.

Накидывают первую телегу, Гришка недовольно повернул к Филиппу

Паромоновичу всколоченную голову с несколько ассиметрично расставленными глазами:

- Не велика от нас подача. Много ли на тележке утрешь?
- Согласен. Но седни потрем, завтра потрем, яму и завалим.

Как в молодые годы сидит Филипп Паромонович на лошадке на одном боку, знай, понукает. И несравнимое чувство гордости и грусти охватывает его. Пусть он не сделал на земле больших дел, пускай; но пусть после смерти добрым словом вспомнят дорогу, которую они с Гришкой будут чинить. И первые любопытные бабы, спросившие, вовсе не озлили Филиппа Паромоновича, наоборот, ему не песком, собой захотелось заполнить яму.

Через четыре дня прикатил на «москвиче» Дмитрий Шестаков, походил по засыпанным ямам, потоптался, бурчит:

- Позоришь меня, дядька Филипп.

- На тебя надейся, как же... - не прекращая скидывать с телеги песок, говорит Филипп Паромонович. - Ты нынче распустил перье, Митька, не подступись к тебе. На французов надеешься? Не надейся, им лес надо, а мы с тобой да с Григорием им не нужны.

- Я сказал же! - Резко и враждебно сказал Шестаков. - Какого те черта надо?

- Такого. Сказал - сделал, вот за что власть уважают.

- Да знаю, - опять резко, хотя уже несколько иным тоном отозвался Шестаков. - Во всяком случае платить я вам не буду.

- Знаю, - с неуловимой и доброй насмешкой в голосе, сказал Филипп Паромонович. - У этой власти нет и не будет денег. У старой деньги были. До дорог ли вам, голодному легиону чиновников? Сами себя накормить не можете, сбоят ли душа о народе?

На пятый день к Филиппу Паромоновичу и Гришке присоединились еще двое, потом народ потянулся, и звать не надо. Нашлись и тракторы, и топливо, даже выпить на что нашлось. Даже дождь не помешал, работают с задором. Странное дело: Гришка от выпивки отказался. Предлагал Филипп Паромонович, мотает головой.

- На исправление пошел, - говорит, - заставили перегородку поставить. Живу в закутке.

- И спишь один? - прищурился Филипп Паромонович.

- Один. Не пытай, не буду.

Филипп Паромонович одобрительно подтолкнул соседа в бок.

- Как теща-то? Долго прокипит?

- Хрен ее знает. Ведьма.

- Как думаешь, почему народ всколыхнулся?

- Назло Митьке. Ишь, Наполеон какой.

## АФОН ПРОТИВ ВСЕХ

другу Аполлинарию

Два часа ночи. Сторож Иван Щеголев стоит в кормовом тамбуре, курит, стряхивая пепел в подставленную ладонь. Через щелявую, колесами тракторов и телег крепко целованную дверину смотрит в темную даль. На улице дулит непогоду, завивается снежная пыль в прорезах.

За рекой на столбе у дома Витьки Плотникова электрический фонарь, будто поздний гуляка, выписывает кренделя и дорогу домой не отыщет. О чем думы одинокого сторожа? Обо всем на свете, ночь длинная-предлинная, не раз челнок прожитого передернешь.

Вот он представляет себе спящего Витьку, во сне у Витьки отвисли губы и обмякло лицо. Жена его, краснощекая толстуха Галина, напустив на себя беззаботную веселость, осторожно опускает ноги с кровати - в кухне спрятана бутылка с самогоном. «Последняя это перемена, когда баба запьет горькую, - прочувственно думает Иван. - Дура, вдруг Витька застучает!...» Будто наяву видит Иван Витьку: стоит он, мрачный, хмурый, подавленный, нерешительно скребет затылок. «Воспитывать будешь? Воспитывай», - скажет вызывающе Галина и усмехнется криво. И плюнет Витька с досады на пол, и пойдет обратно в спальню. «Прав был покойник Косыгин: у нас пьют от безделья». Галина сделает отчаянную гримасу - до чего же самогонка противна, как ее люди и пьют, закинет голову назад и медленно выльет содержимое стаканчика в рот.

Напротив Витьки Плотникова проживает дурачок Митя. Как мать умерла, вовсе осиротел, оброс и завшивел. Любимое занятие у Мити-радио слушать. Хоть зимой, хоть летом, сидит в одних трусах, в валенках да наброшенной на плечи облезлой шубе у приемника. Заходит с пирогом сердобольная старуха, первым делом спрашивает: «Что новенького, Митя?» Тяжело вздохнет Митя, посидит с закрытыми глазами и ответит печально: «Народ безмолвствует».

В состоянии дремоты Иван чувствует, как он устал и вымотался, измерж. Зевота одолела, на крыше безрукий громила пытается с «мясом» оторвать оцинкованные листы железа. «Сколько наступал, - Иван как бы оправдывается, доказывает бригадиру и мужикам, что как люди мы великодушны и щедры, но как колхозники - сплошь доживалы, ни Богу свечка, ни черту кочерга. Около дела правим без понукала домашнее хозяйство, зато равнодушны к «дяде-колхозу», у которого «бычья шея». Ни у кого душа не сболит, что лежит вустронье корова, промежности разорвавшая, что ручьем течет водопроводная труба, что долго-коротко ветер раскроет крышу. - Пустое

говорить, природа и та супротив нас идет: бунтует, наказывает за неумение дорожить ее благами. К утру стручков наставит, а соломы на дворе на раз надавать».

Сплюнул на ветер, подтянул брюки, побрел по проходу.

Ивану Щеголеву с Троицы идет пятьдесят второй год. Из себя невзрачный, нахотелый, остролицый, со вздернутым носом. Серые глаза светятся откровенной неприязнью и упрямством. Характер неровный, крикливый. В разговоре легко перескакивает с одного предмета на другой, он может гнуться до предела, чтобы в какое-то мгновение выпрямиться и, выпрямившись, стоять на своем до конца. Он может стерпеть обидное оскорбление и промолчит, глубоко презирая краснобаев, как и подобает людям, сильным духом. Бывает, держится с таким спокойным достоинством, которое можно было бы принять за наглость. Имеет привычку бриться каждый день в одно и то же время. После бритья - нещадно выскребает щеки и подбородок - настроение сразу улучшается, оживленно крутит своим красноватым отполированным лицом, позволяет пошутить с женой.

Месяца через три после свадьбы Иван ладил пороску загородку. Жена Катерина, с иссиня-черными глазами на сытом лице, лукаво прикусила губу, перебирала волны волос, ниспадающие с обеих сторон на грудь. Иван и так плаху поприкладывает, и эдак, она не вытерпела:

- Колоти, не на век!

Лицо Ивана покрылось краской, правое веко дернулось.

- Не на век, а... оступится, сломит ногу, хлопоты лишние... Катерина хмыкнула.

- Мал жучок, да землю роет.

Иван жестким своим кулаком вдарил Катерине в переносье, она повалилась на стену и съехала по ней. Сидит, нос зажимает, из глаз слезы.

- Что ты мелешь? - воскликнул он, и удивление выразилось на его лице, и гнев загорелся в глазах. - Сравнила с жуком навозным... Что ж поделаешь, не дал Бог росту.

- Ваня... Иван, - холодная дрожь пробежала по телу Катерины, зрачки расширились, почти обезумев, воскликнула: - С ума сошел?

Иван взял ее за руку, поднял с земли, как маленького ребенка, торопливо повел в избу.

- Тяп-ляп и дурак... Отец всегда говорил: для себя делай.

... Было время, Иван хлеб убирал на комбайне, отвозчиков и день нет, и другой прохлаждаются где-то, а погода на миллион! Начальство намеренно к комбайнерам не показывается, дескать, утрясаем план уборки, сушилки не обкатаны. Осерчал Иван на нерасторопность такую, на лодырей специалистов и давай в дальнем поле ячмень жать. Благо топлива три бочки с зимы около дому стояло. Жнет да в кучу на дорогу сыпает, как потом оказалось, под

пятьдесят тонн сырым накатил.

Наскочили районные верхи, председатель колхоза, полный негодования, толстые ноги расставил, живот беременный выпустил - с потрохами сожрал бы отщепенца! Сухопарая агроном из управления сельского хозяйства от кучи соломы к куче снует, грехи в работе комбайнера ищет. Стоит Иван на площадке, в грязи, в поту, смотрит на начальство нахально-насмешливым взглядом.

- Вот еще враг-то! Изверг рода людского! - поносит Ивана председатель.

- Вы соревнование объявляли? Объявляли, хвалились, что много дадим, я вот с мужиком из Запорожья соревнуюсь. А что, сушилки не готовы - соберите сельсовет под кепку.

- Да раньше тебя бы!..

- А тебя? - не уступает Иван.

- На гору Афонскую сослали... Там монастырей много, не то что наши совпартшколы. Мать Богородица - покровительница тамошней жизни, оттуда зарю коммунизма ждать надо.

- Счас же гони комбайн в мастерскую! Афон сраный! Снимаю!

- Нельзя, я пахал это поле - хорошоросло? Дозволь и награду получить.

- Ты у меня получишь, ты получишь... Шальное место. Шефов навезли из райцентра, экскаватор пригнали, два дня расчерпывались. Только под крышу зерно убрали, и дождь хлынул да дней десять лил. Еще неделю земля просыхала, зерно из колоса и поплыло.

Председателю в райкоме шею намылили, аж кипит: главный виновник у него Иван Щеголев.

- Сраный Афон!

Выпивают председатель со специалистами под мастерской, «погоду направляют».

- Зарю оттуда, грит, ждать надо. Будто с Богом чай пил. Засобачили мне выговор, теперь доказывай, что не обсевов в поле. Паразит!

Молчал главный инженер, крутил в пальцах какую-то железяшку, потягивал трубочку. Высказывались разные предложения - всыпать Ваньке! Всыпать, нечего губу задирать! Ишь до чего умен, на все начальство хвост поднял. Пригладил инженер прокуренные огненные усы, сказал:

- Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны! - Шота Руставели. Щеголев и заноза, и Копье Судьбы.

- Здравствуй, попа, новый год. Опять понесло? - сплюнул председатель.

- Все такие умные, такие находчивые... Академики.

- Копье Судьбы отковали по приказу Финесса, и принадлежало оно поначалу центуриону Гаю Кассию, им был проткнут Иисус Христос. Я не пророк, но Щеголев вроде талисмана силы народа, если хотите. Как знать... Вот другой пример: 26 августа 1395 года Тамерлан стоял у стен Москвы и вдруг побежал прочь...

Председатель махнул инженеру рукой: остановись! Грустно склонил голову на левую ладонь, задумался. С минуту длилась тишина, прерываемая чьим-то сопением.

- Силен в хренотени, - поморщился председатель. - Вот бы сушилки... Ладно, износим, не первый. Ну, по лампадке? Так чего там азиата под Москвой медвежья болезнь пробрала? - спрашивает инженера расслабленным голосом.

Инженер бросил на председателя косой, но пронизательный взгляд, на его широком открытом лице выразилась неуловимая ирония.

- Раз цыгана судили. Лошадь украл. Выходит из зала суда, хохочет. «Три года дали - отсижу, брата на всю жизнь в колхоз записали - так ему и надо!» Кому ордена, кому медали, а нам...

Откуда-то из крапивы вышел к пировальникам Митя-дурачок, в шапке, в трусах и босой, поклонился низко и спросил:

- Народ безмолвствует?

- А ну отсюда! - рявкнул председатель и кинул в дурачка огурцом.

... Кто копытил лопухи под мастерской, кого жена домой конвоировала, а виновник передраг сидел на диване весь как выпотрошенный, пытался в который раз разложить по полочкам все нутро колхозное, где-то провести линию ума и безумия, здоровой подвижки и гнилого равнодушия. Вот комбайнеры в карты дулись, а он хлеб убирал, оказывается, они - правики, на рожон не лезут, сказали - гвоздь забить, забьют один, завтра другой.

- Разбежаться надо, - говорит жене Катерине, гремящей на кухне посудой. Разбежаться - и живи всяк, как хочет. У нас ведь курсы быстро меняют... Что если мне поле Конжонково запросить?

... Мается в бытовке Иван, к батарее электрической боком прижался, глаза слипаются, левую ногу как собаки грызут, мозжит нога, мерещится всякая чертовщина. Будто наметывают они с мужиками силос на тракторную телегу, мужиков много, как в пору расцвета колхоза; Витька фуфайку сбросил, распотел, по-мальчишески дурачась, едет по силосу на заднице прямоком в зеленую воду. Воды много в траншее, до шеи Витьке будет. Кричит:

- Афо-он! Где там заря наша светлая?!

И, прогоняя сон, Иван нарочно стукнулся лбом о столешницу, ножами изрезанную, отшатнулся, выпалил:

- Не людская ваша власть!

Закурил, швырнул спичку в литровую банку с окурками; к нему возвращалась его самоуверенность.

Долгую заукоиную песню запевали в колхозе вокруг земельных и имущественных паев. Как собрание, так опять пай, опять трещат рубахи, опять кричат мужики. Нынче, видно, открычали... «Сначала долги Родине верните и Чубайсу за электроэнергию, что останется, тем и сыты будете». От колхоза осталась одна кирпичная ферма и в ней сто восемьдесят коров, растаскивают

колхоз кому не лень. Кто-то тракторы погнал - за навоз должники, автомашины идут по цене велосипедов, деревообрабатывающие станки - за три ящика водки. В другие области повезли склады, кормозаготовительную технику. Умри колхозник - под своими окнами, из своего теску вручную домовину делать приходится.

Ходил правду искать у районного князя. Накричал, «вороньей душой» обозвал вчерашнего прораба. «Из коммунистов, что ли?» - спрашивает ошарашенный князь. «В гробу я видел КПСС. А ты партию не обливай грязью, все вы через нее прошли. Она тебя за этот богатый стол засадила, не забывай!» «Послушай, мил человек, чего тебе от меня-то надо?». «А то надо, что десять лет повалить советскую власть не можете, во как мы ее крепко сшили! И не повалить! Не все продается!» - Удивление, уважение, непонимание в глазах районного голована: «Мил человек, думаешь, мне очень нравится эта власть? Да по какой воде плыть, ту и воду пить. Все думают, что я царь и бог, я все могу. Да я ничего не могу! Власть у того, у кого деньги, а у меня что: учителей три месяца рассчитать не знаю как, пожарники бастуют, медики». «В Москву надо. Трубить во все трубы!»

«Эх, отец, отец! Нынче трубачам рога отшибают быстро, понимаю я твою душу израненную, такие, как ты, вышли на остановке «пещерный век», а поезд - тютю, тютю-тютю...» «Во, во, на Ворку-тютю-уу, на нары!».

Пробовал Иван приобрести трактор через свояка в райцентре; ты, говорит, прозондируй почву, подмажь, где надо. Колхозникам, объясняет, не продают, это наши пай, а на сторону любой шарлатан бери. Свояк стакан водки по старинке считал самой лучшей смазкой, оказывается, нынче лучше мазать денежкой, а водки - залейся в каждом магазине.

Заворачивал в Сбербанк, просил денег взаймы на «худенький тракторишко».

Мрачный управляющий в добротном красном костюме спросил поручительство. «Корова есть, мотоцикл с коляской - пять тыщ пробег, ну баня почти новая...» «Слабо», - басом прогудел управляющий. Некоторое время управляющий и проситель смотрели один на другого, но вдруг, точно сговорившись, рассмеялись. «Коро-ва-а», - передразнил управляющий. «Бабу приложу, она у меня мягкая». «Эх, люди русские! - вздохнул управляющий. - Ума-палаты. Сто лет собираешься жить, Микула Селянинович? Ты хоть честью выспался когда?».

Дома рассказал жене, как в Сбербанк ходил. Уж очень ему по нраву поведение управляющего пришлось и разговор его. Жена спрашивает, когда у управляющего день рождения.

- Зачем? - удивляется Иван.

- Зачем, зачем... Вдруг в депутаты избираться захотит? - смеется Катерина.

Приходит к Щеголевым Митя-дурачок, одет, как всегда, «по форме»: трусы, шапка, шуба облезлая, валенки, застыл у порога. Иван за самоваром сидит, чаевничает.

- Что новенького, Митя? Иди давай, попей чайку за компанию, - с какой-то особой сердечностью в голосе сказал Иван. Митя поклонился, отрывисто ответил:

- Народ безмолвствует.

- Твоя правда, - согласился Иван.

Из кухни вышла Катерина, сунула в руки Мите рыbnик. Тот поклонился, спрятал рыbnик под шубу, хихикнул себе в бороду - и в двери.

Опять стоит Иван в тамбуре, зевота одолела. За рекой все так же мотается на столбе у дома Витьки Плотникова электрический фонарь. «Витьке что, Витька нынче в бюджете, ему колхоз до фени. Заведующий мусорной свалкой. Иди, грит, помощником, ты мужик надежный, работенка не пыльная, спичку чирк и кури. По три мешка пивных бутылок собирает. И чего люди жрут? Вроде, стужа, а они жрут. И на какие шиши!.. Да-а, господин управляющий банком, сто лет мне не осилить, а хотелось бы. Что там, в завтрашнем дне? Зарастут поля лесом или свежая сила победит равнодушие? Осенью картошку копали, журавли на юга шли, чего-то мне муторно было, сиротливо... Да и весной косачи бормотали лениво, припозднилась весна, мысли все нехорошие посещают, о смерти да о смерти, еще ноги занедужили. В кого же я уродился, поперечный такой? Иду насупротив воды, а зачем? Вот ратовал, чтоб колхоз лапти раскинул - что кабы в каждой деревне прежних «кулаков» до пятка было. Вроде, кое-где начали крепкие мужики объявляться, а я опять на дыбы. А потому на дыбы, господи мазурики, что против анархии, против грабильники-нет бы цель ясную обозначить, пособить кормильцу, так вы у кормильца жилы рвете. Бандюги! Гитлер ломал, заломать не мог, нынче сами, своими руками нажитое изничтожаем, еще и рады. Чего сеять зря? Лен шесть последних лет палим прямо в поле. Один комбайн в нашем колхозе и тот в поле без двигателя стоит. Да-а, ума - палаты, кого хочешь вини. Нет, Витя, не пойду я к тебе в помойшики, премного благодарен за приглашение. Назло всякому поветрию как гвоздь ржавый в лавке торчать буду до полной моей кончины. Пускай нахрапистый тать шмякнется на мою лавку и вззоет... «Народ безмолвствует»... Народ - это сухая солома, искра нужна, нечего тянуть: надо подбивать мужиков растащить коров по домам. Шиш тебе с маслом, дорогой господин Чубайс!.. Кого еще несет лихая в такой час?»

- Чудак человек. Силой никого не прогнать, «разбегаться»... - возмутилась жена. - Робь ты вольненько. Вон Витька Плотников присосался камни убирать, лет десять камнеуборочную машину волочит; и выпался, и сена наставил, и рыбы наловил, а кого на собраниях первым ударником называют? Опять его. Контора всех выравнивает.

- Да есть же предел всему!

- Есть, есть. Продавщица рассказывает, голованы пол ящика водки набрали. Ты сам с собой борешься, а у них пуп не стрещал, и на уме-то нет твоих забот. Мужики потешаются, мол, забежал Иван вперед и кнут схлопотал.

- Черт с ними, потешайтесь, ты думаешь, они в душе колхозу смерти не желают? Желают, только сказать всем как-то... В каждой голове иная доля обрисовывается, к ней подойти надо.

- Хорошая кормушка этот колхоз, и никто из него не побежит; конечно, может, какой дурак и найдется.

- Так не подадут нам на блюдечке лучшую-то долю!

... Жалко Катерине Ивана. Сам худющий, кожа да кости, теперь еще ноги стали болеть. Не спится Катерине, занавеску отодвинула, подалась с подушкой к самой раме, смотрит в черноту. Сердце заволакивает мягкая грусть, сострадание к нему, потешному, нескладному своему и тихая благодарность судьбе. У других баб мужики изо всего лесу, из себя статные, а добра от них... матом окатят, хоть сразу ешь, хоть на ночь береги. Одни спились, другие заворовались, третьи на вольные хлеба подались, мало толкового народу осталось. Иван человек не злой; вот на людях, если рядом Катерина, диковатый, станут мужики бабью породу склонять по всем падежам, брови нахмурит, смотрит тяжело, как тяготится чем-то. Кто Ивана не знает, пожалеет Катерину: ну и зверина тебе, бабочка, достался, вон, даже говорить не может, ровно кукушка зерном, подавился о Петрова дни, а Катерина догадывается: любит ее Иван и не хочет, чтоб слышала она всякие пошлости. Был у Катерины ухажер Сашка Цыганов, красавец, борода шикарная, но такой настырный... Согласись она с домогательствами Сашки, сейчас бы, возможно, в городе жила, возможно, на Канарах побывала - большими деньжищами ворочает Сашка, в отпуск придет, сразу к Щеголевым идет, гостинцы на стол кладет и сидит за кружкой чая, с Катерины глаз не сводит. Как они танцевали с ним! Руку беспомощную положит ему на плечо и головку скосит, будто хочет увидеть нечто заветное, и круг за кругом, круг за кругом. «Нет бы по согласию, по хорошему, а ему бы смять ходчее. Вот Ваня не такой был, я его даже и не замечала. Стеснительный, девчонки вытасят на круг, вырывается, озирается, весь как рак вареный...»

Шебаршит снег в окно, тоненьким жалобным голоском причитает метелица. Вздыхает Катерина, неохота ей увядать, охота понаряжаться, песен попеть с подружками. Это ничего, что иней волосы подсеребрил, Сашка говорит, будто старость привлекательнее юности. Вспоминает Катерина, как прижималась к Ивану первые годы, как трепетало тело под его некрупными, но сильными руками, как часто билось сердце. Неужели все прошло, прокатилось? «Поучиться бы Ивану, рассуждает, как монах ученый: «Проходит не жизнь, проходит не время, проходим мы во времени и в

пространстве». Твоя, Ваня, правда. Не дорожим мы молодостью, дни гоним, а как хватаемся за жизнь на переломе! Сузился круг наших радостей, возможностей наших, до таких пределов сузился, что в какую сторону ни ступи, призрак старости в затылок дышит. Иван, ты, Иван, беспокойная головушка! Лжжал бы сейчас под теплым одеялом, и я была бы спокойна. Поди-ко, сидишь у коровьего хвоста, дремлешь, на дворе зябко, коровы цепями гремят, а, может, какая телится? ...Разогрею-ко я котлеты да сброжу до тебя. Знаю, не похвалишь за такую затею. Витьку Плотникова на двор никакими калачами не заманить. Помнишь, бригадирил он по какую-то осень, еще петухом налетел? «Сколько за починку пола начислить?» А ты: «Сколько, сколько, не первый год лямку тянешь, наблатыкался лучше всякого экономиста». «Тянешь-потянешь... С одной стороны я тебя не посылал, вроде как доброволец на субботнике, с другой - за пятерых наклепал. Сколько? - воскликнул, охваченный наплывом возмущения. - Правду напишу - себя на смех выведу, напишу... Сколько?» «Да выведи другой какой работой, мне ли тя учить». «Афон заушный!» - кулаком по столешнице и за двери. Вечно ты, Ваня, наособицу, все не в стаде. Витька уж тогда знал, что из какой грязи вышел в князи, в ту грязь и мордой угодит. Нет у тебя колхозной хитринки, нет. Хорошо хоть девки у нас народились. Ты все парня хотел, да, видно, так богу угодно. Будь парень, ты бы его замордовал, заездил бы. Вот чего на зятя Николая кинулся? Парень в отпуске три года не бывал, мотается по заставам пограничным, нужен ему твой сенокос, а ты: «Какого черта в пупе роешься? Жир капает? Перевалы ходят!» Или... сторожем, только намекнули, ты и рад. Другой бы мужик поломался, зарплату хорошую выстонал, еще чего припросил, а ты... Мужики не больно тужат, что колхоз на ладан дышит, - целыми днями в кочегарках груши околачивают, им за это повременку платят, а тебе, дураку, сдельщину в конторе придумали. Надо бы глупее, да, видно, некуда. Настоящий ты Афон, прости меня господи! Нет, разогрею-ко я котлеты да пойду к тебе».

## ТУФЛИ

Поздняя осень. Третий раз на дню хлещет крупный, короткий дождь. Дождинки что горох, кажется, катятся по переполненным лужам. После дождя на несколько минут выглядывает солнце, обливает последним жаром сблескивающую слезой землю, прилизанные стога соломы, исполосованные деревья. Природа как вскинется, оживет, радостью наполняется каждая клеточка, каждая травиночка, но никнет челом, обманутая, едва низко плывущие тучи потащат в чрево свое дневное светило.

По грунтовой дороге несется «Запорожец». От великой нужды любит

наш мужик эту воющую, громыхающую, неприхотливую «консервную банку». Машину волочит от бровки к бровке, как шаньгу по сковороде, разворачивает «мордой» в обратную сторону; но шофер, таких на Руси уважительно величают «собакой», - кидает «под хвост газку», сам крутится бесом в кабине, разворачивает «тачку» на квадратной сажени, и бег продолжается. Машина нагоняет чуть прихрамывающего старика. На спине у путника рюкзак с добром, в руках еловый батог. Он издали слышит звуки, схожие с ревом уходящего в облака самолета, и жмет к спасительной канаве. Промелькнуло перед глазами чудо человеческого гения, переводит дух: жив!

Строители, бывает, подолгу колдуют над мостиками и перемычками через речушки и овраги: «впишется» между плит та или иная колымага, случись ей кувыркнуться сверху? «Запорожец» шлепнулся как уголь в тесто, сшипел и лежит себе, задрав «копыта» к небесам. Вокруг вода в масляных пятнах. Шофер отделался легким испугом, выбрался на насыпь, сидит что сфинкс, поставив голову на подтянутые острые колени. Одет не по сезону: штаны в полосочку, рубаха - безрукавка в ситечко. Оказывается, отошел сезон купания, вода студеная. Шофера немного колотит дрожь. На грубом красном лице едва уловимая презрительная ухмылка.

Подошел старик, вытягивая тонкую шею, позаглядывал вниз: и почему под эту перемычку за год угодила пятая машина? Тянет туда, что ли? Кашлянул в кулак, разгладил отвислые усы, только хотел спросить водителя про нечистую силу, как тот повернулся к нему, что жеребец во время случки, задрал верхнюю губу, касаясь ею сизого носа, и завопил, угошая себя кулаками по бритой голове:

- Афган! Чечня! Почему меня душманы не убили?!..

Старик опешил, рюкзак пополз с плеч. Деду стало немного страшно, вцепился в батог обеими руками, открыл рот, в больной ноге покалывает, в голове стрижами носятся обрывки фраз. К счастью, столбняк продолжался недолго. Почти бессознательно делает шаг, другой, и идет, водворяя рюкзак на плечи.

- Стоять! Стоять! Бросать фронтовика?!

Старик, его зовут Василием Васильевичем, когда-то давно сам был фронтовиком, правда, больше писарем в запасных полках, чем на передовой, но солдат всегда солдат: и польщенный, напуганный, делает разворот через левое плечо и вертается.

- Руку, земля!... О, моя спина, несчастная спина...

- Ушибся? - сглатывая застрявший в горле комок, тихо спрашивает Василий Васильевич.

- Абреки! От Димы Щипицына... - мат и зубной скрежет.

- Косой в дугу! - изумляется Василий Васильевич. «Ну и прохвост. Уж не Верки ли выbleднок, что, по слухам, отирается около коммунальной бани в

райцентре?»

- Вашу маму не Верой ли звать? - осторожно спрашивает шофера.

- Знаешь? - губа Димы шлифует нос.

«Тебя же и в армию-то не брали, бухтило ты эдакое!» - чуть не срезал «фронтовика» Василий Васильевич, но вслух - в войну на каждом углу висело предупреждение: «Болтун - находка для шпиона», - сказал другое. - Когда и прикует сей год...

- Дима рэзал их, шякалов!

- Мать-то сейчас, должно быть, у Авдотьи. Не к нам в деревню едешь?

- Дима едет туда, где плохо лежит валюта. Эх! - Дима поднялся на ноги, смачно плюнул на днище своей «запороги». - Другую купим, верно, служба?

- В кармане шелестит - можно, - согласился Василий Васильевич.

Дима оказался ростом на полметра выше старика, какой-то бесплечий и длиннорукий.

- Много у бабки баксов?

- Грех в чужом кошельке считать.

- Веди меня, Сусанин! - Дима накинул длинную руку на рюкзак Василия Васильевича. - Не булькает, народный мститель?

- Откуда... тому - дай, другому - подай.

- За что кровь проливали? За что в танках горели?

В этот час Вера Шипицына, толстая, нервная, страдающая одышкой вдовица, сидит на табуретке перед кроватью парализованной Авдотьи Горюновой. Лежит Авдотья без движения третий день, взгляд отсутствующий. Вера приходится ей родственницей в пятом колене, а ближе родни у старухи нет.

- Деньги куда сунула? - в который раз вкрадчиво спрашивает Вера и наблюдает за больной, не кивнет ли в какую сторону, не укажет ли перстом? Переставляет слоновьи ножищи, наклоняется, прислушивается: молчит. Вера облазила всю избу, с трудом сползала в подполье по лесенке. Должны быть! Фронтовичка, в войну снайпером была, отправила на тот свет семнадцать солдат немецких. Вера навещает старуху два, редко три раза в месяц, но тот день, когда бегают почтальонка с пенсиями, для посещения обязателен. Авдотья отдает ей половину. «Да на кой леший деньги-то?» - постоянно нажимает Вера, а Авдотья отвечает: «Умру - все твое». «Скупая дура! - бранится Вера. - Я на какие шиши продукты куплю? Одно ты не ешь, другое - не по сердцу, манну небесную тебе подавай!». Авдотья старуха прямая, без вихлилки. Скажет мало, но как ножом отрежет: «Стыда у тя нет, Верка». Станут деревенские бабы спрашивать Веру: почему старуху худо кормишь, та как угорь закрутится. Авдотье выговор сделают, мол, исповедила лентяйку, а Авдотья скажет: «Погань. Погань, да вроде наша, обидно».

- Где!.. Под собой? Дура я дура, догадаться не могу...

Вроде, Авдотья сопротивляется или Вере только кажется, но безвольная рука старухи падает ей, ползущей под перину, на шею. Веру это злит. Она откидывает руку, лезет до самой стены - увы, ничего, один облезлый образок великомученика Пантелеймона. Натягивает на Авдотью одеяло, садится, уставшая, на мясистом лице капельки пота.

- Нет бы по-хорошему, по-родственному...

Вере кажется, что она говорит искренне. С наслаждением думая о том, сколько деньжищ ей привалит, чувствует потребность приласкать умирающую. Гладит пухлой рукой по коротко стриженным белым волосам, грустно вздыхает.

- Все там будем, да не в одно время. - Помедлила, спросила с игривой повелительностью: - Схоронить-то схоронят, наверху не оставят, а кто схоронит? Кто к тебе весной на могилу придет, кто сор вырвет, оградку поставит, это ты подумала? - И испуганная улыбка-догадка бежит от уголков губ до глубоко посаженных маленьких глаз. - Отдала!.. - Страх леденит душу. - Кому? Кому? Оглохла?

В избу, пригибаясь, входит Дима. Попинал у порога в бревно - грязь с сапогов посвалилась. Глаза его «объзжают» желтые сосновые стены.

- Проблемы, мутер?

- Марш на чердак, ищи хорошенько, - командует ему мать. Дима для интереса проходит к кровати, наклоняется над немигающей старухой, кривит рожу:

- Привет, ба-бу-ля. Это я, твой Ди-му-ля. Узнаешь?

- Она тя годовалого видала, узнает, - фыркнула мать. - Ищи, потом сказать миру надо, сколько денег было. Все равно не поверят...

- Сказать? - Губа Димы лезет в нос. - А может, сразу сдать в Гохран?

- Делай, что говорят, - рывкнула мать. На лице ее выражение безразличного утомления. Тяжело поднимается и идет к окну, открывает форточку.

- Зачем сказывать? - не унимается сын.

- Пошел к черту! Есть в твоей балде сколько-нибудь или все пропил?

Что-то стихийное, могучее есть в матери. Диме хочется подерзнуть, напомнить ей, что ум у него выбили в детстве ее руки, но не может. Алкоголь ослабил наступление на серое вещество, а без поддержки «зеленого змия» Дима ничтожество.

Проходит час - денег нет. Все обшарено и перетрясено до последней нитки.

- Где? - мечет молнии Вера над кроватью Авдотьи. Где, вражина?

Молчит Авдотья.

- Ну и сдыхай!

... Авдотью хоронили всей деревней. Василий Васильевич сделал гроб, мужики, которые попроворнее, выкопали могилу, тракторист Цорба - из

вербованных молдаван, свез покойницу на кладбище.

- Ну и стерва эта Верка! - негодовали бабы.

- Нынче таких «новыми» зовут, - грустно рассмеялся Василий Васильевич.

... Прошло полтора года. Дом Авдотьи стоит с немymi, заколоченными окнами. Зимой набегали воры, наверно, не обошли стороной нежилые постройки, пошарили. Ближе к весне галки облюбовали печную трубу, наташили в нее всякого хламу.

Вера Шипицына за это время собрала свидетельские показания, что докормила тетку до смертного часу. Даже Василий Васильевич покривил душой, подписался, тайно надеясь, что не видать Верке дому как своих ушей. Зря надеялся. Вера бумаги выправила, оформила честь-по-чести на свое имя и сторговалась с отставным полковником. Полковник наезжал, дом ему приглянулся. Бывший вояка захотел перетащить его поближе к цивилизации. В один солнечный день пришли в деревню большегрузные машины, из кабин высыпала ватага шабашников. Постояли молодцы, покурили, и затрещали авдотьины хоромы.

Василий Васильевич того дня ходил в магазин в другую деревню. Зимняя дорога, что змея, скрутилась вокруг скотного двора. Утром на его глазах прямо перед ногами бухнулась из кузова телеги дохлая корова. Тракторист Цорба повез ее на пир лесному зверью, да с похмелья худо закрыл борт. Побегал Цорба, маленький, чернявенький, вокруг туши, вспомнил мать и отца, загнавших его в сузем, махнул рукой, прыгнул в кабину, понесся искать погрузчик на центральной ферме. Сбродил Василий Васильевич за хлебом, дошел до коровы, стоит, отдыхает, опершись на батог. «Раньше бы тюрьма, а нынче виноватых нет», - печально рассуждает старик.

Бежит красный в заплатках «Запорожец», тормозит, упираясь в коровье брюхо. Вылезает из него Дима Шипицын, покачивается.

- О, служба, ты все живой?

Рот до ушей, хочет облобызать Василия Васильевича. В расстегнутом вороте рубахи болтается на цепи массивный желтый крест.

Вдруг Дима шарахается, пучит глаза на животину, обходит кругом.

- И тут были... мало им Европы!

- Кто? - не понимает Василий Васильевич.

- Натовцы! Это же след вакуумной бомбы! О, моя несчастная спина...

- Тоже досталось? - лукаво спрашивает Василий Васильевич.

- Не буль-буль? - шелкает себе по кадыку.

- Откуда? - печально отвечает Василий Васильевич.

- Не тужи! - Дима хлопает старика по плечу. - Клянусь бородой Магомеда - первый стакан твой. - Верхняя губа Димы кружит вальс. - О, мои зелененькие! О, мои хорошенькие!

...Сидит Василий Васильевич под черемухой на свалившемся скворечнике, с тоской смотрит, как летят с потолка куски обоев, берестяные короба, тусски, письма, кружится пух. И чудится ему, что не венцы сруба покатаются скоро в кузов машины, это мужики ихней деревни поименно, пофамильно навсегда обратятся в прах. И живые, и погибшие на фронтах, и разлетевшиеся по державе. Одни оживут на какой-то миг, другие сгорбятся, и все тепло ихних душ, вся память деревни уедет куда-то в этих бревнах...

- Атэц! Лави! - кричит сверху шабашник обличьем из греков или армян.

И падают перед Василием Васильевичем белые туфли, перехваченные красной ленточкой. Взял их, повертел, прижал к себе, и слезы побежали из глаз, нет им удержу. Вспомнилось лето победного сорок пятого. Идет в этих туфельках вернувшаяся с войны Авдотья - рослая, сильная, лицом свежая, поет забористо:

*Мне в Берлине снилось раз:*

*Петруха дядин метит в глаз...*

Вынул из кармана брюк платок, бережно обтер туфли. Мысль о собственной смерти приступила к нему не с прежней легкой мимолетностью, а надавила беспощадной ясностью: скоро и его черед. Это весточка от Авдотьи, вроде как приглашение. Приглашение и укор ему, неприметному, жизнь прожившему тихо, какмышь, порой боящемуся собственного вздоха. «Отдали мы Авдотью на Веркино растерзание... Разве ты, солдат, не мог помочь солдату!...». Сунул туфли за пазуху, поплотнее запахнул полы фуфайки, побрел, оглядываясь, домой, точно боясь, что тот грек или армянин догонит его и отберет самое теперь для него дорогое.

Дома развязал ленточку и ахнул: обе туфли битком набиты бумажными деньгами. «Вот они, Верка... пропали, однако. У нас не заржавеет, ложился спать богатым, пробудился - нищий: обменяли денежки».

До Радунцы оставалось три дня.

Пришла почтальонка, шустрая, востроглазая девчонка. Кинула сумку с пенсиями на диван, сбросила шубку, ходит по избе молодая, красивая, оттягивает пальцами на высокой груди свитер.

- Фу, жарница... скоро растает, дед Вася?

- Растает, не торопи время, оно смотри ходкое. Я вот жил, думал конца-края не будет, а оглянулся седни - финиш. И испилят мой домишко на дрова, дворище лебеда затянется... Попросить тебя хочу: отнеси Верке Шипицыной от меня подарок. Радунца скоро, время усопших помянуть.

- Она же живая, заговариваться начал, дед Вася, - засмеялась почтальонка.

- Это... - Василий Васильевич поднес туфли к самым губам, дунул на них, рукавом рубахи провел по носкам. - Это... сама поймет.

- Не понесу, - надломив брови и чуточку изгибая полные губы, сказала девушка. - Натрепала на меня, будто обманула ее на десять копеек. На десять копеек! На весь сельсовет расколоколила.

- Не откажи, радость моя. Кабы ноги носили...

- Что-то ты хитришь, дед Вася, а кто сегодня за хлебом бегал?

На другой день тракторист Цорба опять ездил искать погрузчик на центральную ферму. Не нашел. Привез худую новость: утром от сердечного приступа умерла Верка Шипицына.

## БЕЛЫЙ ЛУЖОК

Она на вздохе перестала плакать, словно проглотила собственные слезы.

- Саш, пошли, - сказала устало, вязаной рукавичкой утирая лицо, - всего вина не перепить.

- Ужо... иди, догоню, - ответил жене, а сам подмигнул собутыльнику Борщову: ладушки, бабьи слезы, что роса, женка у меня мировая.

- Искать не пойду.

- И не надо!..

Борщов, а проще Борщ, - мешок с костями, выжил; Сашка Королев - загнулся. На Сашку наткнулись поутру доярки. Лежит поперек тропинки, подтянув к животу ноги. Заохали сердобольные, хотели тащить в кочегарку отогревать, да нашлась среди них дошлая: не тронем, пускай милиция едет и разбирается. Вон какие ямины от рук до ног в осевшем снегу оставил, да и лежит как-то по-домашнему, будто на своей печке, а с чего бы это кровь изо рта бежала? А вдруг убили? Нынче только про убийства в газетах и пишут. Несправедливо, качали головами женщины, да с Богом не поспоришь. Если бы алкоголик Борщ скопытился, так и быть, не много плакальщиков, но Сашка... Мужик-то хороший, уживчивый, хозяйственный. Жену уважал, на сторону не засматривался, а что орденов не накопил - всем орденов давать - на Урале железа не хватит. Жаль, что от водки посреди поля умер, кабы дома от рака или недостаточности сердечной.

Пропил Борщ «златые горы». Божница пуста, на себе последняя рубаха с отопревшим воротом, от «гор» одна кровать с провалившейся сеткой осталась. В избе воздух, что в копильне. Стены пропитались табачиной на сто лет вперед, никакой грибок не заведется. Тараканы давненько ушли к соседям, да и вестей о себе не шлют.

Утро. За окнами сизый туман. Два последних дня «горит» снег - весна заявила свои права стать полновластной хозяйкой. Щелкнул выключателем. Электрическая лампочка не зажглась. Вспомнил, что электрики отрезали

провода еще перед Новым годом. С яростью дернул выцветшую занавеску с петухами, сорвалась с веревочки. В избе светлее не стало.

Лежит Борщ на голой сетке, скрючился, вместо подушки костлявый кулак. Пусто на душе. В кармане - вошь на аркане, в мозгу самое необходимое: как бы опохмелиться. Опохмелиться да выпить не меньше вчерашнего. Глядит на пустые бутылки под столом, на память этикетки сличает, припоминает, как та или другая к нему попала. Отраву с «богатырями» Сашка принес. «Столичную», что у ножки прижалась, продавец дала (пол дня снег от склада откидывал)... Стал считать, сколько бы граммов набежало из всей имеющейся посуды, если бы по капельке выдоить... А по две? А если на всю катушку жимануть, по сорок капель? Аж в пот бросило: стоит на столе три четверти бутылки - пить некому!

И надумал Борщ утопиться в реке. Тошно ему стало.

Вчера хоронили Сашку Королева. Прощаться пришла вся деревня. Как бы боясь разбудить уснувшего, осторожно поставили гроб в кузов машины. Шофер приставил лесенку: залезайте, кто на кладбище поедет. Борщ первый - шашь! И руку зарезанной, закутанной во все черное жене Сашкиной, Мефодьевне, услужливо подает. Ох и тяжело посмотрела на него Мефодьевна, кажется, испепелила глазами. Не приняла помощи. Опералась на плечо рослого тридцатилетнего сына, с трудом, но залезла. Сидел Борщ, положив руку на крышку гроба, шапка под мышкой, небрит, нечесан, через тощую фуфайку ветер шевелит на хребте кожу. Не поднимает головы, понимает, что затесался не по чину. Вся родня Сашкина презирает его. Боковым зрением Борщ наблюдает, как сын Сашки поправляет съехавшую с гроба иконку и щелкает, кисло усмехаясь, себя по горлу: кому-то показывает, что для Борща похороны желанный праздник. Терпелив Борщ, он знает, зачем едет.

Не дожидаясь, пока шофер откроет борт и поставит лесенку, спрыгнул в снег, огруз до колен.

Старый учитель читал прощальное слово. Для него покойный остался задиристым непоседой с задней парты. Учитель держал перед собой бумажку в поддрагивающих пальцах, очки, подхваченные резинкой, то и дело сползали на кончик носа. По всем бы законам вторым должен выступить председатель колхоза, но председатель был молод, неречист и застенчив. Его никто не осудил за молодость, спасибо и на том, что пришел на похороны.

Горсть борщевской земли не попала на крышку гроба - Борщ не бросал ее. Пока говорил старый учитель, он стоял и внимал, загадывал, что скажут на похоронах его и кто скажет. И как только оратор затолкал в карман пальто свои бумаги, Борщ побрел по кладбищу, от могилы к могиле. Он узнавал на портретах знакомых и считал годы, кои отвел Господь тому или иному. Выходило, что он зажил на этом свете: много мужиков так и не доколотились до пенсии...

Вечером на поминках Борщ осмелел. На кладбище он умудрился «освоить» четыре «сотки». Теперь, с видом величайшей скорби, принял из рук Мефодьевны пятаю. Он имел моральное право сказать речь, он был последним, кто видел и слышал Сашку Королева. Слезы мешали Борщу сконцентрировать мысль.

- Нынче, мужики, столько всяких козлов развелось... Отравился Сашка, а кто-то на его смерти пятак несчастный заграбастал. У меня вот стаж, пятнадцать лет пью, как жена Надька бросила, так и пошло-поехало... Закалка. В моем брюхе долото сварится...

Его грубо оборвали, велели «заткнуть хайло». Сгорбился Борщ, как оплеуху получил, «сотку» на лоб и сел на место.

Как с поминок вернулся, худо помнит, вроде Сашкин парень еще и пинка дал на крыльце...

«Выпить бы, - обхватив голову руками решается Борщ, - пьяному легче, пьяному все равно где тонуть. Можно у моста, вода чернушная в воронки завивается, закрутит - и на дно... Надо сразу побольше воды заглотить, с водой к запруде прижмет и не выпустит».

Бежит по столешнице мышонок, лапки топ-топ-топ, сунул мордочку в банку с окурками. Борщу показалось, что мышонок чихнул, отпрянув прочь. Лапками потирает любопытный носик. Не проняло, еще нюхнул. Борщ чуть не вскочил: да что ты, мать твою и бабу, как тебя, сопляк, на дурное-то тянет!

Стоит Борщ у окна, разглядывает пол-литровую банку, что заменяет ему и стакан, и заварочный чайник - не булькает, все высосал. «На сухую придется... Вздремну на прощание. Что кабы Надьку во сне увидеть, простился бы...»

Вздремнул. Выглянул на улицу - по солнышку время ближе к полудню.

К мосту не двинулся. Чего доброго, увидят люди, смеяться станут, ему, пусть и мертвому, неловко станет пред миром. Загнул крюк, выбрал к большому обрыву, напротив лепешкой разбехавшейся по берегу деревни Белый лужок.

Неровно шумит под обрывом вода, то вроде спокойная, то вдруг всколыхнувшаяся. Река уже отрevela, когда сбрасывала ледяной панцирь, отвыдыхала, когда полонила навеки, теперь сытая и полноводная трудилась на весну. Со внимающей торжественностью стоят дома в деревне Белый лужок, обласканные солнцем. Много грачей хлопочет в вершинах высоких берез.

Борщ все примеривался, оттягивал время. Его не устраивал обрыв, с которого намеревался кинуться в воду. Другой берег реки, вылизанный большой водой, с подсыхающей жухлой травой казался приветливее. «Будто купаться пришел, - горько усмехнулся он. - Сижу да выбираю». «Так - приказал сам себе, - не смейши народ, будь хоть раз мужиком». Поднялся, готовый сесть в холодную грязную канаву - из-под берега бежит желтый ручеек и впадает в реку - и съехать на заднице прямо в пенистый водоворот...

Видит, несет река человека. Человек пытается сопротивляться течению, видно, как устало загребают руки. «И этот туда же, - мысль поразила и изумила его. С ума все посходили?» Сдернул валенки с калошами, скинул фуфайку, прыгнул в кашу из воды и земли. Как только ноги коснулись воды, его опрокинуло головой вниз. Будто кипятком ошпарило лицо, зашлось сердце. Вынырнул, выплевал воду с привкусом хрустящего на зубах песка, на саженках поплыл наперерез к темнеющей голове.

«Счас я, счас, - обещал кому-то. - На реке вырос...» Он рвался изо всей силы, вкладывая в каждый взмах все, что сохранилось в его ослабевшем от скверной жизни теле. Успел, схватился правой рукой за длинные волосы и разом ослабел: он достиг того, к чему стремился. Загребает левой, загребает, а подачи нет. Тащит река. «Утону ведь... эх, - жалко стало Борщу себя. - Господи, коли жив останусь...» И застыла просьба недосказанной. Не знал он, как поступит, если не утонет. Он заставил себя плыть. Кое-как, да кое-как, стараясь держать еще продолжающегося барахтаться пловца лицом вверх, приправился к противоположному берегу. С большим трудом выволок ношу на сухой берег, упал навзничь: иссякли силы. Он пребывал в состоянии какого-то утомленного блаженства. Дернулся спасенный, пальцы его судорожно ощупывают ногу Борща. «Волосатик, - хмыкает про себя Борщ, - нахлебался». Сел, чувствуя, как иглы пронзают спину, всмотрелся: вроде баба. Сам черт нынче не обличит по одежке мужика от бабы, и стригутся наоборот, и все в штанах комиссарят. Скорее всего девка, лет двадцать от роду.

- Ну-ко, - говорит хрипло Борщ, пытаясь развернуть спасенную боком, - сольем лишнее.

Повернул, уткнулось лицо девушки в рыжую заиленную прошлогоднюю траву. Забирается со спины за живот, думает ее на четвереньки поставить и обхватить не может. «Брюхатая. То-то свитер пузырем... Тут лишку курбатать не годится». Повалил обратно на спину, развернул головой к реке - ниже, стал делать искусственное дыхание. Мотается голова женщины, при каждом взмахе рук сочится изо рта вода. Тяжело ходят руки Борща, как свинцом налились. Зубы выбивают чечетку, ступни в започиненных шерстяных носках одеревенели.

- Ну-уу, - мычит Борщ. - Ну-уу! - И болезненно улыбается. - Не отдам! Не для того спасал!.. Ремнем бы тя, дуру, отодрать хорошенько. Эх, девка, девка... Живи-и! Перед Богом говорю: жива будешь - капли в рот не возьму... До чего ты на Надюху мою похожа... Открой глаза! - и теплее стало Борщу от такого сравнения, и веселее, он встрепенулся весь. - Вот ведь как свидеться довелось... Хотел во сне увидеть, а ты сама тут... Ты ведь не нарочно, правда? Шла да оступилась?

Крупная дрожь забила тело молодой женщины, затряслась в приступе рвоты. Измучился Борщ, отступился.

С трудом поставил спасенную на ноги, навалил на себя, держит. И чудится ему прошлое: дождь, сечет противный осенний дождь. Стоят они с Надей под фонарем, фонарь качается, и ходит, и ходит по земле светом очерченный круг.

Толстый серый свитер висит на женщине что водолазный скафандр.  
- Идти надо, слышишь? Дитя потеряешь.

Ничего не слышит женщина, только отпустится от нее Борщ, как валится на землю. Взял под руку, повел, с трудом переставляя негнувшиеся ходули свои. Легко было идти наволоком по хлюпающей между кочек воде, а как выбрались на пологий берег старого русла, так и застряли. Забежит Борщ вперед, протопчет дорогу, хватает женщину за руку и за собой вперед тащит.

- Ну-уу! - кричит на нее матом. - Я те покажу топиться! Раньше надо было тыквой шевелить! - Притянул к себе за складки свитера. - Дитя пожалей, золотая моя...

Она с каким-то страхом смотрела на него, удивленно откинув голову назад.

- Пусти, - пробормотала умоляюще и потянулась из его рук.

- «Пусти», и хочешь, да не пушу. Пошли! Нам до Белого лужка добраться, а там помогут. Народ у нас хороший. Ну, - подтолкнул ее в спину, - топчи дорогу!

В какой-то момент он остановился, постоял, вглядываясь в идущую женщину, вздохнул и поковылял обратно своим следом. Оглянулся - она бредет за ним, как пингвин с картинки, расщеперив крылышки.

- Ты-ы! - задохнулся в крике Борщ. - Куда несет, пропащая твоя душа? Фуфайка у меня там и валенки, возьму и назад, поняла ли?

Забежал ей навстречу, для убедительности показал на ноги в шерстяных носках, подергал себя за рубаху. Она помедлила, шурясь от нестерпимо палящего солнца, поплелась назад, к деревне Белый лужок.

Сидит Борщ на берегу реки усталый, разбитый, греет в руках посиневшие ступни. Больно ступням. Еще сильнее, нестерпимее боль внутри его - страстное желание покончить с ужасным, отвратительным миром, в котором он пребывает, и не менее страстное - жить, дышать этим сладким весенним воздухом... Он понимал, что должен совершить нечто необычное. Может быть, страшное, - выбрать ли холодную бездну или ждать продолжения прекраснейшего сна, что дарит ему жизнь. Он вдруг почувствовал, что дико завидует тому, кого родит спасенная им женщина... И тихо заплакал.

## МОЛЧУН

Он приподнял голову от подушки и увидел в окне легонько качающиеся

вершины сосен. Увидел и обрадовался, точно заново родился: жив! Позади страшная ночь; отступили, расползлись по мозговым извилинам перепутанные обрывки снов и воспоминаний. Даже выругал себя, что не может столько лет забыть, растоптать в себе прошлое.

«Хорошо-то как, Господи!» - ликовала душа. Еле слышно рассмеялся, отодвинул подушку, встал с кровати, подошел к окну, уперся лбом в стекло рамы. Утро обещало быть ясным, а лучи восходящего солнца скользили по грязной крыше кочегарки, по высоченной дымовой трубе, по бронзовым стволам вековых сосен, озаряли зеленые пирамидки вырывающихся из-под снега кустов можжевельника. Картину просыпающейся природы он наблюдал каждое утро, отмечая про себя высоту стаявшего снега. Он не имел возможности выйти на улицу, надышаться полной грудью колкого воздуха, пожмуриться от ослепительного света и белизны, потрогать шероховатую кору деревьев. Весна рвалась в лес, в больничные палаты, как ликующий крик. Весна делала всех нетерпеливее, все как ждали чего-то необыкновенного, все как бы торопили ее, немного запоздалую в этом году. И чем дольше он смотрел, тем сильнее хотелось жить, жить!..

Под соседом по несчастью закрипела койка. Вот он сел, откинул одеяло на спинку кровати, сладко зевнул.

- Как погодка, Николай?

- Нормально, - не оборачиваясь, ответил стоящий у окна Николай Власов.

- Так-так.

Сосед взбил подушку, кинул ее вслед за одеялом на спинку кровати, сел. По шороху бумаг на тумбочке Николай предположил, что сосед в который раз принялся разглядывать «Пир богов на Олимпе», видя в репродукции удивительное сходство Венеры со своей женой. Великий Рубенс не загадывал, что через века его богиня будет изучаться так пристально простым российским мужиком по фамилии Корытов. Сосед - толстый, как бочка, малоподвижный мужчина лет пятидесяти, обладал удивительной чертой человеческого характера - добротой. Корытов без слов понимал состояние собеседника, не лез в душу, был в меру весел и в меру заботлив. Одним словом, такой сосед в палате, рассчитанной на двоих больных - награда от Бога.

- Через полчаса парнишку понесут, - будто сам для себя сказал сосед. Николай вздрогнул, сразу почувствовал покалывание в области сердца. Хорошее настроение улетучилось, на душу навалилась гнетущая пустота. Он понял, что сосед как бы подготавливает его к страшному, однотонному жуткому воплю, вот-вот готовому разнестись по коридору. В первый день, как привезли этого ребенка, с Николаем случилась истерика. Едва его, нечленораздельно мычащего, успокоили, влив в рот порядочную порцию снадобья.

Все обитатели палат хирургического и терапевтического отделений

быстро узнали историю восьмилетнего парнишки, пострадавшего от рук изверга отца. Два раза в сутки парнишку носили на перевязки, и два раза в сутки вся больница была на ногах. Он, захлебываясь, визжал так, что собственная боль только что очухавшегося от наркоза оперированного, казалась сущим пустяком против боли ребенка. По рассказам медсестры, пьяный отец кинул в своего чада самовар с кипятком. Мало того, глумился, когда жена, крича не своим голосом, уносила из дома ошпаренную кровиночку. Не скоро глухая бабка добежала до фермы, обливаясь слезами, поведала невестке о беде, сколько еще прошло времени, пока доставили пострадавшего в кабине гусеничного трактора до районной больницы. Двадцать два километра пути! Только сердце матери может перенести такое...

После этого приступа Николай надолго замолчал. Лежит поверх одеяла, зубы стиснуты, под кожей ходят желваки, на помертвевшем продолговатом лице капельки пота. Пока длится перевязка - нет Николая. А Кобытов не находит себе места: то выбежит в коридор, перекинется парой слов с ходячими больными, то помолит такого здоровья дураку отцу, что у сидящих сестреноч милосердия глаза на лоб лезут. Кобытов сулил бешеному псу такие кары, что вряд ли бы их перенес смертный. Кончится перевязка, остынут оба, давай играть в шахматы.

Кончается еще один нудный больничный день. Сном, скорее дремотой, забудется больница. Точно проклятие возвращается к Николаю детство. И нет сил, нет воли приказать себе: кончи думать!

... - Скорее, скорее, - одними губами шепчет напуганная бабка, - ходче, дитятко. Да ползи ты, ходчее-то... Ой, беда, ой, беда...

Николка сидит в закутке, в том самом пространстве между русской печью и стеной, заваленном валенками, ухватами, прочей крестьянской бытностью, трепещущими воробышками прижались к нему братья. Тихо так, что слышен стук собственного сердца. В избе темень. Бабка предусмотрительно погасила лампу, попрятала ножи и топоры, сняла иконы. Поднятая печная пыль шербит в носу, от жары трудно дышать. Все ждут. Вот-вот должен заявиться отец и тогда... Что будет тогда, никто ответить не может. Или отец сначала примется бить бабку, пинками загонит под кровать деда, потом примется искать попрятавшуюся мелюзгу? Или их вытащит, как котят, из закутка и заставит клятвенно повторять, что не бросят дети своего родителя в старости. Случается, отец сначала рубит в щепы косяки дверей или пугает пожаром...

- Только бы скорее вырасти! - страстно говорит Николка. - Скорее бы подняться!

- Убьем! - поддерживает всхлипывающий средний Егорша.

- Мама где? Куда мама убежала? - кукуется меньшей Ванюшка, только реветь ему Николка не позволяет, тычет под бок: молчи!

Отец «дает» в месяц два-три концерта, что нечистая сила орет, обещает не сегодня, так завтра всем отрубить головы. И бабка-смертник, хоть и крестится на свои иконы. Вот бухает что-то в коридоре, тенью мелькает прошмыгнувшая бабка, крик, вой...

- Тише, ребятушки? Тише сидите.

Бабка смелости огромной, не страшится броситься под топор. В хмельном угаре отцовской головы что-то срабатывает, на какой-то момент он расслабляется, этим моментом бабка и пользуется, вяжет руки веревкой. Через час-другой отец захрапит, тогда бабка путы снимает.

Хуже, если спектакль начинается с «догонялки». Отец выкуривает ухватом премилых деток на расправу. Как старший, Николка хватается за рожки ухвата и держит изо всех силенок, давая братьям время на отступление. Маршрут наторен. По коридору на лестницу, с лестницы на сарай, а там, в сарае, зарываясь поглубже в заранее приготовленные норы. Это зимний вариант. Самое опасное, если отец начнет вилами раскидывать сено. Как заметил, что добирается до шкуры, - уноси Бог ноги! Летом проще. Летом каждый кустик ночевать пустит. Мать спасается по чужим баням, на глаза пьяному отцу не кажется. Поймает, бьет офицерским ремнем до крови.

Хорошо живут Власовы, в достатке. Век в деревне их семью крепкой считали. Два брата отца перед войной заработали столько хлеба, что в голодные послевоенные годы клеверных лепешек не едали. И не мало бабка помогала деревенским этим хлебом, спасала от неминуемой смерти. Потому Власовы на деревне уважаемые; память памятью, но Власовы и до работы жадные. Трезвый отец за троих сломит, а кто лучше деда в волости по топорному ремеслу выстоит? Ахвати мать косить, да что косилка траву валит! Ровесники не раз попрекали Николку с братьями пшеничниками. Начнет задираться Женька Лучков: «В холе растешь, на белом хлебе. Ты бы на кислом житнике потянул, узнал бы, как без батька на ноги вставать». Смолчит Николка, хоть так и хочется лезть в драку от обиды, уйдет в себя. Как бы он променял весь хлеб в доме, чтобы во веки веков не знать, как беснуется отец. Эх, Женька, Женька... Взглянул бы ты хоть одним глазком, чем пахнет этот белый хлеб, прикусил бы язык. Мог бы и он тебе много порассказать, да нельзя этого делать. Шила в мешке не утаить, кое-кто и так знает, но зачем самому свою фамилию поганить?

- Сестра! Сестра! - Корытов видит, как сползает с кровати Власов. - Сестра, черт твою маму!

Терпелив Николай. Ищет ли сестра плохо обнаруживаемую вену, ковыряя тело иголкой, плачет ли в коридоре жена - не нагрубит, слова лишнего не скажет. Ночь для него и наказание, и облегчение. Облегчение - никто не видит его душевных мук, наказание - память. Гостит он в больнице два раза в году: глубокой осенью и ранней весной. Отлежится, и снова за рычаги трактора. «Молчуном» зовут его в деревне, славится отменным трудолюбием. Одного

понять не могут односельчане, какая лихоманка привязалась к мужику? Ведь вырос при батьке, на белом хлебе, а здоровья нет...

- И говорить не могу, и молчать не могу, - говорит Корытов, расставляя фигуры на шахматном поле. - Вот как представлю себе махонького парнишку, как он извивается, а с него сдирают бинты, как кричит... Вот веришь, дали бы мне волю, я бы задавил гада отца, так называемого, вот этими руками. Паразит! Недоносок! Это какой душой надо быть, бабе его, чтобы жить с эдаким извергом! Вздохнет Власов. Разве скажет он соседу про свое состояние? Слова он оставил в закутке, а может, в зимнем лесу, когда просил волков сожрать его, ибо он вкусный, потому как вырос на белом хлебе...

## НАСТЯ

Воскресный день в больнице с год. Хватает времени и бока отлежать, и прожитое поворошить, и чаек не раз заварить.

На улице холодное осеннее ненастье. Ветер раскачивает за окном тополя, рвет с подоконника железный лист. Лист грохочет, хлопает, из-под него сквозит, не спадают даже тщательно заправленные за батареи отопления тяжелые сиреневые шторы. Пресная жизнь в больнице: вроде кормят, поят, спи - не хочу, забот никаких; ан, нет, утомляют человека белые стены. Кто-то легонько потянул на себя дверь, кинул в женскую палату черного лохматого кота и, не заботясь о тишине, резко затворил дверь. Кот присел, прижав уши, метнул по сторонам испуганный взгляд и, напружинив тело, юркнул под стоящую рядом тумбочку. Застрял, распластавшись на полу, зарычал, отчаянно царапая скользкий пол когтями, извивая хвост:

- Яу-яу-уауу!

Женщина, сидевшая на стуле рядом с тумбочкой, удивленно ойкнула, нагнулась, погладила взъерошенную спину кота.

- Вот дураки, - рассмеялась, - нашли забаву... Ну и голосиной тебя Бог одарил...

- Настя, выкинь его!

- Бедняжка... Да не ори, не ори, кому говорят. Иди ко мне, не упирайся... Ишь, как хвостиком наяривает...

- Настя, вышвырни его!

- Зачем швырять, и так натерпелся. Кот-то потеряшка, не прибойный к незнакомому месту... Угомонись, непутевая твоя душа...

- Настя!! - не тише кота прорычала Алевтина Павловна. Пошли, гуляка, выпущу тебя.

Алевтина Павловна измучила и себя, и врачей, и соседок по палате, и мука с каждым днем становится все нестерпимее. Сегодня она уже выкурила

шесть сигарет, наглоталась таблеток, накапала попеременно со слезами не меньше ста капель корвалола и, давась рыданиями, выпила. Стрижена под дворового хулигана, со лба огненно-рыжая, затылок бледнее вешнего снега. Лицо желтоватое, глаза глубоко вошли во впадины, на лбу частые нити разбежавшихся морщин. Похожа на сбежавшую из-под гильотины курицу, уже частично отеребленную, осунувшуюся от длительного ожидания казни. Красные штаны-трико плохо держатся на перегнетающем вперед животе, Алевтине Павловне не сидится на месте, она в постоянном движении. То выходит в коридор и курсирует взад-вперед, заходя уступая дорогу встречным, то идет к окну, делает в шторах щелку и смотрит, вздыхая, ждет какого-то чуда. Вроде, бесцельно прогуливалась Алевтина Павловна, но падший ангел облюбовал свой объект терзаний: он настойчиво тащил за рукав халата ближе к мужской палате желудочников - четыре дня назад на отделение поступил белокурый гигант Стас Козлов. Падший ангел гнал трепетную лань в когти льва. Тщетны были усилия: мужчина иронически улыбался, на пыльные взгляды не реагировал, анекдоты не рассказывал, лежал на кровати поверх одеяла и смотрел в потолок.

Дверь в палате скрипит на петлях, как затертая патефонная пластинка. Настроение Алевтины Павловны под стать двери: унылое, капризное, недоверчивое...

Напротив друг друга полусидят, полулежат на кроватях будто двойняшки, толстушки Любовь Васильевна и Ольга Федоровна. Они родственные души - статисты, очень пронырливые особы. У них даже носы похожи на носики мышек землероек. Любимая тема их разговоров - дачи. Они часами поливают огурцы, пасынкуют помидоры, ловят жуков и воров, красят заборы, консервируют, учат огородным премудростям лопухих профессоров. У Любви Васильевны строгий, вместе с тем усталый взгляд. Она вяжет свитерок будущей внучке. Ольга Федоровна, форсистая дамочка, пудрится, часто смотрится в зеркальце, по утрам работает на публику - целует нателный крест и вслух читает молитву. Она привезла с собой страшный роман «Убийство на даче», переложенный листом смородины на сорок первой странице. У нее особая манера чтения: минут пять тщательно изучает текст, минуты три размышляет о прочитанном, минуты две разглядывает свои руки. Дачные заботы оставили на них заусеницы, трещинки, но благодаря новым косметическим средствам кожа начинает выглядеть элегантной. Ольга Федоровна - любительница слухов. На свежую новость она реагирует легким испугом в больших серых глазах, изумленно тянет: «Да-а?» - и, хихикнув, замирает. Она уже собрала кое-какие данные о лечащих врачах, медсестрах, о странной привычке зав. отделением сосать леденцы. Будь ее воля, она завела бы особую форму учета сплетен и заставила источников информации бережнее относиться к судам-пересудам, скрытников и молчунов садила бы в долговую яму и перед сном требовала давать показания.

Любови Васильевне постоянно что-нибудь снится. То она отлежит руки и, поднявшись среди ночи с кровати, стоит столбом в ночной сорочке, соображает, почему по ней проехал муж на «Москвиче», то во сне высказывает своему начальнику по службе ценные соображения. Ольга Федоровна частенько ночами окликает Любовь Васильевну дрожащим, кротким голосом, шупает рукой, свесившись с кровати и страшась мысли, что соседка умерла и будет до утра лежать рядом, молчаливая и ужасная.

Четвертая обитательница палаты - Настя Гушина. Красивая, высокая женщина. Через грудь по-девичьи перекинута тугая коса, лицо открытое, приветливое, полные руки оголены до плеч. Но самое-самое, что единым мазком, единым взмахом кисти художника может сказать о женщине почти все, - это простенький, беленький с редкими цветочками платок. Он постоянно в руках женщины, скрученный ли, узелками завязанный, или разглаженный на коленях лучше всякого утюга. Эта Настя Гушина из далекой, спрятанной в лесу деревушки, занесенная осенним порывистым ветром к доктору Айболиту. Чужая среди чужих.

- На обе-ед, на обе-ед, - подвизгивающий голос двери перекрывает певучий голосок медсестры.

- Что там у нас? - интересуется Ольга Федоровна. Медсестра отвечает: «Греча». Любовь Васильевна благодарит: «Вы так добры, так добры, Светлана Григорьевна. Дай вам Бог всего, чего хочется». Настя Гушина берет свою кружку с сосновыми шишками, идет в столовую.

Едва за ней проскрипела дверь, как Ольга Федоровна рывком достает из тумбочки завернутую в целлофан курицу. Зубы Любови Васильевны с аппетитом вонзаются в жирную домашнюю колбасу. Алевтина Павловна со вздохом садится к своей тумбочке доедать торт. Не надо думать, что женщины скряги, они любезно предлагают одна другой отведать то, что уминают сами. Женщины поднабрались культуры на пляжах Черного моря, улыбка и вежливость для них - основной стержень приятного совместного проживания в четырех стенах.

По коридору гуляет бодрящий морозец. Настя Гушина стоит у настежь открытой форточки, смотрит, как горбятся крыши домов, усеянные телевизионными антеннами. Ей кажется, что под этими крышами нет ни одной живой души, есть ванны, раковины, собаки, кошки, книги, а вместо людей сидят перед телевизорами привидения в балахонах...

До ужина Ольга Федоровна осилила полстраницы. Ее герой в романе все еще окапывает яблоню. Любовь Васильевна вывязала на свитере воркующего голубя. Алевтина Павловна дважды всплакнула. Оба раза Ольга Федоровна успокаивала Алевтину Павловну.

- Жалко, мне так себя жалко, - давилась слезами Алевтина Павловна.

- Будет вам, дорогуша, будет, - гладила плечи Алевтине Павловне Ольга

Федоровна.

Сменившаяся медсестра отказалась сделать успокаивающий укол. Алевтина Павловна в истерике кричала: «Казел! Казлина!» - сильно упирая на букву «а».

- На ужин была овсянка. Насте Гушиной каша понравилась.
- Как ты и ешь, - скривила рот Алевтина Павловна.
- Почему? Вкусно же. Я ребят своих овсянкой на ноги ставила.
- А сколь их у тебя? - спросила Алевтина Павловна.
- Бог дал шестерых.

Алевтина Павловна удивленно присвистнула, покачала головой:

- Шестеро...

- И все парни, - со смехом добавила Настя. - Старшие-то на крыло поднялись, своими семьями живут. Сижу вот тут, дурью маюсь, а младшенький с ума не идет. Простыл на соревнованиях.

- У тебя любовник есть? - неожиданно спрашивает Настю Алевтина Павловна.

- Да что вы! - Настя изумленно осмотрелась кругом. - На кой он черт. Алевтина Павловна смутилась, с попыткой приятной улыбки взяла стул, села напротив.

- Ни разу? Ни с кем?

- Да что вы, право дело... Колька у меня есть, муж. Зачем мне всякая грязь... Может, и не так любит, как в золотую пору любил, да и чего меня любить стало, развалуху эдакую...

- А скажи, скажи, вот как, как он тебя любил? - не унимается Алевтина Павловна.

- Да всяко... Под весну раз идем с ним из клуба, из другой деревни. Ему отправка была в праздники, девятого мая. Ночь холоднющая, звезды хороводы водят... Присели на лавочку у колодца и сидим, на падающие звезды загадываем. Он все говорит и говорит, а мне сердце-ведун одно шепчет: уйдет, забудет. Положил он мне голову на грудь, и так мне жарко стало... Дозволила пальто расстегнуть, он целует и целует, аж впивается губами в мои губы. Больно, увернуться и могла бы, да терплю. Осилили меня слезы, - Настя счастливо вздохнула, встрепенулась, платочек старательно разглаживает на колене. А потом, потом... - торопит Алевтина Павловна.

- Потом... Закружилась моя головушка, будто я цветку черемухового нанюхалась, будто лечу куда-то, будто пою на опушке леса, а эхо вторит мне, вторит... Отдала ему всю ласку и тело.

- На скамейке?

- На скамейке, - смеется Настя. - Чего тут попишешь...

- А еще, еще много так бывало?

- Не считала... Зачем вам это?

- Интересно. Вот сколько ты классов кончила в своей деревне?

- Среднюю школу с серебряной медалью. Год заочно училась в Вологодском молочном институте да бросила, не по мне в начальстве ходить. Колька силом заставлял учиться, не мог перебороть.

- Настя, хоть еще один случай, а?

- Да неудобно как-то, мало у всех нас тайн сердечных? Настя...

- Родила Мишеньку, первенца, а Колька в армии. Стыдобушка, ой, стыдобушка... Не заведено в наших краях подолом трясти. Отец кулаки зажимает, мать поедом заела... Пережила, воротился мой золотой! Того же дня к нам прибежал. Вот радость-то была, словами не высказать. Какая я была богатая! Мишеньку на руки берет, и идем мы втроем нарочно полукругом, через три деревни. Кто бы ни встретился, Колька на свадьбу зовет. А тут сенокос со всех сторон обжал. Колька косу на плечо - и пошел махать. Трактор ему с косилкой председатель наваливает, а он по старинке, так, где наволоки сырые. Жадный он у меня до работы, ой, жадный...

Раз под вечер нет и нет его, встревожилась. Пошла встречать, мало ли что... Шла да бежала, километра три, уж ночь хвост потащила. Опустилась до наволоков, нет моего Кольки. Кричать стыдно. Летом народ на ногах полные сутки, скажут потом, молодуха в трех березах потерялась. Стою у перелесочка, вся в слух ушла. Вдруг сзади хруст да хруст, хруст да хруст, меня как громом разило: подкрадывается мой соколик, напугать хочет. Ночь тихая-тихая, а птицы как поют, аж сгорают от счастья. Нарочно не оборачиваюсь, думаю, ладно, сейчас я сама тебя так напугаю... Перестало хрустеть. Жду, вот-вот сзади меня обнимет. Обернулась, а медведище огромное на задних лапах. Хочу кричать - язык завяз, рубашка к телу прилипла. Он качнулся туда-сюда и пропал, через себя как перекатился. Тут у меня голос и прорезался. И бежит мой Коленька, мокруший, за меня бы, кажется, на нож кинулся. Налимов ловил. Долго мы с ним с наволока не уходили, смеялись, я ему про медведя рассказывала, он сочиняет, как налим под корягу уволок. Там, на наволоке, Коленьку зачали... Потом, бывало, пасем с бабами коров, отойду в сторону и явственно ту ночь вижу и птиц слышу - дивно они цвинькали. Поднесу руки к носу - пахнет свежей рыбой, да и поди ты...

Алевтина Павловна откинулась на стуле, застыла в мечтательном положении.

- Жизнь, жизнь, - печально сказала она, покусывая губы. - Не всем дано судьбу свою за хвост схватить... Стыд, пошлятина. Кто из нас, дурочек, не краснел маковым цветом после первого поцелуя? Ускакал мой гусар, отстучали копыта его коня, затихло бряцание шпор, только очами сердца все настигаю его, рыцаря моих грез, ощущая аромат сильного мужского тела, ласкаю... Господи-и, - Алевтина Павловна застонала, как насмерть раненая волчица. - Разбередила ты меня, удивляюсь, как ты говоришь...

- Прошлое - свято, особо молодые годы, - сказала Настя.

- Прошлое? Что ты знаешь о моем прошлом? - кровь прихлынула к лицу Алевтины Павловны, глаза сверкнули шальным огнем и потухли. Подвалы, пьянки, спянявые морды! Я надзирательница женской колонии! Разве я не человек? Я машина, я...

Алевтина Павловна порывисто вскочила, с плачем выбежала из палаты.

- Какая она нервная, - покачала головой Настя.

- Не обижайся, Настя, только не говори ты с ней о делах амурных, - сказала Любовь Васильевна.

- Так она сама же...

- Настя, - перебила Настю Ольга Федоровна, - у вас денег нет?

- Почему - есть. На обратную дорогу отложила, ребятам по подарочку куплю. Вы интересуетесь, почему я продуктов не прикупаю? А просто: фельдшерица наша Степанида Всеволодовна советовала поголодать. Отец у нее на фронте хирургом был, так всегда говорил, что желудок надо лечить голодом. Еды мне хватает, никак и проробилась... Ужо, скажу Алевтине Павловне, чтобы летом на муравейник походила. У нас одна старуха девяносто три года живет, тем, говорит, и спасаюсь, что муравьи меня омолаживают. Как думаете, про это можно говорить?

В понедельник был обход. Высокий, сутулый, с засеребрившейся бородой зав. отделением долго изучал дряблое тело Алевтины Павловны. Под утро она приглашала смерть за своей грешной душой.

Любовь Васильевна жаловалась на плохой аппетит. У Ольги Федоровны были все органы, что спрятаны в человеческой утробе. У Насти Гушиной врач задержался ровно на столько, чтобы сказать:

- У вас будет другой лечащий врач.

Достал из кармана халата кулек с леденцами, посмотрел самый лакомый, опустил в рот. Затолкал кулек в карман и вышел из палаты. Прежнего лечащего врача своего Настя пока не видела, какой-то будет новый?

Любовь Васильевна и Ольга Федоровна стали подкручивать ресницы, охорашиваться, придиричиво оглядывая друг дружку. Сегодня у них по пять процедур до обеда, а после обеда обе дружно шагают к стоматологу. Алевтина Павловна взяла полотенце и, не сказав ни слова, вышла из палаты.

Настя посидела, подошла к окну, раздернула шторы. «Что и делается на улице, царица небесная! Как выюжит, как оно завивает!.. Ребята мои, поди-ко, со снегом воюют... И чего эта жестина пляшет? Неужели приколотить ее некому или хоть бы щель проконопатили...» Вспомнила, что час назад медсестра приглашала больных взвешиваться на весах, прошла на сестринский пост.

- Милая, в какой стороне у вас весы?

## ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ

«Написала!» - длинные языки разнесли новость по кирпичному заводу быстрее, чем высохли чернила на заявлении. А в бухгалтерии рядом с бачком воды сидела длинноносая лаборантка Люда и ерзала, не скрывая нетерпеливую радость. Еще бы: четыре месяца ее держали на побегушках, а «старая карга», как она мысленно называла Таисию Арсеньевну Подорожжину, гадала на кофейной гуще - уйду, не уйду. Душа ликовала. Люда готовилась принимать поздравления от коллектива и желала себе успехов на поприще главного бухгалтера. Женщины, вроде бы продолжая работать, исподтишка наблюдали за Людой: «Важности-то сколько... Такая уцепится за ставку намертво, любому горло перегрызет». Мария Ивановна, второй бухгалтер, женщина крупнокалиберная, отличающаяся прямоотой, улыбнулась таинственно, решив для себя: «С месячишко Федор Васильевич потерпит, а потом попрут. Какой из тебя финансист, девушка сортирная». Люда окончила заочно институт, ее мысли уже давно были тут, за столом главного бухгалтера, но «старая карга» загораживала ей дорогу.

Пришел директор Федор Васильевич, рослый, с лихо подкрученными усами, как обычно, поприветствовал всех:

- Барышни, добрый день! - А наособицу:

- Здравствуй, Тася!

- Здравствуй, Федор. Заявление написала, возьми.

Вроде и готов был к тому, что долго-коротко, и Подорожжина уйдет на заслуженный отдых, но все же стало как-то неловко, наползла виноватая улыбка:

- Тася, ты что? Как мы без тебя? Может...

Таисия Арсеньевна в каком-то тумане, точно и не она это, приторно усмехнулась, порывисто протянула директору приготовленный лист. Федор Васильевич решил, что эта усмешка ее от желания скрыть обиду, мол, выжили, вон и замена сидит.

- Тася, передумай!

Веки и губы Таисии Арсеньевны нервно покривились.

- Уйдешь, Тася, нескоро мы без тебя обвыкнемся...

Не таких речей ждала она от Федора Васильевича. От этих слов всхлипнула, отвернулась к окну. Женщины в бухгалтерии засуетились на своих местах: что говорить, Таисия Арсеньевна как работная лошадь. Одинокая, бессменная, завод для нее и дом, и семья.

- А что, - вдруг весело сказал Федор Васильевич, - подарим тебе по такому важному поводу пчел. Будешь пчеловодить, мы в гости придем, чайку с медком попьем! А? Литературку подарим, поизучай... А пчел я на себя

беру.

Таисия Арсеньевна развернулась, по лицу текли слезы:

- Зачем, Федор? Зачем мне пчелы?

- Вот и говорю, будем чай к тебе ходить пить. Верно, барышни?

Обещаю, осенью приду и пробу сниму.

В раздумье сидит за столом Таисия Арсеньевна, не спешит в авоську нехитрое имущество свое складывать. Не вытерпела Люда, хотела для смеху сказать, а получилось глупо:

- До сих пор пробу не снял?

Оглянулись на Люду женщины, в лице недоумение: «В своем ли ты уме, девушка?»

Таисия Арсеньевна сделала вид, что и не слышала ничего, говорит:

- Что, бабоньки, на посошок?

- Таисия Арсеньевна, что вы... Мы сейчас...

- Подождите, я сейчас до магазина дойду, - и, рукой показывая на несгораемый шкаф, кинула Люде:

- Обживайся.

Таисия Арсеньевна только за двери, а Люда с нарочито скучающей миной, не спеша протопала за стол главного бухгалтера. Зря ломалась, вмиг ее раскусили.

- Потянешь, думаешь? - спрашивает, не оборачиваясь, Мария Ивановна.

Люда одарила широкую спину Марии Ивановны презрительным прищуром:

- Мария Ивановна, неужели не поможете, - спросила елеяно, мысленно пережевывая желание сказать: «А тебя я вышвырну, корова!»

Раздумянулась Мария Ивановна, с грохотом отодвинула стул - встать и садиться для нее сущее наказание - подошла к Люде:

- Ты кого обидела? Да ты мизинца ее не стоишь, финтифлюшка крашенная. Кыш отсюда, мелюзга!

Как ошпаренная, выскочила Люда из бухгалтерии.

- Круто ты ее...

- Я шелуху-то с нее обдеру! - не на шутку разошлась Мария Ивановна.

Таисия Арсеньевна терпеть не может грубых мужчин. Зайдет в бухгалтерию подвыпивший «правдоискатель», мысли кондовые, речи матерные, и начнет гнилую интеллигенцию склонять: все терпят, даже Мария Ивановна рот на замке держит, а Таисия Арсеньевна без лишних слов возьмет бунтаря за рукав и выводит. Проспится пьяный, завтра встретит Таисию Арсеньевну, глаз не поднимает: неудобно ему, прости.

Бывают у природы дни, светлые и высокие, когда в июле рожь зреет: небо чистое, солнце благодатное и легкие белые облака, и каждый колосок на виду. Бывают и люди такие же, светлые и высокие. Такая и Таисия Арсеньевна.

Много лет наполнила ожиданием замужества, а дни шли, в годы сливались. Вешние черемухи нынче стоят понурые, - раньше веселей цвели! Грустно одной, тягостно. Все чаще стала замечать краски закатные и думать, сколько всего на земле прошло, вот и моя жизнь тоже... Весной дрались коты, оглашая окрестности воплями, кто-то женился, кого-то провожали в армию... Но все проходило рядом, не задевая ее. Она надеялась, однажды добрый интеллигентный мужчина - где ты, Федя Ларионов! - пройдет мимо пьяных рож и попросит ее руки, и она пойдет за ним хоть на край света.

Давно уж Федю Ларионова величают Федором Васильевичем. Ох, Федька, Федька... Стройный, широкоплечий, свободный и непринужденный в поведении. Много девок по нему сохло.

Затворница иллюзий пряталась по вечерам дома, читала книжки и предпочитала неброские одежды, открыв окошко, слушала доносящиеся смех и пиликанье гармошки. Но пожаловала старость, в голосе все чаще появлялись едкость и раздражительность, но всем своим видом она пыталась показать превосходство своей жизни над суетливым семейным раем, равнодушным сожительством, где каждый супруг живет сам по себе, одна брань общая. Аккуратно являлась изо дня в день на работу, иногда сидела молча, перебирая пальцами бусины янтарного ожерелья, и, вздохнув, бралась за работу, встряхнув счеты «с ног на голову».

Каждое утро в бухгалтерии начиналось «с молотьбы». Женщины делились новостями, обнажали обиженные души, перебивали косточки лодырям.

- Хватит, - оборвет их Таисия Арсеньевна, помедлит, скажет дружелюбнее: - Трещетки. Каждый день сказка про белого бычка.

В одиннадцать часов общее чаепитие. Случись кому-то забежать по «очень срочному» делу, она и бровью не поведет: что свято, то свято. Одни жалели Таисию Арсеньевну, другие смеялись над ней: и то, и другое плохо. Однако и те, и другие хотели приблизиться к тайне Таисии Арсеньевны. И почему директора она зовет просто Федор? Говорят, шальной был в молодости, мало ли...

Острый природный ум и толковый путь Федора Васильевича от кузнеца до директора кирпичного завода - хороший багаж. Переходя с работы на работу, не гнался за деньгами, уносил опыт бывалых людей и сердечное добро и, без чего тяжело прожить, - иронию. К каждому подберет ключик; пообещал, в лепешку расшибется, сделает. Когда закрутилась в стране кособокая ельцинская карусель, когда партийные верхушки расписались в бессилии, когда кирпичный завод сидел без зарплаты чуть не год, собрал он народ и спросил: «Или хозяевами будем на своем предприятии, или, как крабы, каждый в свою норку забьемся?» Покричал народ, проклиная Беловежскую пушу, и отдался Федору Васильевичу: правь, как знаешь, на все согласны.

Лето прошло в хлопотах на своем огороде. Привязалась Таисия Арсеньевна к работающим пчелам, они оживили душу, всколыхнули нежные воспоминания детства... Спать ложилась довольная, чувствуя, как вживается в нее и обволакивает слух жужжание. С трепетом ждала роение, и - ура! - родилась новая семья. Гулом наполнило пространство; она бегала между грядок с луком и морковью, гадала, куда привьется рой. Прилепился на собачью будку, что смастерил отец за год до смерти. Таисия Арсеньевна посчитала это добрым знаком, будто отец благословил. Бережно смела рой в роевню, подержала в подвале (так велит журнал «Пчеловодство»), посадила в новый домик. Каждое утро наклонится над лотком:

- Как дела, барышни?

Радости добавила Мария Ивановна, медлительная в движении, нашла время навестить коллегу.

- Наступал, еще как наступал, все главной быть уговаривал. Куда мне главной, с хозяйством затюкалась, девку замуж леший сносил, не ложилось, выскала с ребенком... Сама полотенце вышивала? Баско... На всяко ремесло тебя хватает, Таисия... Ну вот, Людку отшил. Мне приоткрылся: утром гляну, нету Таси, на ее месте курица длинноноса вкочет... Какое, право, надо, терпение, чтобы таких петухов навшивать...

- Дальше-то, дальше что? - подтыкает Таисия Арсеньевна.

- Из «Прогресса» переманил бухгалтершу, Маргаритой зовут. Вот крест, Таисия, ровно ты. Уж подобра-ал. Мы бывает, разойдемся, а она с легким укором: «Ну, сороки, делом занимайтесь». Гля, до чего у тебя в окошко любо смотреть... Иногда своего выберу, и почему он не такой, как Федор Васильевич? Золотой, скажу, Таисия, мужик!

Все бы хорошо, уж намерение было дойти до Федора Васильевича, позвать пробу снять, как одной ночью - той ночью, как первый заморозок побил картофельную ботву, из лесу пожаловал неожиданный гость-медведь, один улей разорил, рамки вместе с пчелами поломал, мед пожрал и даже кучу добра из неспелого овса хозяйке на память оставил. Как увидела Таисия Арсеньевна ночной разбой, так и обомлела, всколыхнулась душа невиданной злобой.

Дом Подорожкиных крайний был в деревне, крайним остался и в поселке. За их огородом - овраг, обросший черемухой и крапивой, за оврагом болотина. Раньше болотину всю выкашивали, до последней травинки, а как кирпичный завод заглотил деревню, превратилась болотина в свалку. Кустарник размахнулся, лис развелось много, кабаны в прошлом году выкопали картошку у дяди Паши. Дядя Паша раньше охотился важно, говорили, сорок медведей завалил. Прибежала Таисия Арсеньевна к нему, беду выложила.

Сидит дядя Паша в нетопленной избе, на костыль опирается, на столе немые чашки-ложки.

- Так и живу, - съежился сморчком дядя Паша, - доживаю. В уголках глаз заблестели слезы. Нехорошо почувствовала себя Таисия Арсеньевна: беспомощно и некрасиво плачут старые люди. Давненько она не видела дядю Пашу, умом представляла, как прежде, сильного, веселого, а перед ней живой мертвец, с тонкой шеей и длинной лысой головой, будто вылепленной из воска.

- Раньше, дядя Паша, ты охотился...

- Что раньше было, то вода унесла, - холодно посмотрел, оперся о костыль покрепче.

Таисии Арсеньевне вдруг захотелось приласкать старика, отогреть душу, рассказать про одиночество свое; про то, что дура была, что и себе жизнь загубила.

- Как ты думаешь, дядя Паша, Бог человеку судьбу дает или человек сам себе судьбу выбирает? - доверительно спросила она.

- Чего это тебя кинуло на Бога? - усмехнулся старик.

- Так годы...

- Годы... - как-то гадливо передразнил дядя Паша.

Таисия Арсеньевна мгновенно почувствовала к нему отвращение, и уже ни за что бы его не обняла.

Старик тяжело поднялся, прошел к божнице, перекрестился. «А раньше на иконы плевал», - подумала Таисия Арсеньевна.

- Господи-и, - простонал дядя Паша и повернулся к стоящей посреди избы Таисии Арсеньевне, - ты, ты Митю нашего!..

Обидное, незаслуженное оскорбление! К двери подошла, за скобу железную взялась, тихо ответила:

- Не любила я его...

- А тебе не дано любить, - мстительно ощерился старик. В слезах шла домой Таисия Арсеньевна. Врешь, дядя Паша, врешь!!! Наревелась, отошла, пошла к соседям звонить Федору Васильевичу. Было у того удивления. За последние пять лет не слыхал, чтобы медведи поблизости шастали.

- Вот, подлец, вперед меня заправился, - смеется Федор Васильевич, - уж я Ваську своего к тебе отправлю.

Ближе к вечеру пришли к Таисии Арсеньевне два милиционера. Один долговязый, лицом весь в деда Василия Федоровича, развязно спросил:

- Где тут, мамаша, наша медвежья шкура?

Много лет прошло, а страх не прошел. Сразу в заносчивом парне Таисия Арсеньевна увидела послевоенного председателя колхоза, заныла душа.

Собираются милиционеры как на войну, только бронежилетов нет. На поясах по большому ножу, на груди бинокли, карабины с прицелами ночного видения. По огороду ходили, определились с засадой: с чердака раму выставить и ждать - подвел итоги долговязый Васька. Долго топались на потолке, успокоились. Таисия Арсеньевна поднялась к ним по лесенке,

шепотом спросила:

- Ребята, вы думаете, он придет?

- Придет, мамаша, не сомневайся, - хохотнул Васька.

«Леший бы на тебя вышел!» - про себя «благословила» парня.

Таисия Арсеньевна легла на кровать не раздеваясь, уснуть не могла, до часу ночи ныли и ныли мухи; прислушивалась, ждала, когда начнут стрелять, не вытерпела, осторожно дверь открыла, по лесенке поднялась... Громко шепчутся охотники, смеются, дымом табачным потягивает.

- Я ему в лобешник - опоньки, он и затряс бубном...

- Правильно, не рыпнется...

«Охотнички», - едко подумала Таисия Арсеньевна.

...Одноногий председатель колхоза Василий Федорович вызвал в контору однорукого колхозника Арсению Подорожкина.

- Так, так!..

Горячий, решительный, с медалью «За отвагу» на старой латаной гимнастерке, заправленной под офицерский ремень, он чуть не бегал по конторе взад-вперед, выкидывая перед собой клюшку. Жалобился на протез и тащился сбоку, а председателю хотелось, чтоб «немецкая зараза» держала как своя.

Прилобистый Арсенья шмыгал носом и смотрел на председателя синими глазами, единственной левой рукой комкал кепку.

- Ворам потатчик? Тебе за что трудодни начисляют, чтобы ты дрых под кустом?!

И хрюсь клюшкой по столешнице. В соседней большой половине дернулся за столом счетовод. Покашливающий толстяк бухгалтер вымученно улыбнулся напуганным ребятишкам:

- Ничего, ничего, пошумит да отойдет.

Ребятишки готовы были дать стрекача, но страх, впитанный с молоком матери, удерживал. Они - воры, расхитители колхозного добра. Грозный председатель заловил их на горохе, матерясь на чем свет стоит, гонялся на лошади, поймать не поймал, но клюшкой синяков наставил. Досталось сыну Федьке, досталось Тасе Подорожкиной - клюшка разорвала на спине платьице. Тася спиной прижималась к стене, чтобы никто не увидел голую спину.

- Ты куда поставлен? - гремел председатель. - В тюрьму захотел? Так я тебе устрою!

- Охранять посевы поставлен, - негромко отвечает Арсенья. Председатель ловко сгреб Арсению за шею и втиснул между печкой и шкафом с бумагами.

- Я тебе кто, морда неумытая? - шипел, раздувая ноздри. Арсенья озлился, стал вырываться, но ничего поделать не мог: у председателя было две крепких руки, у Арсени одна, да и та оказалась приплюснутой собственным телом к стене.

- Я тебе кто? - запальчиво повторял председатель, а сам давил Арсению в стену.

Что он добивался? Хотел услышать униженные извинения, хотел показать, что он хозяин в колхозе, что он волен казнить и миловать, что он коммунист, Родину защищал, тогда как Арсения не помнит даже названия станции, на которой разбомбили их эшелон немецкие самолеты.

- Кто?!!

Молчание Арсени наполнилось ненавистью, культи правой руки горела огнем; выдохнул:

- Скотина.

Ослабил натиск председатель, щеки его охватила бледность.

- Что-о!? - процедил с угрозой.

- Вошь тифозная... - бросил в лицо председателя.

Клюшка еще раз прошла по столешнице. Арсения шагнул навстречу обидчику, единственной рукой сжал председателю горло. Тот не устоял на «немецкой заразе», растянулся на полу с грохотом и проклятиями; столешница, за которую хватался, накрыла сверху. На шум поспешил толстый бухгалтер, помог председателю подняться.

- На кого... На кого замахнулся?!

- С... ты недобитая, - спокойно сказал Арсения, натянул кепку на голову и пошел вон. И «воры» побежали впереди Арсени, лишь Тася Подорожкина прижалась к отцу, лестно ей, что батяка победил проклятого председателя.

На другое лето отец с дочерью тайком насобирали на дальней лесной опушке зарод сена целых четыре промежка. Арсения рвал, Тася серпом жала. Косить тогда запрещали, накошенное отнимали. А как прожить без молока? В семье младше Таси еще трое, бабка полуслепая да мать больная.

- Ну, Тасенька, зиму протянем, - подытожил отец, подпирая зарод, - мать вот поправится...

По первому снегу за сеном поехали... только бы привезти да в сарай столкать, да чтоб никто не видел... А сена нет. Стоит на месте зарода одна остров, к ней мелкими гвоздиками лист бумаги приколот, на нем надпись химическим карандашом: «Однорукий бандит, твое сено как самовольно скошенное обобществлено и скормлено». И подпись: «Ларионов Василий Федорович».

И отец и дочь плакали, не стесняясь слез: сколько они сил положили, складывая сениночку к сениночке.

- Тятка, хватит, - первой опомнилась Тася.

Сознание, что она хозяйка в доме - мать померла накануне Рождества Богородицы, - высушило слезы; поняла, что она за все в ответе. Отец погладил ее по голове:

- Раньше говорили: «Кротость - усмирение страстей». Вот как тут

усмириться, если к нам хуже, чем к скоту относятся?

Корову пришлось резать на мясо и сдать на заготовки, бабка умерла - только молочком и тянулась, и самый маленький рахитный Ваня тоже умер. Слабенький был от недоедания, ножки хрупкие, живот, как корзина...

По три ночи парни караулили медведя, бесполезно. На четвертую пришел Федор Васильевич. Как увидела его в окно Таисия Арсеньевна, ушмыгнула в горницу. То одно платье из шифоньера выдернет, то другое. Вышла медленная, преобразившаяся, одетая в голубое платье с вышивкой по вороту.

- Чайку, Федор?

- Не откажусь... - спохватился Федор Васильевич, присел на лавку. - Покрепче, чтоб не спалось.

Пока Таисия Арсеньевна хлопотала с чаем, Федор Васильевич делал вид, что и чай и хозяйка равнодушны ему, что он пришел на работу говорил о новой продукции завода, о кредитах и договорах.

Сидели за столом рядышком, пили ароматный чай, мед прихлебывали ложечками.

Федор Васильевич закурил, глубоко затянулся, чтобы подольше помолчать, решил, выдохнув:

- У тебя, Тася, в избе как у девки молодой в светелке. Не обидишься, спрошу: замуж почему не вышла?

- Ты не сватался, - отшутилась Таисия Арсеньевна.

- А Митька? Так по тебе... за тобой бегал... Хватило же ума облить себя бензином и сжечь...

Молча смотрит Таисия Арсеньевна в окно с таким рассеянным сияющим взглядом, словно и не верит, что рядом сидит Он.

Пушистый белый котик прыгнул на колени хозяйке, потерялся, растянулся блаженно.

- Каков мехряк, - Федор Васильевич погладил кота, тот выгнул спину, замурлыкал, - мезонька он у тебя.

Таисии Арсеньевне показалось, что она чувствует жар, исходящий от мужчины, что гладит он не кота, а ее, и с нетерпением и боязнью готовилась к тому, что в какой-то момент рука его соскользнет и коснется колена, осторожно, стараясь не обидеть ее. Она не отстранит его руку и позволит делать все... Боже! Сколько лет она ждала этой минуты. Сколько думано-передумано! Разве она чурка дряхлая! «Первый, а может, и последний раз... Феденька, Отступись ты от этого кота...», - хотелось крикнуть.

- Моего признала? - не поднимая глаз, спросил Федор Васильевич и сам ответил; - Хамло выросло. Иной раз парень как парень, а другой - оторвал бы и голову.

Таисия Арсеньевна вздрогнула, поотодвинулась в сторону. Обманул,

обманул... Опять обманул... Всю жизнь, всю жизнь...

- Пожалуй, пора на лабаз, - сказал Федор Васильевич. Глаза их встретились. Сколько щемящей муки и ожидания было в одних и столько дружелюбного спокойствия в других!

Таисия Арсеньевна сидела под окном, ждала, когда выстрел содрогнет избу.

«Одно мгновенье бы, одно... Да ну, до пенсии дожила, ну не дура ли... Феденька, золотой ты мой, прости ты меня. Разве можно в прошлое из сегодняшнего дня постучаться? Да и что теперь об этом вспоминать? Я себе сама судьбу выбрала... Завтра собираю всяких тряпок, покрышку автомобильную спалю, медведь и не придет. А ты приходи, Феденька, приходи...»

## ПТИЧКА ПЕВЧАЯ

Маленький, заплывший жиром и совсем лысый дед Игнахин начал было протестовать, соорудил плаксивое лицо, сгорбился как нищий - кому охота париться в углу, сидеть, зажатому, любота притулиться где-нибудь с краю стола. Надоело сидеть или нужда приперла, свернулся - и на улице, из угла же не допросишься выпустить. Потом как на смех пустили - толкают за бывшим зятем Аркашкой, этим цыпленком худосочным, якобы мужиком толковым, у которого вошь похоронить не на что, который сгубил дочь Игнахиных Надежду.

- Давай, дед, телись.

- Да я... - дернулся туда-сюда старик, - ужо к Евгению Шкорневу поближе.

- К Евгению? Он зубы-то о тебя обломает. Бабка прихворнула?

- Мы это... с Витюней.

Запахали старика чуть не под образа, и сына его, придурковатого Витюню, туда же. Успокоился дед, на гостей глазеет, а сын Витюня гребешок достал, бороду расчесывает, надо же, сколько народу в избу набилось, столько, кажись, и в деревне нет. «Что говорить, свадьба... Наташка Варкина! - едва не воскликнул старик. - Надо же, не забыла, как по утрам весной босиком носилась. Эх ее разнесло... Сказывают, домик свой в райцентре завела, племянницу на ноги ставит...»

И бывшему зятю не климатит чувствовать сопение бывшего тестя. Покраснел, вспотел, не раз потрогал на щеке газетную заплатку: торопился, когда брился, порезался.

Разобрались гости, приужались, еду рассматривают. Столы завалены всякой всячиной, в центре каждого стола по большому блюду с винегретом. Не забыли еще в деревне, как по-колхозному трапезничают. Окна в избе нараспашку, все равно в помещении жарится.

Поступило робкое предложение от хозяев для начала «снять стресс», то есть выпить водочки. Как пояснил отец жениха Роман Валентинович, свадьба есть свадьба, а то встречаемся нынче больше на похоронах, что плохо. Гости с такой формулировкой согласны: родня же! Пусть в каком там колене, но все в деревне одной крови. Суетятся родители, проверяют, у всех ли стаканчики налиты, да того ли «лекарствия» налито, стараются всем угодить, рассмешить, показать свою расположенность.

Смотрят гости на то место, где по уставу молодым сидеть полагается, а молодых-то нет. Неловко получается. Кто в кулак покашливает для приличия, кто вилку между пальцев крутит. Скривил лицо дед Игнахин: будто лошадей на водопой пригнали, пейте да проваливайте. Тогда чего шум было поднимать? Чего мощной хвастать? «Дожили, - хмыкает про себя дед Игнахин, - нарядили бы два снопа ржанных, все хоть прибасулина. Вот раньше, старики сказывали...»

Тракторист Евгений Шкворнев, рыжий детина с мягкими бархатными глазами, подражает Витюне, голову положил себе на плечо, язык вывалил, чего-то ищет глазами на потолке.

- Чего там, Витюня, опять инопланетяне страшат?

Витюня не спеша достал из кармана платок, громко высморкался, степенно ответил:

- Изба-то до чего черна, видно, давно не гарвала.

Отец сверкнул маленькими глазками, тычет Витюню в бок.

- Покруглее говори-то, - достается и Шкворневу от жены. - Опять понесло?

- Не говори, подруженька, - невинно мигает на жену Шкворнев.

Сидящая напротив деда Игнахина и Аркаши Земцова Наташа Варкина - ныне директор средней школы, и величают ее Мефодьевна, громко говорит:

- Какая свадьба без невесты! Показывайте! Хромая, косая или телом меня ядренее - показывайте, и точка!

Смешки поползли по столам, все оглядываются на Мефодьевну: эта даст ревизию нововведениям! Чего придумали эти Шумиловы: веселитесь, а молодые не знают где шляются.

Спешащая куда-то мать жениха как запнулась за слова Мефодьевны, потупила цепкие глаза, мнет в руках подол фартука.

- Другое застолье, приустали, - оправдывается она.

- Знать ничего не хотим!

- Кто знал, что погодка изладится как о Петровадни... Конечно, столы бы на улицу выставить, и сподручнее, и веселее. Никто с Богом чаю не пил... Батько! Чего остамел, иди, кличь молодых. И впрямь, не свадьба - кривая оглобля.

Аркаша Земцов глаза выронил на Мефодьевну, чувствует какую-то неопределенную душевную боль, вроде вину, что ли... «Вот есть же бабы, не бабы - клад. И слово у них к месту, и дело в руках немерзнет, и споют... Раньше

Наташка хорошо пела, заслушаешься. Птичкой певчей директор прозвал... да-а. А есть бабы дуры, ни в сноп, ни в горсть, ни тесто замесить, ни дитя накормить. А в постели... тьфу, бревно бревном. Моя горлодерка, - искоса глянула на бывшего тестя, не подслушивает ли про свою красавицу неписаную. - Ишь, одуванчик, унесло ветром все тычинки, наплодил себе подобных».

- Ну, думаю, - продолжает Мефодьевна, - отведу душеньку, давненько не видела свой народ. А то, как телевизор включу, обязательно кого-нибудь режут, стрельба, насилие, перхоть. У вас-то как, тоже про это или что другое?

- У нас больше про секс, - гогочут на крайнем столе.

- А у нас, - давится от смеху Шкорнев, - парнишка насмотрелся, как дядя комбайнер «Раму» уминает, по полу катается: «Ра-му! Ра-му!» Принес из мастерской ведро солидолу, намазывай. Сам не пойму - эта «Рама» сыр или масло. Больше склонен думать, что колесная мазь.

- Ничего себе! Подшипник помазать не знаешь чем, а он ведрами носит! - Мужики поддевают Шкорнева.

Покров - золотое времечко свадьбы справлять! Любота! Хлеб в закромах, сено в стогах, скотина в хлевах. Беды большой нет, если не тверд санный путь. Утром на «Волге» в сельсовет покатили, вечером ту «Волгу» гусеничник на тресе тащит. Сколько романтики, визгу, смеху, на всю жизнь память. Девки к той поре вызревают ядреные, краснощекие, характером - хоть рожь на ней обмолачивай, по дому ухватистые, до копейки жадные. Зато и обращения со своей персоной требуют особого. Невеста-ивановка, например, скатилась с мотоцикла в овраг - женихи-то около Иванова дня шальные бывают, придуривают, выкарабкалась на дорогу, сандали в зубы и домой бежит к родной маменьке плакаться. Бежит да оглядывается: у-уу, паразитина, еще и замуж зовет, чуть руки-ноги не поломала. Невеста-петровка до загса сама не своя, под венец торопится, и понукать не надо. Ночи о Петрова-дни духмяные, волшебные, долго ли до греха... Покровка-невеста - ковер стенной, природой вытканый в услуду жениху. Покровку в охапку не хватай, не любит она грубостей, поприжал сильнее, она и лопнула, что кочан капусты. Коль жених ее в сельсовет на руках заносил, ну все, будет баню потом топить каждую субботу, пьяного домой притащит, не даст в колее загинуть. Женихи это знают, побоку всякая мода, сапоги надевают и по лужам напрямиком, по сугробам... Невеста как вцепится в шею суженому, как вдохнет запах мужского тела, так ее всю жизнь трясти не оттрясти.

От дому Шумиловых по самому главному «прошпекту» деревни до самой реки - молодой народ. Полволости, не меньше. Мотоциклы, машины, главное, погода - спохватилось лето, солнышко буйствует, небо синехонько. На берегу костер. Малышня озорует, таскают ребятишки на огонь всякий хлам, лишь бы горело сильнее. Гармонист Сема-промежок давит на кнопки. Выводит с пьяных глаз «По долинам и по взгорьям». Это вроде «белого танца»

- барышни приглашают кавалеров. В воде сидит по самую шею Валя-флотский, поспорил, что выжмет двухпудовку десять раз, не выжал, потому и загнала его за бахвальство главная судья - невеста в воду. Вот, говорит, как кончит Сема играть, тогда и выпущу. За Валю переживает его подружка, племянница Мефодьевны, умоляет невесту сжалиться, ведь простынет парень.

Пришел Роман Валентинович, велит молодым идти за стол. Невеста смотрит на своего долговязого муженька - расписались же! Ждет с интересом: послушается отца или нет?

- Пошли, - говорит муж.

- Валька! Вылезай! - кричит невеста. - Вылезай, да с нами, понял?

Топают Роман Валентинович сзади молодых, любитесь дородной снохой.

- Это как понимать, дорогие мои? Увиливать от своих обязанностей? - наседает на молодых Мефодьевна. - Мы тут переживаем, вдруг да какой абрек невесту украл... Примите от меня малюсенький подарочек. Живите дружно, заботьтесь друг о друге.

- Телевизор не смотрите, делом занимайтесь, - добавляет Шкорнев.

Передают гости принесенные подарки, молодые принимают, благодарят, что под лавку суют, что родителям передают.

Махнули по стопочке, «горько» покричали, на другую ногу тем же макаром.

- У церкви карета стояла, - запела Мефодьевна. - Там пышная свадьба была...

Первый куплет любой песни русские поют зверски, навынос: ты ори, я все равно переору. Поем так, что в глазах столбы огня, в глотке буя клокочет, кишки зовут на баррикаду. С первым проблем нет, коль не пропоем, то истопчем, не истопчем - рукой махнем: а, собаки долают. Да где в такой державе матерущей все песни упомнишь? Потому и самобытен русский народ песенный. Сами композиторы, сами исполнители, после третьей стопочки можем босиком рвануть «русского» - для пушей важности!

За границами на свадьбах сидят чопорные люди, сдержанные, деловые, бухнул не то слово - тюрьма, ткнул вилкой в чужую икру - штраф. Русские - народ простой, к выпивке подходят творчески...

- Витюня, - пристает Шкорнев к Витюне, - что ты как не мужик? Споем, чтоб стены затряслись, а?

- Настоящие мужики едят сало и носят широкие штаны, - отвечает Витюня.

- Широкие-то зачем?

- Чтоб яйца не опарить.

Смеются все, даже дед Игнахин посмотрит на серьезного сынка и пуше заливается.

- Ну все, следующую свадьбу гуляем у Витюни. Я тебе такую невесту высватаю - четыре титьки!

- Год не женишься - два не маешься. Пускай женилка подрастет, - ответил Витюня.

- Что, - сквозь смех кивает Аркаша Земцов Шкорневу, - кто дурнее-то из вас? И крыть нечем?

Ищет Аркаша свою ложку, найти не может. Глядь, ее бывший тесть сцапал, знай винегрет с Витюней наперегонки таскают из блюда. Похватал дед Игнахин винегрету, насадил на вилку огурец целиком, в рот толкает. Секунду лицо Мефодьевны остается неподвижным, потом насмешливая улыбка разжимает губы.

- Порезал бы... - говорит она.

- Он так привык, - говорит Аркаша.

Дед выпучил глаза, помогает руками управляться с огурцом.

- Винегрет сегодня - объеденье, - говорит Мефодьевна, приглашая скрестившего на груди руки Аркашу заняться едой. - Что такое? Это... что такое мне попало?

Мефодьевна поднимает вилок красные зубные протезы - как капли крови падают в блюдо свекольные кусочки.

- Кондратий Иванович воротился, - с ужасом говорит Витюня. - Его зубы-то.

- Точно! - кричит Шкорнев. - Без зубов Кондратия хоронили.

- Чего несешь, пустомеля! - тычет под бок Шкорнева жена.

Дед Игнахин пошарил в своем хлебоприемнике, полупьяная кислая ухмылка ползет по жирному лицу.

- Мои, ребята.

Взял протезы с вилки Мефодьевны, постучал ими о край блюда, сунул себе в рот - чмокнуло, и все. Мефодьевне стало плохо.

- Воды! - крикнул Аркаша. - Кто-нибудь!.. - Нервная дрожь пробежала по телу.

- Роман!

Роман Валентинович впопыхах едва не уронил свою жену. Сделала Мефодьевна глоток, посидела, откинувшись на спинку стула, сделала другой.

- Идиот, - бормочет Аркаша на ухо бывшему тестю.

Бывший тесть посмотрел на Аркашу масляными глазками, сказал:

- Больно впечатлительные.

- Молчи, то!.. - прохрипел Аркаша.

Мефодьевна сидит, гонит платком на себя воздух. Блюдо с винегретом унесено, вместо него поставлена жареная рыба. Хочется Аркаше быть галантным.

- Рыбки, попробуй рыбки.

- Ой, ничего не хочу, - отмахивается Мефодьевна пухлой рукой.

Мефодьевна видела, что на Аркашу она производит впечатление забытой школы, он задерживает дыхание, хочет побороть внутреннюю дрожь, спросить ее о многом...

- По слухам, один живешь? - спрашивает первая.

Аркаша сконфузился, красные пятна пошли по лицу. Он всем нутром чувствовал жалостливый взгляд бывшей школьной подружки, злился не знать на кого: «Нарочно посадили, любуйтесь: одинокий журавль да одинокая гусыня. Еще торговка, чтоб ей лихо было, всадила эту рубаху на три размера больше...»

- Чем занят, Аркаша? - Мефодьевна задала другой вопрос.

- Э-э... когда чем, - с трудом ответил Аркаша.

- Что и делать, - говорит Мефодьевна, вкладывая в речь бабье отчаяние.

- Прохудилась моя банька, видимо, отжила свой век. Печка дымит, сквозит, не найдется времени...

- Найдется! - отчаянно сказал Аркаша.

- У него на чужих баб все находится, на свою... - сопит бывший тесть.

- Разве я чужая? - притворно разводит руки Мефодьевна. - Забыл, дед, как мы раков с тобой ловили?

«Золотая Наташка баба! - восхищенно думал Аркаша. - Директор средней школы, а со всеми запросто, будто доярка какая... С этой не закинешь, не даст, то не моя... тьфу, чтоб ей пусто было!»

- Наловит, - язвит дед Игнахин. - Нашей Наде столько наловил, что не унести. Где-то девка по городам нужду мыкает... И все ты! - Бывший тесть резко повернулся к бывшему зятю. - Ты, шкет! Обмылок!

- Роман, налей деду Игнахину, не просекает что-то, - говорит Шкорнев.

- У меня-то все просекает!

- Прокурор хренов! - заводится Аркаша.

- Заел Надошке век! - петухом наскakивает дед Игнахин.

- Тише, тише! - Над столами наклоняется Роман Валентинович. - Мужики, прошу...

Мелкие чувства досады, оскорбленного достоинства, зависти закопошились в старике. Он сердито ворчит себе под нос, пробует отодвинуться от бывшего зятя. Мефодьевна качает головой, смеется. «Какая пропасть разделяет нас, - думал Аркаша. - Она директор школы, а я в навозе плаваю, коровам хвосты кручу. Ничего-то путного из меня не вышло... Почему она замуж не вышла? Раньше была тонюсенькая, голос такой красивый. Голос, конечно, и теперь красивый, что и говорить. Девка, должно быть. Эх, добратсья бы мне...» И наивные, подленькие, сладенькие мыслишки завертелись в его голове. От предвкушения далекого да и скорее всего несбыточного счастья обладать этой старой девицей лицо блаженно растянулось в улыбке. Бывший

тесть будто отгадал намерение бывшего зятя, поддел еще разок:

- На Надюшку так не глядел, все отворачивал рыло-то.

Свадьба шла своим чередом. И чем дальше, тем слышнее гости кричали и пели, завираха Шкорнев отливал пули одна другой толще.

- На чем домой-то? - поинтересовался Аркаша.

- На чем приехала, на том и уеду. Есть тут, на свадьбе, мой ученик, скоро в армию, хороший парень, - ответила Мефодьевна.

- Может, уж наседелись? - спросил Аркаша, а в душе какой-то бесенок злорадно подразнил: «Ага, клонула».

Идея пройтись сейчас вдоль деревни, да под руку с Аркашкой Земцовым, пришлась ей по душе. Хотя выражение лица его было капризное, рассеянное, она посчитала это воздействием алкоголя: «Хотя... водка мирит добро с пороком...»

- Пошли на улицу.

Поманил Покров золотым блином, потешился над доверчивыми людьми, отдал земле тепло, выдохся, сник: твоя берет, тетка осень, правь как вздумашь. Набежал холодный ветерок, приволок тучку-невеличку, обмахнул осенним рукотерником разгоряченные лица: а то они до рубах разделись - негоже! Захлопнулись окна в доме Шумиловых.

Аркаша с Мефодьевной сидели на скамейке под голыми черемухами. Давно когда-то сидели они на ней... Тупая, блаженная улыбка застыла на лице Аркаши. Мефодьевна в красной кофте, поджала под себя ноги. Еле заметный дождик покропил землю.

Тишина такая, что ее слышно. Мефодьевна отчетливо ощущает, что родная деревня с ее двумя рядами домов, ориентированных на солнце, запертая в конец жердями поскотина - все есть нечто единое, созданное по принципу «как душе угодно» - огороды незаметно перешли в поле, поле забрело в лес, лес по угору поднялся к небу. Под напором несбывшихся грез Аркаша вспоминает, как хотелось после школы поступить в речное училище, стать мотористом и плавать по Сухоне от снега до снега. Сколько всяких приключений, встреч с незнакомыми людьми... Он рисует воображением поднимающийся над крутым берегом ослепительный диск солнца, из буксир, поздним вечером приткнувшийся около незнакомой деревни, и ее, Наташку, в белых туфельках, долгожданную... Стая ворон и галок с граем закружилась над ними, ругаясь, умчалась на встречу с непогодью.

- Эх, Аркаша, Аркаша... меня, выходит, ждал?

- Ждал.

Аркаша никнет головой, блаженная улыбка исчезает с лица.

- А Надежда? Вы же сошлись-то по любви, почему не склеилось?

- Любовь какая-то, - Аркаша отвернулся. - Хошь, честно скажу, почему наперекосяк все пошло? Хошь?

- Скажи, интересно даже.

- Помнишь, Толика?

- А как же, как же! Мне такой букетище на выпускной принес, а Ксюшка возьми и сядь на него.

- Толик был красавец, симпатяга, я же против него индюк надутый. Через Надежду мы враги с ним стали. Она то с ним амуры крутит, то со мной, никакого постоянства. Ревность во мне появилась жуткая. Конечно, против Толика... во мне весу-то было пуд костей да кружка крови. Под каким-то предлогом заманил к себе домой, когда родителей не было, и... - Аркаша крикнул в кулак. - И пришлось жениться. Вот и вся наша любовь. Быстро сошлись, скоро нажились. Опротивели друг дружке, не жизнь - каторга для обоих. Она храбрее оказалась. Раз прихожу, на столе записка: «Будь ты проклят! Меня не ищи». Хорошо, детей не было. Вот и живу один без мала восемь лет, живу не живу, небо курю.

Мефодьевна долго и внимательно смотрела на Аркашу. Сначала она думала, что он завел разговоры потому, что прошлое поманило, но он говорил с горечью, будто ее рядом и не было, одни тяжелые воспоминания.

Белая кошка прыгнула на скамейку, со скамейки прошла на колени Аркаше. Тот погладил ее, снял на землю, подтолкнул.

- Ты все такой же, - глаза Мефодьевны улыбались и блестели. - Охота бы баньку к зиме подлатать.

- Да я хоть сейчас!

- Вон мой рыцарь стоит, на ограду навалился. Ребята флотским прозвали, говорит, служить только на Северный флот пойду. А знаешь, Аркаша, кто на плече у него виснет?

- Кто?

- Дочка моя, Любушка.

Аркаша присвистнул.

- Так ты замужем, что ли?

Приблизил свое лицо к лицу Мефодьевны. Маленькие морщинки просели у нее под глазами.

- Увы, нет.

- А-аа...

- О Петровадни, дорогой мой бывший ухажер, ночи волшебные, травы сонные. Не у всех полные пригоршни счастья, кому-то бывает очень одиноко. Где-то слышится девичий смех, где-то пиликает гармошка... - Мефодьевна на секунду закрыла глаза. - С кем не бывает, - принужденно рассмеялась.

- Значит, это я виноват...

- Была видна, да прощена.

- Наташка, можно я сейчас с тобой? - спрашивает Аркаша, замечает, как настороженно следит за выражением его лица Мефодьевна. - До райцентра

двадцать пять, пока-то транспорт сыщется, то да се...

- Не хватает?

- Кому я нужен, - фыркнул Аркаша.

Глаза Мефодьевны как похолодели.

- Ладно. Поехали.

Всю дорогу внимание Аркаши было поглощено сидевшей рядом женщиной. После того, как он узнал маленькую тайну, она стала роднее, домашнему ближе. В машине играла тихая музыка. Парень и девушка часто наклонялись друг к другу, что-то говорили и смеялись.

Мефодьевна рассказывала про озеро Байкал, про маленький городок, в котором прожила так долго... «Поехали с подружкой первый раз на лодке. Трусим, от берега далеко не отходим. Вниз глянешь - глубина такая, вода чистая-чистая. Простор-то какой! Безмолвие, суровость, скалистые гряды поднимаются из воды. В низинке причалили к берегу, а васильков, колокольчиков сколько на склонах! Лежим, греемся на солнышке. Тут медведица с медвежонком откуда-то взялась. Как закричим обе, бежим по берегу и угодили в лабу, островки плавающего камыша так называются, чуть не утонули».

Спать Аркаше пришлось на диванчике, не мог же он, напросившийся в гости, развалиться на кровати хозяйки или дочери. Он лежал, слушал стук своего сердца. Казалось, что мгновенье близости между ним и Наташкой вот-вот должно состояться. «Не-е, из-за печки повезла, - убеждал сам себя. - В райцентре да печника нет, смешно. Надо решиться и идти. Скажу: давай вместе жить-поживать. Прогонит? Выругает!.. Девка где-то шляется, как да та придет не вовремя!.. Мерзавец, скажет, ты, Аркашка. Что и было хорошего, ты и того опоганил. А если ждет!.. Голос-то был вкрадчивый, намеки, долгие взгляды. У этих баб все рассчитано, как мужика в постель затащить».

Решился, встал с диванчика - кто-то в темноте ворчит у порога. Свет включил - собака лохматая, уши по рукавицу, на пути стоит, зубы кажет.

- Ты откуда взялась, псина? - шепотом спрашивает собаку и хочет погладить. Собака урчит, того гляди за руку тяпнет. - Тюремщика мне дала!

Аркаша побелел от негодования, хотелось кричать и плакать, одеться и пешком идти в ночь, отвергнутому и обманутому. В мыслях о своей несостоятельности кинулся на диванчик.

Утром пили крепкий обжигающий чай. Оказывается, дочь так и не пришла ночевать.

Мефодьевна лишь досадно говорила:

- Молодость, молодость...

Аркаша гадал: притворяется или на самом деле ей мужик нужен только печку в бане переложить?

- Я как бухнулась вчера на кровать, будто отключилась. А ты как спал, невесты не снились?

- Невесты какие-то, - буркнул Аркаша.

- Чего такой сердитый?

Мефодьевна подошла к Аркаше, обняла за шею. От неожиданности он растерялся, как-то деревянно ткнулся губами в ее руки.

«Ты ждала ЭТО всю жизнь, - говорила себе женщина. - Ты боялась ЭТОГО всю жизнь. Старая, толстая, глупая баба. Пряталась от стыда на краю света, обманывала людей: дочь мне Любушка, дочь! Ты тоскуешь по родной земле, без которой не можешь жить. А вдруг я еще полюблю этого нескладного Аркашку?»

Она рассмеялась легким, веселым смехом, прижала голову Аркаши к своей полной груди. Аркаша почувствовал прилив необыкновенной энергии, неловко освобождаясь от ее рук, встал со стула, прошептал: «Птичка певчая».

## ПЯТНАДЦАТЬ САНТИМЕТРОВ

Дед Кирсан, которому пора умирать, приковывал к развалинам церкви. Присел на камень под молодой черемушкой, расстегнул пуговки на пестрой фланелевой рубахе. Перепотел дед, жарыща сегодня, воздух как оканунился, не шевельнет листок.

Возле остатков кирпичной стены рослый лобастый мужик копает яму. В одних трусах, небритый, телом что негр. Зачем мужику яма? Ладно неделю за полем да за рекой копал, тут-то чего забыл? А вдруг он из тюрьмы сбежал? На эти и попутные вопросы хотелось узнать ответ деду Кирсану.

Подошел ближе, оперся на батог, вытягивет дряблую шею, пытается выглядеть, что там на самом дне.

- Устал, поди-ка? - с веселым смешком спросил старик.

Мужик привалился к стенке ямы, вздохнул, медленно поднял на старика глаза.

Постоял, задумавшись, продолжил работу.

- Клад ищешь! - с видом знатока прищурился дед Кирсан. - Сразу смекнул, меня, брат миляш, на вороной не объедешь. Думаешь, почему догадался? А ты по-шаловному землю мечешь. Кабы по наряду или по приказу - кидал бы себе вольненько, день идет и ладно, а ты торопишься, скорее бы найти, да шапку в охапку... Это ты правильно делаешь, что молчишь, один знает - никто не знает, а двое знают - и свинья в пай лезет. Только, по моим выкладкам, копать надо во-он под той березой с засохшей вершиной, - показал батогом, под какой именно из пяти толстых лесин. - Уклада особая примета. Про эту березу не раз думал, да силы не те... - Еще позаглядывал в яму: - А ты не могилу разрываешь, миляш? Раньше возле стен попов хоронили...

Мужик вылез из ямы, подхватил старика под руку, отвел под черемушку.

Сам опустился на траву рядом, закурил.

- С непривычки голову обнесет, - пояснил старику свои действия.

- Да я так, сверху... интересно, однако.

- Под березой, говоришь?

- Ага, - обрадовался дед Кирсан. - Гля, место до чего приметное, ночью на ощупь отыщешь.

- А почему ночью?

- Э-э, миляш, - погрозил пальцем старик, - ты хитер, а люди хитрее.

- Нет там ничего.

- Как это ты узнал? - Дед выпрямился как гвоздь. - Уж не дано ли тебе сквозь землю зреть?

- Чуть-чуть.

- Надо же. - Старик пошевелил сухими пальцами, поперекидывал богат с места на место, как подбирая слова. - Свыше дар, должен быть... Вот я дитем малым был, дядя Фрол вроде на смех и говорит: в Марьином логу между березой и елью клад зарыт. Добыть тот клад можно в ночь на Иванов день. Марья-то удушилась в том логу, в ночь обход делает. Надо темноты дожидаться, в каком месте огонек покажется, там и искать. Еще наказал сперва крикнуть: «Чур, пополам! Половина Богу, половина - нам!».

Подготовил я ребят, всей ватагой и пошли. Сидим в траве, попрятались, мало ли, думаем, Марья пойдет, как бы не увидела. Не поверишь, миляш, был знак! Вот истинный крест, был! Огонь, ровно куст, выхватился в темноте. Мы сначала опешили, потом всей оравой к огоньку, кто чего кричит, а главное-то и забыли, про Бога не вспомнили, с ним не поделились. Ушел клад. Копали, и дядя Фрол копал, и другие мужики... Потом не один год караулить ходили - фига собачьего. Жадность, миляш, кого хошь сгубит. Ты вот... Бог все-е видит! Говорят, у церкви серебра котел зарыт.

Хмурое лицо землекопа прояснилось, он начинает смеяться, держась за живот. Не возмущаясь и не протестуя, дед Кирсан ждет, когда заговорит мужик.

- А кто зарыл-то?

- Паны. Они когда с Москвы шли, по дороге Устюг Великий ограбили, мужиков побили, тут и спрятали. Серебро-то листовое, не рубленое.

- Далеко же они тащили.

- Зато лежит себе, полеживает, шиш им с маслом!

- А ты, дед, после себя много добра оставишь? В подполье, скорее всего, спрячешь?

- Окстись! Вся жизнь в колхозе, не до жиру, быть бы живу.

- Раньше у вас богатых много было?

- Хватил! Овсянку Полысаева кулачили - пролетариат волостной две недели хозяйство шерстил да пропивал, так-то!

- Сиди, дед, а я пойду искать. Вдруг да разбогатею.  
- Постой ты, какой неугомонный! Звать тебя как?  
- Зови Иваном, не ошибешься.  
- Послушай, Иван, меня, бывалого: как разбогатеешь, не придумай за границу тягу дать. Я кино видел, один чудака золотом обвесился и бежать, так его свои же у колючей проволоки и кокнули.

- Это ты правду сказал, бежать не стоит.  
- Во-во! А ты чей, кровей каких?  
- Расейских!  
- Я в войну на оборонных был в Архангельске, обличьем на поморов смахивашь...

- Из казаков я, с Дону.  
- Да подожди ты! Морозовым-то какая родня?  
- Ихняя прабабка с моим прадедком согрешили разок, с той поры и не разлей вода.

- Ох и веселый ты, миляш! Шел бы на постой к нам со сторухой, а то эти Морозовы такие скопидомы - не приведи Христос. У них эта, как ее... Людмила вчера съехала, где-то в институте училась, да сподобил нечистый за немощного ученого старика замуж выскочить...

...Когда нежная утренняя заря щедрым золотым платом обмахнула от ночной свежести вершины берез на горбатом угорье за рекой, на одном деревенском сеновале проснулся молодой мужчина. Не разлепляя глаз, поскреб давно не бритый подбородок, зевнул, с хрустом в костях потянулся, голой спиной вжимаясь в хрустящее свежее сено. Господи! И до чего же хорошо летом в деревне!.. Через широкие ноздри в легкие со свистом ворвался вихрь ароматов, возвращенный на целебном экстракте трав. Обратно, подержав в теле с полминуты, легкие выпустили кислую ауру хмельной ночи. Под стропилами цвинькнули ласточки, с тревогой нырнули в раскрытую дверь сеновала. Рядом зашевелилось другое обнаженное тело, лежащее вниз лицом. Длинные голые ноги поскреблись одна о другую. Мужчина осторожно собрал рукой со своего живота рассыпавшиеся пышные волосы, подержал, сравнивая с золотым ливнем, положил на затылок женщине. Да, прекрасные обольстительницы любят сеновал, любят ночную свежесть, горячее тело партнера, любят визжать, услышав шорох пробегающей мышки. Для них таинственные путешествия по сеновалам сродни хождению по облакам.

- Лида, - хрипло позвал мужчина, шершавой рукой провел по спине. - Ли-ида, мать застывает...

- Люда, - поправила женщина.  
Страхнула с головы волосы обратно на живот мужчине, боднула его в бок.

- Вот и солнце встает, из-за пашен блестит... - начал декламировать

мужчина, глядя в стропила крыши, но в это время на покосившуюся изгородь возле сеновала с разбегу запрыгнул петух, оглашенно захлопал крыльями и, едва начав делать о себе заяву, сорвался с жердины, подавился в крапиве своим бахвальством.

- Зараза, - сказала Люда.

Ее руки медленно поползли по телу мужчины, пальцы подергали волоски на груди и замерли. Петух внес маленькие коррективы в прекрасное настроение мужчины. Он почувствовал в себе подкатывающее раздражение, слегка отодвинулся, тем самым развеял собственное восхваление красоты деревенской природы.

- Вчера купался, пацаненки при мне выудили пять хариусов, - сказал он. Помедлил и добавил: - Надоели консервы. Пойду сегодня рыбу ловить, шурф меня подождет.

Пальцы женщины скользнули по самый низ живота мужчины.

- Вроде тебе все надоело, - съязвила она.

- Глупости! - сказал мужчина, упрямо сжимая челюсти. - Наши отношения предельно просты.

- Самая большая глупость - это жизнь, - сказала женщина, не поднимая головы.

- Одни вороны прямо летают, а люди... люди хуже зверей.

- Ты замужняя, обеспеченная...

- Заткнись!

- Будь по-твоему... Зачем я тебе? Ни кола, ни двора, даже алименты платить некому, одним словом - детдомовский нищий.

Женщина навалилась на грудь мужчины, пристально посмотрела ему в лицо, замахнула волосы себе на спину, поднялась над ним на руках.

- Вчера под коньячок ты так красиво меня воспитывал, Блоком и Есениным давил на совет, на нравственность... - Поцеловала мужчину в губы.

- А если мне ничего этого не надо? Если совести у меня с пеленок нет? Я глупая, испорченная дура, а ты такой чистый... Тогда зачем лез на сеновал? Переспать? Запиши в свой актив: еще победа. И теперь тебя мучает твоя мораль. Характер у тебя, Ванечка, не приведи Бог. «Вперед, в атаку!» Лезешь мне в душу, и притом своими кирзачами. Брыкаешься. Разве зла тебе желаю? Зову в город, ближе к ванне, к влиятельным людям. Неужели ты, как крот, будешь копать и копать, пока не загнешься где-нибудь в тайге? - Она легла рядом, прижалась. - Молчишь... А когда-нибудь ты находил что-нибудь такое... ну, такое...

- В Казахстане, на реке Эмба, в самый первый полевой сезон. Мы тогда с парнями нашли шеелит, компонент вольфрамовой руды. До сих пор забыть не могу!

- Надо же! Мне кажется, если ты и найдешь что-то, то обязательно

потеряешь. К чему завелся про рыбалку? Дурачок ты, Ванечка! Я твоя золотая рыбка, я твое перо жар-птицы, ты меня люби и получишь все, над чем чахнет мой гадкий Кощей.

Солнце поднялось над горбатым угором, вызолотило каждую березу, река в сплошных блесках. К развалинам церкви топают работяга. На ногах выдавшие виды сапоги, в руке баклажка с квасом. Ветерок, старый знакомый, тихонько пробежал перед идущим, шевеля придорожную траву. Дед Кирсан уже поджидал его. Лицо грустное, обиженное.

- Сон худой видел. Ну-ко, миляш, какие-то волосатики наш клад заграбастать наровят. Разве так справедливо?

- Несправедливо.

- Сны - они вещие. Такой чертовщины наснилось... Ты копай ходчее, терпежу нет, клад глянуть охота.

- Наше нашим будет, не тужи, дед.

- А за рекой рылся, - старик подозрительно сощурил рысьи глаза, - три сажени глины с опоккой, не от большого ума деньги там прятать станут. Или, - облизал сухие, растрескавшиеся губы, - нашел? - не спросил - сердце положил перед Иваном.

- Слово даю: пополам поделим!

- Царица Небесная! Не оммани, миляш, надежда на тебя у меня.

Проработал с полчаса, уперся в камень. С какого боку ни зайдет, куда лопатой не потычет - везде тонет, будто нутро земли отзывается. Четвертями прикинул глубину шурфа: каких-то сантиметров пятнадцать от заданного пройти осталось, пробы взять, и точка, на сеновал к Людмиле. Вот камень... В сердцах кинул лопату, по лесенке поднялся наверх, позвал старика. Не откликается дед. Посмотрел из-под руки: дед стоит на коленях под березой с засохшей вершиной, над чем-то колдует. «Вот дите малое... Где же известь брали, когда церковь строили?» Спустился вниз, присел на корточки, закурил. «Пробы можно и теперь наковырять, кто-то меня проверять станет... А если мергелистый известняк ниже залег? Надо спросить у старика...». Тонкая струйка серого песка, как вода из самоварного крана, пролилась по стенке ямы. Проводил глазами последнюю песчинку, сощипнул с камня кусочек глины, помял в пальцах. «Наверное, ниже...» «Дурачок ты, Ванечка...» «Скорее всего, дурачок и есть». Докурил, окурочек положил под сапог и только начал вставать, как стенки ямы будто вздохнули, лавина с шумом и пылью ухнула на землекопа. Его хоронили на третий день. В морге одели в ту самую одежду, в которой и привезли.

За гробом никто не шел, не было внимательных, сочувствующих взглядов, обмякших душ. Для деревни покойный был малознакомым, случайным человеком, о котором скоро забудут.

Возле гроба в кузове автомашины сидел дед Кирсан и Людмила. Старик

слезно просил шофера свозить его на кладбище, ибо, как печально говорил, вовеки в здешних краях такого хорошего мужика не встречал. Он сидел, причитал про очередь на тот свет, тоскливился о кладе, что достанется жадным людям, жалел одиноких людей, шатающихся по свету.

- Как глянул, и сердце инеем осыпало, - говорит Людмиле. - Бегу, валюсь...

Всю недолгую дорогу от деревни до кладбища Людмила не отрывала глаз от гроба. По капельке, по минутке прощедла через себя ту ночь и только теперь осознала, какая ночь была волшебница. Она хотела любить настоящего, работающего, незакомплексованного мужика, хотела ласки, даже грубой ласки - пожалуйста! Но и горький осадок мешал теперь поднять веки, через раскаяние поведать ему о красоте жизни, о светлых мечтах... Вроде забиралась в кузов из приличия - мать настояла, велела съездить: как-никак постоялец ихний был, и чтобы на деревне не трепались, будто Морозовы черствые люди. И тут поймала себя на мысли, что притворяется, играет, и играет скверно, устыдилась: можно притворяться для соседей, для матери, для выжившего из ума деда Кирсана, а перед собой!.. Ее ладони гладили теплые, пахнущие спиртом доски.

Гвозди в домовине парнишка-шофер забил по самые шляпки еще у морга - тетка Морозиха сказала, что на кладбище открывать гроб не станут, попрощаться с покойником некому. Тут под ладонями, под этими досками лежит сильный, красивый мужик, на которого во всем можно положиться, с которым она разделила ночь, который был с ней нежен и честен. Она зажмурилась, будто наяву увидела проступившее через доски лицо с твердым волевым подбородком, небритыми щеками, с такими чистыми и ясными глазами и резко отшатнулась, испугавшись, что он заговорит с ней хрипловатым, прокаленным ветрами голосом, укорит за черствость...

Дед Кирсан вцепился руками в борт кузова, онемел с отвисшей челюстью: непутящая Людмилка, широко раскрыв глаза и подняв над собой руки, орала пронзительным криком. Старик никогда еще не слышал такого страшного, раздирающего крика.

## НА ПРЕДЕЛЕ

С годами характер Тамары Ильиничны стал паршиветь, и до такой степени испортился, до такой степени каления Тамара дошла, что мужа своего, Томилу, на дух переносить не может. Что говорить - годы, а годы берут свое, уж что хорошего осталось, на том и играй. Трудовой стаж тридцать восемь лет, и все на скотном дворе, все около молока да навоза! Видимо, произошло какое-то внутреннее перерождение, повлекшее совершенное расстройство нервной системы. Повинны в том часто менявшиеся бригадиры, пьяницы

скотники, шальные кочегары, подлые председатели. Давно Томила с Тамарой спят по разным кроватям, и питание у них раздельное: ей все некогда, похватала чего под руку попало да бежать, а он картошку из печки вынул, сала кусок отрезал, вот и весь ресторан. Такую щекотливую тему, что нынче модно зовется сексом, навсегда закрыли, как выжатую и высушенную до самого-самого. Надоели друг дружке, обоим хочется бросить все к чертям собачьим и пожить порознь. Томила не прочь податься с цыганским табором или устроиться метеорологом на заброшенную полярную станцию, чтобы на сто верст ни одного живого человека! «Ал-ле... Алле! Говорит станция такая-то, температура за окном столько-то, облака такие-то... Стоп! Медведь из проруби вылез, сейчас я его из ружьишка...» Раньше семья жила понятием «долг» - ты должен поднять детей, выучить, выписать путевку в жизнь, теперь у Томилы с Тамарой эта тема отпала, обязанностей сильно приубавилось. Обоим жалко прожитых лет, оба каются, что не разошлись вовремя, заели один другому век. Томила как взглянет на раздутую, недовольную жену, так и скажет про себя: «И с этим чудовищем я живу столько лет? Да ну их всех, баб, к лешему! Если бы повстречалась простая, душевная, с понятиями, тогда... Может, все еще по новой начать можно».

«Скорая» дошла до крайнего дома, а дальше простирался суший ад. Шофер вылез из машины, прикинул: по такой улице только пьяным мужикам ходить, и то чужим, свои не пойдут. Пришлось больного Томилу тащить на носилках через все деревню.

- Привык дурью маяться, нероботь... Спина у него, - благословила в дорогу Тамара Ильинична.

Обидно было слышать такое, да еще при посторонних, не первый раз Тамарка подобное отчебучивает, думать надо - не в последний. Поклокотала в груди буря и улеглась. Каркали вороны по всей деревне, любопытные отодвигали занавески на окнах, псина сторожа Живорода увязалась за носилками, хочется ей укусить белый валенок на ноге Томилы. Задний санитар на ходу отбивается от нее, потому носилки кидает из стороны в сторону.

Тамаре Ильиничне пятьдесят пять. Пятьдесят пять!!

- Пропьем! Первая, заветная, долгожданная пенсия! - вся в слезах радости кричала на скотном дворе Тамара.

Муж Томила, дочери, зятя, сноха, внуки и прочая родня поздравили очаровательную жену, милую тещу, дорогую бабулечку через районную газету. А че, мы не хуже людей, поздравлять так поздравлять, чтоб широко слышно! Не подкачал райсобес, не оплошали колхозные счетоводки, из тютельки в тютельку, изо дня в день, как раз к столу! Кто не мечтает о пенсии? Тот, кто ноги с печи не опускал за всю свою сознательную жизнь. А работяга знает, как она достается, пенсия!

Томиле сломали три ребра, дочке Любашке помяли носик и

раскровенили алые губки. Сама Тамара Ильинична еле жива, в горле у нее чирикают какие-то воробышки, ноги не слушаются. Пенсию пропили, так было задумано. Можно сказать, вся деревня гуляла. Правда, пенсии всей деревне не хватило, потому родня еще и складывалась.

Пятьдесят пять!!

Сторож Живород упорно доказывал через стол бригадиру Сене Кутузову, что вся гадость в стране через евреев, что надо гнать их из Кремля поганой метлой. Сенья Кутузов был не согласен: самые умные люди в любой области медицины или атомного дела евреи, а что страну пограбили, так то проделки ЦРУ.

Взбесился Живород - он в деревне самый умный и начитанный - хрясь «адвокатишке хренову», то есть Сене Кутузову, по хлебальнику. Тут и завизжали бабы. Кто из мужиков за своих, то есть истинно русских, кто за «начальство окаянное», хорошо в доме не оказалось гранаты или фугаса. Люстру смахнули стулом. В темноте Живород перепутал объект нападения, почему-то оказался верхом на Тамаре Ильиничне, душит, под бока кулачищами тычет и приговаривает:

- Ах, ты за Берию? Ты, выходит, за Бориска гадского? - И в бок кулачищем, и в бок. - Давно мне твоя рожа паскудная жить мешает...

В Живороде весу центнер, в Сене Кутузове на полпуда меньше. Как они наконец сошлись, тут и застонали стены избышки...

Томила объезжает больничную койку. Дочка Любашка не отходит от зеркала: не губы, галоши бабкины. У-уу! Кто теперь на нее посмотрит, кто жарко обнимет да прижмет к себе? Любочке двадцать шесть лет, она из породы кукушек. Все отстающие колхозы вытягивает. Работает в животноводстве. В одном колхозе парни добрые, а в другом добрее; председатели Любушку переманивают один у другого. Через нее, кукушку, парни остаются в колхозе. Так-сяк, животик у Любушки к носу тянется, потом ребенка родит; родила, накормила, бабке старой сунула и опять парней завлекает.

Вечер в больнице. Язык устал собирать свое и чужое, уши устали внимать всякую тарабарщину. Хочется заснуть, провалиться до завтрашнего утра, да не тут-то было. Больница - это не дом отдыха, сосед соседу печалится, что самая тяжелая и непредсказуемая болезнь только у него; один три дня «по большому сходить» не может - корячится на параше, другой ногу натирает такой мазью, что моль, нюхнув, сдохнет; третий, вроде Томилы, как маятник, качается взад-вперед по палате, хребет рукой гладит и стонет. Каторга!

Ветер за окном еще днем обмел с сосен снежную навис, теперь непогодь шалит, раскачивает на столбе одинокий фонарь. В свете электрической лампочки снежные порывы вкрапливают в замысловатое тканье фантастических животных.

Вышел в коридор, а там уже жмутся к стенам ходячие больные.

Недовольна медсестра, прозванная каким-то остряком «железным канцлером». Лицо у нее бледное, волосы спереди белые, с затылка рыжие, фигурой спортсменка-лыжница. Больной должен лежать - таков закон «железного канцлера». Медсестра сидит за дежурным столом, клеит пакетики под таблетки.

В хирургическое отделение заходит главный хирург. Идет упруго и качко, чуть наклонив вперед голову, походя кивает всем. Лицо усталое, на ногах затрапезные стоптанные тапочки. «Работенка-а, - сочувствует доктору всякий больной. - Кто-то сидит теперь у телевизора, а ему опять операция, опять нервотрепка».

«На тачанке» везут пьяного мужика. «Тачанку» катит санитар, наклоняясь над лежащим, рядом идет мужик, распуская по кридору стойкий запах мазута. Лежащий порывается встать, сопровождающий озирается и вздыхает, придавливая лежащего крепкой рукой.

«Тачанка» остановилась в палате, где прописан Томила. На вопрос Томилы, что случилось, кашлянул, стрельнул медвежьими глазками из-под нахмуренных бровей, махнул рукой и вышел вон.

Пришел главный хирург, глянул на «свеженького», побагровел:

- Опять?! Три месяца назад ему ногу собрал, теперь к какой кумушке в какое подполье нечистая занесла?

- Вишь какое дело, Воин Николаевич, - стал было объяснять «свеженький», но хирург не стал слушать, поправил на голове колпак и пошел, ни на кого не глядя, попросил всех ходячих выйти в коридор.

- Да-а, - наострился Воин Николаевич...

- Столько лет скальпельком орудует, любого профессора за пояс заткнет.

- Хоть бы грамоту мужику дали, а то как проклятый.

Остановился Томила около «железного канцлера», роется в телефонном справочнике: во всем колхозе один телефон, и тот в колхозной конторе. Веки Томилы вздрагивают от резких толчков холодного воздуха, дувшего в щели окна. «Вот дура, - обругал про себя медсестру Томила, - пакетики клеит. Нет бы окошко законопатить...»

Утром в палату боком пролезла дородная старуха на излете лет, кротко улыбаясь, увидела своего благоверного на «самолете», и губы ее задрожали. Шумно высморкавшись в платок, зло сказала:

- Сволочь ты эдакая!

Старик каким-то подманивающим голосом позвал старуху подойти ближе, та подошла, наклонилась.

- Вишь, андел мой, такое дело...

Старик принялся говорить, как он хорошо подремонтировал печь завклубше, да как дымоход пропустил, да как выпил самую-самую малость и пошел домой, да на грех приворотил к племяшу, племяш-то матицу тащить

собрался, ну и...

- Дожить, чтобы ты запислся, - свечу Богородице поставлю!

Вышла старуха из палаты, вернулась с тазиком и полотенцем.

- Экая рожа арапская, и лежу, стыда не ведаю... Давай сюды, анкаголик! Трубу-то харей своей чистил, что ли!.. Самую малость выпил, зараза бесталанная.

Прошли сутки. Старик ожил, травит байки про «анделов». «Везет же людям, - слушает печника Томила, - сам с козенок\*, а сколько баб у него в руках перебывало». Есть о чем и тужить, есть кому завидовать Томиле. Последние лет семь Тамарка к себе не подпускала. Уж, бывает, он и так около нее, и эдак, вроде встряхнется, оживет, вроде согласна в любовь поиграть, а нажитое годами паскудство и вылезет из нее: «Опять зубы не чистил, кишками вонь». В самый неподходящий момент заводит разговор о детях, особенно жалеет непутевую Любашку, о деньгах, потом все он не так делает, как раньше делал, а в общей сложности - иди на свое седало. Подопьет с бабами на дворе, развоюется, несносная делается. «Скот... Скотина!» - не говорит, свистит. Председателя колхоза пополам перервала бы, продавца гирей убила бы, соседу-пчеловоду посадила бы сто пчел на одно место. Сложная жизнь пошла, по всякому пустяку так бы и вцепились один в другого. Дуются, дуются, опять как-то надо жить, навоз от коровы вываливать, сено таскать, на реку с бельем идти - есть захочешь, так умоешься. Тамара Ильинична давно себя ломовой лошастью считает, притом загнанной. Прошлый год в Радуницу были Томила с Тамарой на кладбище. Долго стоял Томила у могилы деда и бабки, детство про себя вспоминал.

- Чего сопли точишь? - грубо спросила расчувствовавшегося после стопки водки Томилу жена.

- Тут... Место хорошее, ближе в гости ходить... Велю себя схоронить.

- Со мной, значит, не желаешь лежать? С дедком? - нахально спросила Тамара.

- Спокойнее, - честно признался Томила.

А ведь было!.. В первый год, как поженились, лежали грудь с грудью, целовались до боли в зубах. Он лампу зажег, чтобы лучше разглядеть лицо ее, от слез счастливое, а она страшится: «Задунь! Ты что, мать увидит, что подумает». Было, да сплыло... Провоняла с годами силосом, никакая баня не берет.

Под вечер на дежурство заступила «железный канцлер».

Зашел Томила сзади, спрашивает через плечо сидящую медсестру:

- Из ночи в ночь, проклятая, что ли?

- Лихо одной в комнате сидеть.

- Лет двадцать назад я неделю в лесу жил один. Трактор поломался, все равно, решил сделаю. Тридцать километров до жилья, не шутка. Поклюю носом

у костерка и опять колушаюсь. Стужа, пальцы ключа гаечного не чувствуют. Думал, загнусь.

Совсем ошалел Томила, даже от поясницы отпустился: непонятное нервное волнение окутало его, голову как понесло куда-то. «Интерес у нее ко мне! А так чего спрашивать...»

А медсестра рассмеялась, притворно зевнула, махнула рукой: иди в палату.

Послушался, ушел. Лежит, откинувшись на подушку, думу думает. Представил себе, как сидела бы медсестра у костра в лесу, смотрела, как он ремонтирует трактор. Он даже смех ее, разнесшийся по лесу, услышал. Нарубил бы лап еловых, подсел к ней. Ночь, томящий запах леса... Романтика! Ощупал потный живот, подумал: «Дурак был тот остряк, что прозвал ее «железным канцлером», баба как баба, к рукам - жить да радоваться». Посидел на кровати, побрел в коридор. Идет мимо сестринской, видит медсестру, сидящую боком к нему. Лица не видно, оно к северу от настольной лампы. Длинный коридор отделения упирается в окно. Бездонная бледность звезд мерцала отдаленно и тускло.

- Ночью надо спать, - раздался сзади голос.

Томила почувствовал некую новизну своего больничного положения, встрепенулся, готовый выздороветь для нее немедленно.

- Эх, дожить бы мне до пенсии, выспаться... - Медсестра завораживающе потянулась.

- А надо ли доживать? - тряхнул головой Томила.

- Куда денешься, надо.

Медсестра смотрела на Томилу блестящими глазами, а по ту сторону окна была ледяная мгла ночи.

«Губы какие... Пряники! Вопьется - не оторвать. Глаза какие распахнутые, должно быть, в кровати бойкая!»

- Вы разведенная? - тихо спрашивает медсестру.

- Ага, - просто ответила. - Пошли спать.

Пошла на свет лампочки, убийственно привлекательная.

Томила прижал к хребту руку, присогнулся - и за ней.

Медсестра в сестринскую, и Томила тут как тут.

- Ты что это задумал, петух старый?

- Ты же... звала.

- А ну иди в свою палату!

Подхватила Томилу и рывком выставила вон, аж что-то в пояснице хрустнуло.

«Поиграла, - обиделся Томила. - Все вы такие, козлюхи».

Жаркий румянец не залил щеки медсестры, ничего не забрезжило нового в ее жизни, и не сложила Психея крылышки, улетела прочь от цветка

любви. «И не болит ничего! Ну мужики, мужики...»

Рано утром Томилу позвали к телефону.

- Долго прохлаждаться станешь? - Заботливый голос Тамары Ильиничны вернул Томилу к чугунку картошки и куску сала. Он вдруг представил себе, что стоит голый посреди избы, а жена ощупывает его, ищет сломанные ребра и не верит ничему. - Оглох там?

Томила готов был разразиться руладой бравурных звуков, вроде тех, которые испускают настоящие мужчины в минуты гнева, но сидящая рядом медсестра смотрела на него так понимающе, так пристально...

- В конце недели, - сказал и водворил трубку на место.

- Не ладится семейная жизнь?

- Не очень чтобы очень, - честно признался Томила.

- Так оно и бывает. Тянешь-тянешь, до такого предела дотянешь, что о веревке подумаешь.

Томиле послышались тоскливые нежные нотки в голосе медсестры. Он робко потянулся к ней, покойное тепло струилось из его глаз.

- Вы тоже? До крайности?

- Нажилась во как! - Медсестра чирикнула ладонью по своему горлу. - Золотого не надо, не то серебряного. Ладно, иди в палату, босс сегодня сердитый.

Лежит Томила на кровати, старик печник говорит нехитрую сказку про черта и чертовку, коварную попадью и глупого попа. Гадает Томила, на какой сук сесть: возвращаться к своей чертовке или наниматься метеорологом на полярную станцию. Годы, конечно, большие, могут на такую ответственную работу и не взять...

## ПОСЛЕДНИЙ МУЖИК

Онучин умер накануне Великого поста. В последнее время он страшно похудел и изменился в лице. У него болело все тело, ломило суставы, но он воображал, что выздоравливает, потому тщательно брился, смотрелся в зеркало, нетерпеливо ворочался в постели. Под конец стал очень разговорчивый, говорил тихо, через силу, тяжело дышал, вспоминал покойную жену Агафью, просил у нее прощения, жалел убитого парнишку, сына бандеровца, обещал наделать бабам к сенокосу грабель.

Горела утренняя заря, над зубчатым лесом медленно поднималось солнце, радостное, изумленное, как дите малое. Воздух был спокойный, затаенный, природа вчера, как в последний раз, вдохнула мороз, а под утро выдохнула изморозь - шевельнулась под снежным тулупом мать-земля. Сквозь стекла пали на стол, на тальянку, на лежащего Онучина лучи, окропили

позолотой. Кошка, встревоженная не понятными ей переменами, то просилась у дверей на улицу, то сжималась на полу клубочком. Никто не видел, как умирал Онучин. Явился ли к нему ангел и благопристойно попросил следовать за ним, или судорожный дьявол, хохоча, подхватил железным крюком его душу...

Он лежал навзничь на большой деревянной кровати, под старым ватным одеялом из синего ситца, в пестрой рубаше с расстегнутым воротом, уставив в потолок неподвижные, как бы шальные от изумления глаза. Бритое до синевы лицо, острый нос, скрещенные смиренно руки.

На деревне топились ночи, сизый дым поднимался сажен на двадцать ввысь, уходил замысловатыми кружевами на север. Жизнь, простая человеческая жизнь продолжалась в раздумьях и хлопотах.

Пришла Наталья, двоюродная сестра Онучина, прямая и высокая старуха, сняла у порога валенки, полезла на печку за теплыми обутками. Охнула раз-другой, пока их достала, попутно незлобливо отругала кошку, что лезет под руки, разделась, стала затоплять печь.

- Василе-ей, - нараспев сказала она, - седин как, отвалило, не давит грудь? Сердишься, ну посердись, на сердитых воду возят... Я вот седни сон смешной видела. Помнишь, ты лошадей гонял, когда с Иваном нашим за рекой до войны жали. Народику - ну как наяву, гужом, и девки незамужние, и бабы, всех вижу. Как бы на Ильин день, по приметам. Сарафаны на всех баские, бабы веселые, так счастливы, будто весть услышали, что война проклятая кончилась... Иван-то в лазаревой рубаше с закатанными рукавами, а мать твоя, покоенка, как бы от реки заходит, из села, рожью идет. Вот подходит, лошадей останавливает, а у самой в руке пук крапивы с корнями надран. «Васька, - кричит на тебя, - ты чего это, паскудник, за Натахой в бане подглядывал?» И давай тебя по голым ногам крапивой жалить... Васи-ле-ей, спишь, что ли!.. Кольнуло под сердцем Натальи: уж... Подошла торопливо, склонила голову к плечу, охнула. Перекрестилась, прикрыла синие глаза красными рубцами век. Взяла с табурета тальянку, прижала к себе, запричитала:

- Отыграл, Васильюшко-оо...

Страшно ей стало, тоскливо: рушилась жизнь, уходила из деревни. Смерть, безглазая ведьма, прятавшаяся в пустующих избах, махнула своей косой, как знать, чья теперь очередь.

Осиротела деревня народом: из сорока шести домов, в пору былого величия ее, только на сенокос выходило до ста человек, а ныне полуживых старух колготится пятеро, Онучин был шестым. Последним мужиком. Бредет Наталья по деревне, так и хочется закричать: «Эй, мужики? Эй, бабы! Куда вы все подевались!.. Выходите на деревню, дорогу протопчем, ведь занесло до крыши!». Не аукнется народ, нет его. Старшее поколение на бусле лежит, молодое в городах о машинах хлопочет. Обошла Наталья товаров, донесла им горькую весть. Всем миром пошли к Онучину, как ходили в последние годы

по всякой надобности. Осторожно ступали за порог, подходили к кровати, смотрели. Уселись около него, стали думу думать.

Лежал перед ними не дряхлый старик - отдохнуть прилег Васька-гармонист, удалой да пригожий, на жизнь способный. Девоч любил страсть как, баб пуще того. Председателем колхоза был - каждое бревно по нему проехало, везде поспел, ко всякому ключик имел.

Строгий был, да отходчивый.

Кажется, сядет сейчас на кровати, объедет шальными глазами всех и каждую наособицу, к тальянке потянется.

- Закислились, девки? Что нам тужить, когда не хрен прожить, - запевай, Егоровна!

Себя не обманешь, не вернется молодость весенней птицей, не растянет Васька тальянку. Тугая на ухо Марья обронила, что мужик ее, Иван Прокопьевич, перед смертью два гроба сделал, себе, да и ей. Коль Онучин раньше убрался - отдает домовину ему.

Нет к деревне следа, нет проследья. Почтальонка ходит на лыжах, когда ей прикахнет, дунул ветер да спутал провода - сиди при лучине неделю другую. Нет мужиков, некому могилу выкопать, не на чем на буюво свезти.

- Бабы, стесняться нам друг дружки нечего: соборовать надо. Давай-ко Василья помоем, переоденем в чистое, - сказала Егоровна, самая сильная и решительная из старух. Егоровна еще держит корову, сама баранов режет. Засуетилась Парасковьюшка, сухой ощепок, достала из-за пазухи псалтырь, прокашлялась, хотела прочитать что-то, да Наталья махнула рукой: не время еще.

Онучин, Онучин... загадывал ли ты когда, что тебя разденут свои же деревенские бабы, с коими ты жизнь прожил рядом, изучат твое тело самым бессовестным образом, вымоют, полотенцем оботрут, как беспомощного какого, и оденут, наперекор смерти, в красную молодецкую рубаху!.. Любил Онучин жизнь, ой, любил! И пил, и гулял, и дело вел, ненасытный был до жизни. Поговаривали, что жена его, робкая и застенчивая Агафья, через эту любовь в доски ушла раньше времени. Так это или нет, один Бог знает да Наталья немного.

Чужая баба для него была слаще меду, чужой сарафан и пахнет приятнее. Наталья помнит, как, будучи пьяным, бранился и рычал, бросался с кулаками на Агафью, тогда она молила Пресвятую деву, чтобы отняла она у Васьки-гуляки мужскую силу. Прошло время, перебесился Онучин, на могиле жены хлестался, прощения молил, а жизнь-то боком да боком, будто и нежил. Полюбовник он был скрытный, за что уважаем подружками. Другой мужик и не поймал, да ощипал, а за Онучиным такой славы не водилось. Этим он поселял в некоторых вдовушках ревность, желание отбить его, как навыхвалку...

- Подойди, птичка моя, - говорит Онучин. Стоит у свежесметанного

зарода сена, распаленный, кряжистый.

- Подойди! - шепчет страстно. Глаза горят, в лицо кровь бросилась.

- Вот еще, - играет с ним Авдотья.

- Ангел ты мой единственный... Век бы тебя на руках носил, голубка сизокрылая, - голос тихий и вместе с тем исполненный какой-то демонической власти. - Ночи через тебя не сплю, как представляю, что ты на моей груди...

- Ночи он не спит... а от кого Шурка родилась?

Божится Онучин, клянется всеми святыми. Авдотья как не слышит, подняла гордую головку свою, усмехается. Лестно ей, что такой мужик перед ней половиком расстилается, лестно и боязно: как да с сенокоса не все ушли, как да кто в кустах стоит, слушает!..

- Зазнобушка, иссушила меня...

Авдотья старается не смотреть на Онучина, ступает мелкими шажками к нему. Привлек к себе, и она, кроткая овечка, задрожала вся, ласки ждет.

Целует в голову, в шею, сжимает в объятиях. Качнулось небо в глазах Авдотьи, зажмурилась в истоме, подогнулись ноги...

Положили Онучина на кровать, смотрят на стены, на пустую божницу, на комод, точно запоминают, где что лежит, где что висит.

- Дожили до тюки: нет ни хлеба, ни муки, - печально говорит Парасковьюшка.

Марья вытягивает лицо - не слышит, о чем речь.

- Девки у него сами уж бабки, разве приедут!.. Телеграммку бы отбить. Испият дом, а жалко...

- Испият, нынче модно ломать, не строить. Боюсь я, бабы, этого. Будто нутро выворачивают...

- Им что, анкаголикам, - говорит Егоровна, - у Кузьмовичопых ломали, так будто Мамай воевал. Одежку из сундуков вывалили, топчут, Катериныны псподки на себя примеряют, гогочут. «Эй вы, говорю им, собаки?» А тот, рыжий, топором давай посуду бить, рамы пинать, и все на меня оглядывается, похвалы ждет...

- Не заводили, не ставили, душа не сболит. Насколько же народ обурел, по дрова в лес не поедет, лучше пятистенки пилить, - говорит Наталья.

- Почитать, может? - тербит псалтырь Парасковьюшка.

- Ночь-та твоя, начитаешься, - грубо говорит Егоровна. Много хлопот доставил им Онучин. До кладбища - шесть километров, опять к алкоголикам идти на поклон...

- Придется самим, - говорит Егоровна.

- Пустое несешь, - возражает Авдотья, некогда румяная да статная, нынче - яблоко сморщенное. - Ты-то, может, еще и коренник, а какие из нас пристяжные...

Егоровна исподлобья смотрит, шурясь, пренебрежительно говорит:

- Тебе ли скудаться, Овдошка, ты ведь на четыре года меня моложе.  
- Моложе, да, - качнула головой Авдотья, - счет не по годам ведем, по зубам.

Смеются старухи: у Авдотьи во рту один клык желтый, у Егоровны - железные протезы.

- Полы вымою, приберу, а там как Бог положит. Вот, бабы, что кошка, и та беду чувствует. Гля, раньше все в ногах у Василия комалась, теперь под лавку юркнула. Пушка, Пушка, иди ко мне, - говорит Наталья.

- Чего свечу-то не ставите? - спрашивает Марья. - Тяжело он с белым светом расставался.

- А ты почему знаешь? - кричит ей на ухо Егоровна.

- Болел долго, - отвечает печально скромная Марья.

- Поставим-ко, бабы, и свечу, и самовар да чайку попьем, будто и Василий с нами столовается, - предложила Наталья.

- Тогда я за вином сброжу, - говорит Егоровна. - Надо при жизни истребить нажитое, чтобы не тужить на том свете.

- Ой ли, - со страхом сказала Парасковьюшка, - трех ден не прошло, грех.

- Домой? - тревожно спрашивает Марья поднявшуюся Егоровну.

- Сиди-сиди, - щелкает себе по горлу. - Помянем!

С уходом Егоровны всем стало не по себе, Егоровна была становой жилой деревни, опорой, все настолько привыкли, что она будто мать над ними, редкий день кто проведет без нее. Егоровна не боялась никого и ничего, она даже прокурору Силинскому вlepила затрещину, когда тот на празднике распустил лапы. Прокурору!

- Тальянку в музей отдадим, один парень приходил и денег давал, и пугал, что украдут, - сказала Наталья.

- Ну уж нет! - запротестовала Авдотья. - В голова поставим. Захочет Василий растянуть - она под рукой.

Старухи не могли удержаться, заревели. Авдотья стукнулась головой о дужку кровати. Пили какое-то заграничное вино, вкусом - клоп раздавленный, пили, как могли. Кто по плоточку, кто пригубил только. Растегнула Егоровна кофту, поправила тяжелые груди, сказала: «Ну, дроля, играй, плясать пойду, споём напоследок нашенскую!».

- Как полоску Маша жала, золоты снопы вязала, ээ-еех моло-да-а!

- День-то какой, знамение тебе, Василий, - глянула в окошко Парасковьюшка, - До чего же ты под старость набожная стала, - хмыкает Егоровна, толкает под бок Марью. - Расскажи-ко, как в ваш колодец Парасковьюшка чурку опустила.

Марья смеется, начинает рассказывать сто раз повторенный рассказ, оборачивается к Онучину, призывая того в свидетели. Молчит Онучин, нет

ему дела до бабьих сплетен.

- Ты-то праведница, - поджимает губы Парасковьюшка. - Не с тебя ли Онучин мешок с колосками снял?

- Нашла чем попрекнуть! Да за это я ему в ноги поклонилась потом, что деток сиротами не оставил. Перестань, не со зла я... Расскажи-ко, Овдошка, как с Онучиным сено метали?

- Господи, - изумляется та, беспокойно ерзает, - веком, бабы, не бывало, вот-те крест.

Много кой-чего помнят эти старухи, все поведать - жизни не хватит. Вышла на небо луна, огляделась, прихорошилась, насколько глаз хватает разлито серебро свадебное, плавают в том серебре легкие тени заборов, деревьев, стогов соломы, блестят крыши черных домов. Бежит лисица, принюхивается. Теплится свет в окне Онучиных, стоит в головах покойника большая свеча, дрожит на ней прозрачное копье.

Спит на стуле Парасковьюшка, выпал из рук псалтырь, рассыпались почерневшие от времени листья по полу.

Утром провожали в дорогу Егоровну. Лыжня чуть заметна, до жилу брести да брести.

- Ну, подружки, коль дойду - трактор пригоню, нет - на мороз выносите. Когда-нибудь да кто-нибудь вспомнит о нас. Марья! За коровой вникай!

Неловко ступила шаг, оперлась на палки, другой - качнуло малость. Устояла, потыкала снег палками. Пошла.

## СОДЕРЖАНИЕ

РУССКАЯ ИЗБА.....	1
С ЛЕГКИМ СЕРДЦЕМ (письмо другу).....	5
ФИКУС.....	8
ВТОРОЙ УДАР.....	12
СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК.....	18
АРТИСТЫ.....	22
МЕСТЬ ТРОФИМА.....	24
БАЙКА ДЕДА ФОРДЗОНА.....	27
«ГОСПОДА».....	30
ГОЛОВАН.....	35
НЕСТЕРОВ.....	40
ЛУКОШКО.....	46
ЖУЧОК.....	51
«КРАСНЫЕ ЗОРИ».....	55
ТЕТРАДЬ.....	60
ВЕДЬМЫ.....	67
БОРДОВОЕ ПЛАТЬЕ.....	71
БАГУЛА.....	76
ЗОЛОТОЙ.....	81
ГЕНЫ.....	86
СТАТУЙ.....	89
БОЖЬЯ НИВА.....	99
БОЛЬ.....	107
ФРАНЦУЗСКИЙ ВАЛЬС.....	112
МИЛАЯ МОЯ.....	120
СНЕГ.....	134
ЧЕРЕМУХИ.....	141
ТРИ ПОМОЩНИКА.....	150
ВЕСЕЛЫЙ БРОД.....	156
БОЕЦ МУТОВКИН.....	162
АФОН ПРОТИВ ВСЕХ (другу Алполинару).....	170
ТУФЛИ.....	177
БЕЛЫЙ ЛУЖОК.....	183
МОЛЧУН.....	187
НАСТЯ.....	191
ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ.....	197
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ.....	205
ПЯТНАДЦАТЬ САНТИМЕТРОВ.....	214
НА ПРЕДЕЛЕ.....	219
ПОСЛЕДНИЙ МУЖИК.....	225